Профессор риторики

Анна Михальская

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Каждый роман Анны Михальской – исследование многоликой Любви в одной из ее ипостасей. Напряженное, до боли острое переживание утраты любви, воплощенной в Слове, краха не только личной судьбы, но и всего мира русской культуры, ценностей, человеческих отношений, сметенных вихрями 90-х, – вот испытание, выпавшее героине. Не испытание – вызов! Сюжет романа напряжен и парадоксален, но его непредсказуемые повороты оказываются вдруг вполне естественными, странные случайности – оборачиваются предзнаменованиями… гибели или спасения? Возможно ли сыграть с судьбой и повысить ставку? Не просто выжить, но сохранить и передать то, что может стоить жизни? Новаторское по форме, это произведение воспроизводит структуру античного текста, кипит древнегреческими страстями, где проза жизни неожиданно взмывает в высокое небо поэзии.

- Анна Михальская
  - Приступ (Вступление)

Анна Михальская
Профессор риторики

«Эта умершая не разделила общей участи смертных. Она умерла, но она жива и действительно видит непомеркающий свет. В глазах живых она живая; настоящие мертвецы те, кто ее считают мертвой. Земля, что означает изумление твое перед этим новым видом отошедших? Что означает твой страх?»

Эпитафия, найденная на Via Latina

Приступ (Вступление)

Документ word (без номера)

Держаться трудно. Одна босая ступня – на крышке бачка унитаза, на полиэтиленовой пленке, опасно скользящей по белому фаянсу. Пальцы другой – словно пуанты – на остром ребре ступеньки сложенной стремянки. В узком пространстве между унитазом и стеной расставить лесенку невозможно, но зато, заткнутая между ними, она представляет почти надежную опору.

Обмакнув кисть в ведерко, проволочная ручка которого красным рубцом прорезала нежную кожу левого предплечья, сливочно-белого, усыпанного мелкой россыпью снежных веснушек – засохших и засыхающих брызг водоэмульсионной краски, – правой рукой я тянусь к потолку. Краска стекает на запястье упругими холодными струйками, попадает в глаза, и все же над головой, на поверхности, так тщательно мною отскобленной, зашпаклеванной и ошкуренной, но все еще хранящей серо-рыжий узор плесневого гриба, возросшего на влаге протечек, – на поверхности почти не достижимого для меня потолка появляется светлое пятно.

Пока оно еще серовато-мутное, а вовсе не ослепительно-белое, как обещает этикетка на ведерке с краской, но я знаю: это победа. К утру все просохнет, и сияющая белизна потолка и стен – до ночи я должна успеть и успею – воцарится и в туалете, и в ванной.

Я рассматриваю пятно и шевелю затекшими пальцами той ноги, что опирается на лестницу. Самое главное – сохранять равновесие. Приходится сильнее сжать левую руку, в которую врезается ведерко, – ведь ею я цепляюсь за выступ стены в том месте, где проходит граница кафельной плитки. Еще один мазок, столь же удачный. Кисть легко ходит над головой. Ржавые разводы исчезают.

Я задыхаюсь. Тяжелые пары краски пахнут формалином и тленом. В глазах плывет, и тело, напряженное, распятое в воздухе над унитазом, затекло в неподвижности.

Сердце. Одна экстрасистола, другая. Дорожка. Все? Слезать, вызывать «скорую»? Спокойней. Спокойней… Нет, ритм, кажется, восстанавливается. Продолжу. Отдыхать бесполезно – только навалится еще большая усталость, придавит серым камнем, и тогда уж не встать. А кто ремонт будет доделывать? Пушкин? Времени нет. Нет времени. И я снова поднимаю к потолку руку с кистью.

Ну, кончено. Теперь стены. Можно спуститься на бачок обеими ногами. Так, отлично. Окаменевшие на стремянке пальцы-

пуанты распрямляются и ноют – болезненно, наконец блаженно. Ведро можно уже взять за ручку, ведь держаться за стену не нужно, и я растираю глубокую синюю борозду на предплечье. Она становится фиолетовой, потом малиновой. Прекрасно. Стены – это уже легче.

И вот – слезы. Ручьем, горячим потоком, как в юности. Ну что ты. Не надо. Перестань, милая. Тебе ли не знать: бесполезно. Глупо. В сортире. Невидимые миру слезы в сортире. Не смешно. Жалеть себя – нашла время. И место. Никто не увидит. А увидит – так не поможет. Знаешь ведь, знаешь. Только глаза опухнут – сильней, чем от краски. И главное – побереги сердце.

Ну, дождалась. Опять бьется. Сильно и быстро. А ноет тихо. Спускайся, сядь. Ничего, что прямо на унитаз, на полиэтилен, заляпанный свежей краской. Какая разница. Какая теперь разница?

Господи Боже. Неужто конец? Сейчас, в сортире, среди всего этого? И не увижусь ни с кем?

А с кем? С сыном? С мужем? С так называемыми друзьями? С теми, кто загнал тебя сюда? «Ведь каждый, кто любимым был, любимых убивал…» Милый, наивный Оскар. Бедняга. Знал ведь, что каждый скажет, найдя меня здесь.

А каждый скажет: сама виновата. Нечего было затевать этот дурацкий ремонт, кому он нужен. Съездила бы лучше в Грецию отдохнуть на пару недель. Как, со мной? Нет, я не могу. Сейчас никак. Ну, никак. Давай на следующий год! На следующий смогу, обязательно. Ну конечно. Или в Рим. Лучше в Рим. Через год съездим вместе в Рим. А пока одна поезжай, лучше в Грецию. Ты о ней всю жизнь читала. Вот и увидишь – своими глазами. А я – нет. Я не могу. Занят, именно сейчас занят.

Да, так скажет каждый из них – и сын, и муж, и любая подруга. А друзей у меня нет.

Жаль. Не того жаль, что умру в сортире. Что никого не увижу. Нет, не этого. А жаль, что никто не узнает, что такое была моя жизнь. И что такое была я. И вообще – как все это было.

А кому это надо? Кому интересно? Да, пожалуй, никому. Если уж живая – никому, то post mortem…

Нет, ты не права. Сама виновата – да, согласна. Только в другом. Зачем все скрыла? Зачем всю жизнь себя от всех скрывала?

Выживу – напишу. Все напишу, подробно. А умру?

Так, признавайся. Сама себе признавайся. Настало время. Ты только что говорила – времени нет. Есть. Вот оно. Пришло время.

Мертвая? Живая? Не важно. Ты не сможешь ничего рассказать даже живая. Ни слова. Ты раба, а потому бессловесна.

Потому что сама себя задавила. Застегнула цепочку с амулетом из красного сердолика – камня со странной надписью… Хранил он меня? Погубил ли? Заперла, словно надела рабский ошейник, своей рукой повернула ключ – или запаяла, не знаю, как у них там делали. Вот этой рукой, на которой алеет сейчас борозда от ведерка с краской.

Рабы молчаливы. Говорят свободные.

Ну что ж. Так и будет Ты, рабыня слова, одно сделать смогла и успела – сына своего вырастила свободным. И передала его, свободного, своему властелину. Божественному Логосу, летучему духу, что витает где хочет.

И не плачь. Не плачь теперь, а возвеселись и возрадуйся.

Пояснение биографа

Молчаливый ноутбук лежит передо мной, словно серебристая надгробная плита. Или табличка, еще не прикрепленная к стене колумбария. Табличка с одним только словом – «DELL».

Что там, внутри? След мира, отошедшего в неведомые пространства времен… Поднять крышку? Да кто даровал мне право?

Но я чувствую его за собой. Не право – долг. Знаю: долги отдавать – долго. И должно.

И я готов.

Вот экран засветился. Так я и думал: никаких заставок, картинок… Только пронумерованные текстовые документы. Безымянные белые листочки, каждый с синей птицей W и цифрой. Мое наследство. Наследие.

Тот файл, что вы прочитали, я открыл первым. Первым по номеру. По напряжению души… и ее трепету. Я всегда боюсь начинать. Первый шаг… Первое слово… Первая любовь…

Что ж, вы видели, что мне завещано… Обещано.

Наконец я готов. Дописать. Додумать. Собрать. Рассказать.

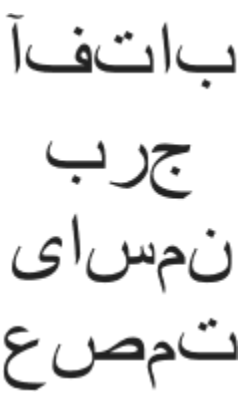
И, глядя на стаю птиц W, двойным углом поднявших синие крылья над голубой гладью экрана времени, я начинаю свой GEST – a tale of adventure, a romance. Свой жест. Движение. Свой ПО-ДВИГ: ПО-ВЕСТЬ о приключении жизни, роман о любви.

И, как всегда, начиная новое дело, пускаясь в путь, я поднимаю левую руку к выемке между ключицами и прикасаюсь к своему амулету. Это овальный сердолик в гладкой, словно ножны меча, серебряной оправе. Красный сердолик, так называемый «женский». И пока мои пальцы скользят по его теплой поверхности – часто она почти горяча, вот странно! – пока они следуют извивам вязи, вырезанным глубоко в камне, я вспоминаю другую руку. Ту, что таким же движением, тем же жестом касалась этого амулета. В волнении, в горе, в надежде – поднятая к горлу рука…

А теперь этот камень мой. Жжет кожу и побуждает к делу.

Никто не помнит, как эта загадочная вещица появилась в семье и когда. Я спрашивал об этом, едва обрел дар слова – ответа не было. Я не мог не тянуться к красному овальному камню – но всегда руку мою мягко, как бы невзначай, отводили, не давая коснуться.

Вот каков был узор начертанных на сердолике знаков:



А вот перевод этой надписи с фарси (совсем недавно его записал для меня на севере Ирана случайный попутчик в последней экспедиции):

1250 год Хиджры (если прибавим 622, получим год возникновения амулета – 1872).

АФТАБ – СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ

БОРДЖ– ТВЕРДЫНЯ

ЯСАМАН – ЖАСМИН (имя женщины, для которой талисман предназначен)

ЭСМАТ – СИЯЮЩАЯ ЧИСТОТА

Итак, вы видите. Чистота некой Жасмин – Ясаман была хранима красным сердоликом – твердыней солнечного сияния – с 1872 года. Что потом? Неведомо. Однако моя рука, поднятая к горлу, находит амулет там, откуда ключицы расходятся, словно крылья. Мои крылья.

Прикосновение к камню – не только начало дела. Но – клятва. Но – обет.

Исполняя его, мне пришлось собирать и составлять найденные в пожелтевших папках записи, располагая их в том порядке, который будет для вас привычным – так, словно время течет в одну сторону, будто содержимое канализационной трубы, и, подобно тому, никогда не возвращается назад.

Самые первые фрагменты этой странной жизни начертаны автором второпях, часто перед сном, то на разрозненных листках, то на обрывках записных книжек, а то скрыты под обложками тетрадок, каких мне и не припомнить в продаже – с бумагой шероховатой и серой, словно первая шкурка Гадкого утенка, но разграфленной фиолетовой клеткой, будто сеть птицелова наброшена на поле времени. У них, этих тетрадок, и обложки невиданные – не ткань, не пластик, а нечто мелкорельефное, всегда темное – черное, коричневое, графитно-серое… И всплывает из самых глубин детской памяти благозвучное слово «коленкор». Во времена моей юности почему-то именно его

выбрали молодые самцы для бодрого восклицания: «Ну, коленкор!» Порядок, значит. О'кей.

Вот такие тетради. Не только заметки о некоторых днях жизни, которую предстояло мне описать, я нашел в них. Но и нечто не менее важное.

В черных коленкоровых тетрадях содержались конспекты уроков греческого и латыни, задания, выполненные к этим урокам, некоторые стихотворные строчки из античной классики и комментарии к ним – комментарии, записанные на уроках со слов Учителя.

Внимание. Сейчас, именно в эти мгновения, мы и вступаем в область непостижимого, недоступного, но самого важного. Что ж, самое главное – всегда тайна. Так и здесь.

Все дело в том, кто он был, этот Учитель. Боюсь, всего нам уже не понять. Глубины этого учительства не понять. Но по верхам объяснить можно. И нужно.

Профессор – вот кто он был. Профессор в самом первом, изначальном смысле ныне поникшего слова. Professor. По-датель. Податель знания, но не всякий. Только такой, кто помнит великую истину: *знание не передается.*

И еще он был филолог. Много я читал и слышал всяких суждений о том, что есть филология. «Любовь к слову» – это вам всякий скажет. Любовь… Разная она бывает, любовь. Филия – вот какая любовь связывает филолога с его предметом. А филия – это преданность. Как собака хозяину предан филолог – Логосу. Да и Логос – вовсе не просто слово. Это и мысль, и знание, и творящая сила. Сила творчества. Преданный творчеству – вот кто был этот Учитель. Учитель-филолог.

А жил этот Профессор, первый и подлинный, на Арбате. И его ученик, тот, чью историю я собрался написать в этом романе о любви, в этой повести о приключении одной жизни, ходил к своему Профессору на уроки древних языков по Арбату. И там, в старом доме, опустив лицо к листам, желтым в теплом круге света от абажура, низко спущенного над столом, записывал, что слышал, в коленкоровых черных тетрадях. Собственно, вся жизнь ученика и началась в черном коленкоре, как в пеленках. Вот он и сам стал профессором – не мог не стать. Профессором риторики.

Потому и рисунок его жизни придется мне взять из этих тетрадей. Только там, на серых листах, в чернильных начертаниях греческих букв, виден этот рисунок. Его красота. Его неслучайность. Без него и писать не стоит.

Взглянули на оглавление? Ужаснулись? Напрасно! Части этого странного романа, их древние имена – вовсе не затхлый хлам. Это он и есть – рисунок жизни. Живой жизни совершенно

живого человека. Такой способ рассказывать и доказывать эллины назвали «хрия», что значит: необходимое. Насущное.

Как еще описать жизнь профессора риторики, если не его собственным методом – хрией? Хрией насущной?

Итак, чтобы речь моя выглядела убедительной и не противоречащей самой себе, начну по порядку. Так, чтобы не плыть в реке-речи с конца назад, как пловец на спине в бассейне. И чтобы не было в повествовании моем все набросано так, как в комнате шестнадцатилетней школьницы – дочки состоятельных и либеральных родителей.

Ведь, как учил один грек, чье имя вошло в известный силлогизм о смерти, бессмертный грек, таинственней и сильнее которого так среди смертных и не родилось и, верно, уж не родится, «у всякой речи должно быть тело с головой и с ногами, и туловище и конечности должны подходить друг к другу и образовывать одно и единое целое». Так сказал этот человек, которого профессор риторики знал, хотя и не встречал никогда. Подозреваю, что тут где-то крылась любовь.

По убеждению моего героя, а точнее – по его любви, грек этот был самый страстный, самый умный, а значит, самый живой из всех, что видели Солнце. Он не писал, да и вряд ли читал. Только слушал. Думал. И говорил. Но слова сохранились. Так они были сильны, что, прозвучав, не затихли.

Тогда и Солнце было юным и свежим, бодрым и сильным. А людей было так мало, что они не боялись встречаться взглядом ни друг с другом, ни с Солнцем. И реже пугались, и были спокойны. Полунагие, они убивали железом, и кровь орошала песок, а люди смотрели прямо на кровь и на Солнце.

А Слово… Слово из уст вылетало стрелой и к цели стремилось. Не пряталось в проводах, не скрывалось в магнитах, не таилось в волнах и пространствах. И в сети не попадало. Да и может ли стрела попасть в сети? Можно ли сетью поймать солнечный луч? Смешно, право!

Прямой взгляд. Прямая речь. Так познавали жизнь мечом и Словом. Людей было мало, а мыслей много. Теперь не то.

Так вот. Собирая разрозненные пожелтевшие бумаги профессора риторики, я находил в них и записи о себе. Да, о себе. Почему – вы поймете чуть позже. Пока никак не могу объяснить, не сбившись. Скажу только, что мне придется писать кое-что и о своей жизни. Делать свои вставки. Иногда передавать в них чужие рассказы. Иначе всего не поймешь.

С ходом времен листки из разрозненных папок с научными статьями и лекциями, листки, выпавшие из тетрадей, листки, плотно прильнувшие к фанерному дну ящиков письменного стола

и шкафов – так плотно, будто не хотели появляться на свет, повинуясь моей руке – не той, что схоронила их там, – все эти страницы, разложенные мной по порядку, кончились.

Это означало только одно: наступила новая эра. Был куплен компьютер, и с тех пор профессор риторики пользовался пером – ну, не пером, а шариковой ручкой, дешевой, прозрачной и ломкой, – только ставя свой росчерк в бесчисленных студенческих зачетках.

Но записки о своей жизни он прервал ненадолго. Появились документы в формате WORD. Пронумерованные так, как следовало, они переносились, словно птицы на своих синих крыльях W, из одного компьютера в другой: из старых серых ящиков, занимавших чуть не полстола, в тонкие пластинки серебристых ноутбуков. И, скопившись в единственном и последнем – том, что сейчас передо мной, – облегчили мою работу. И, как прежде, я читал, думал – и дописывал недостающее. Заполнял лакуны.

Из первого файла – а может, последнего? – понятно, что некогда он хотел описать свою жизнь сам. Но и тогда была некая надежда: если что… Если что, передать это дело мне.

Если что… Как мне сказать вам об этом «что»? Нет, не скажу ничего. Судите сами, отчего намерения своего он не исполнил. У него теперь другие дела, какие – не мне судить. И где он – неведомо. Это-то и есть самая большая загадка.

Может показаться, что это рассказ о старом человеке. Ведь, судя по записям (читайте внимательно), он помнит Солнце.

Ту самую звезду, которая, как и прежде нередко бывало, появилась на безоблачном небе в миг моего рождения – минута в минуту, день в день – в субботу, 26 апреля 1986-го, в 4.57. В то утро корпускулы ее света смешались со стаями миракул, исторгнутых из недр атомной топки. Теперь ясно, что это-то и был тот «большой толчок», или «взрыв», о котором наши предки сложили беспомощную теорию, поместив его в непроглядное прошлое. Верно, он первым и не был.

Одно бесспорно: утро моего рождения стало утром новой вселенной. Это прошло незамеченным. Осталось тайной. Как всегда, люди сделали единственно им доступное – испугались. А потом – испугались своего страха. Но надоело и это – очень быстро. Как всегда… Паника, а затем усталость скрыли главное.

Я рос вместе с новой вселенной, и звезда появлялась на небе все реже. Уж и не помню ее. Неба над городом тоже давно не видали – тучи клубятся и сгущаются с каждым годом. Те, кто еще умеет читать, недоумевает: наши предки… наслаждались, глядя на небо. Рассветы, закаты… Звезды… Их воспевали в стихах. Что

это? Нам не известно.
Нет, и сейчас появляется что-то там, наверху… Какие-то светлые пятна. Возникают и исчезают с завидной регулярностью. По привычке называют их солнцем, луной и звездами. Только старые люди говорят, что это уже вовсе не те, прежние.

Листая рукопись, я вижу, что вышло совсем не то, что я ожидал, – tale of adventure, a romance [1] … Нет, это повествование о том, как новая вселенная раскрывалась, словно бутон, внутри старой – вытесняла ее и заполняла, пользуясь соком и панцирем ее покровных чешуй, пока высосанные и уже ненужные лепестки не иссохли и сами собой не отпали.

Итак, об Эпохе мутаций. Зримых для нас и незримых – перемен, недоступных для ока. Но ведь рассказ – что вьюнок, и ищет опоры; да, что рассказ, как не нить: из кудели событий тихо прядется, неспешно – однако ж нужны веретена… Так учил он меня, сам научившись по книгам да у того арбатского прозорливца – мудреца и святого. Тем я ему и обязан, что сохраняю дар речи. Что ж, расскажу, как научен, – по канонам древних смутьянов. Так они названы здесь – в новой и вечной вселенной.

Буду, нарочно буду сбиваться на ритм и периоды. И даже на рифму. Коль уж выучкой я обязан ему – своему профессору риторики – пусть он увидит плоды. Станет героем новых сказаний. Стержнем их – веретеном и опорой.
Кстати, о выучке – да, я умею писать. Да, знаю, что это преступно. Хуже – научен владеть языком, имя которому – ересь. Может быть, даже – проклятье. В школах его изводили, сколько могли, методисты. И до конца истребили. И – nomina sunt odiosa [2] . Видите, я признаюсь даже в этом – что знаю язык и похуже. Знаю нетвердо, но все же… Признаюсь и в большем: ведомы мне письмена, о которых теперь и не вспомнят. Гамма и бета – оттуда, из стаи мятежных пророков… Проростков прежней вселенной: когда-то зеленых и сочных, позже – сухих закорючек, отпавших с ее лепестками.

Не подумайте, я прилежно освоил китайский. Так же прилежно, как с детства – английский: мой профессор риторики был вполне, вполне предусмотрителен. И прозорлив – в меру, конечно, в меру…

Но по-русски буду рассказывать из принципа. Из уважения к своему учителю и его народу. Принцип, уважение, народ – слова. Слова, слова, слова… Да и слова-то почти позабыты. Но я все равно буду говорить, как привык. Кто поймет – поймет. Обещаю, впрочем, иногда пояснять сказанное.

Профессору уже полвека, и по всем нашим законам ему

полагалось бы уже умереть естественной смертью – от рака или от сердца, скорее, пожалуй, от сердца. Слишком много чувства! Слишком мало разума! И как только оно выдерживает, это сердце?

Но этот человек почему-то жив. Странно! Правда, он борется. Ни капли не пьет и не курит. Не пьет даже крепкого чаю, не курит даже «Vogue». Приседает у двери четыре раза в день по сорок раз, итого сто шестьдесят в сутки. После трех приступов мерцательной аритмии он решил не уступать. И пока мотор почти не сбивался. Да и приступы-то проходили сами собой, пока реанимобили [3] , воя от ужаса, стояли в пробках [4] на Садовом кольце, у МИДа.

Не хочет умирать! Чудак. Ведь все устроено так, чтоб никто не дожил до пенсии. На всякий случай и ее отодвинули – в последний раз до ста лет. И поговорку пустили: «столько не живут!» – это про него. До ста, как и все, конечно, не доживет. Но и до пятидесяти, с *их* точки зрения, жить постыдно. Негуманно как-то. Места ведь всем не хватает. Воды и еды – тоже. Вот и поставлена ясная цель – вернуться к началу прежней вселенной: тридцать лет – и хорош. Так что и мне уж пора. Все равно лучшее уже позади. А кому нужно худшее? Как говорил один римлянин, это все равно что пить со дна бутыли: там остается не только мало, но и самое худшее. И сам вскрыл себе вены. По крайней мере, в непоследовательности его винить трудно. Правда, потратил, говорят, целую ванну воды. Напрасное расточительство. Немыслимое!

Мой профессор риторики помнит Солнце. И помнит снег. Не летний, что закружит внезапно бураном, сожжет доверчивые ростки и растает, – а зимний снег, настоящий. И не просто снег, а сугробы. Такие снежные горы, что вырастали вдоль тротуаров и стояли так до весны. Их соскребали специальные машины, загребая железными лапами. Потом снег поднимался на вышку с помощью ленты-транспортера и падал в кузов грузовика. Рассказывают, что к машине грузовики подваливали один за другим, многочасно, а потом вереницей тянулись к набережным. Каждый грузовик поднимал кузов, словно жук – надкрылья, и снег летел в реку. Воды не было видно – от мороза она замерзала. Снег падал на лед, и до самого парапета вдоль набережных поднимались снежные стены. Все это таяло только весной, до ледохода, когда панцирь льда на реке лопался и лед сходил по течению отдельными кусками – льдинами. Так было прежде. В Эпоху перемен, а может, даже накануне, ледоходы прекратили. А вскоре река перестала замерзать, и ледоходы исчезли сами.

Что же до рисунка моей собственной жизни… Пожалуй, даже

хрия – зубастая допотопная змея – его не выщепит. Не по зубам он ей. Эпоха перемен – это, знаете, такие рисунки… С одной стороны – Логос, а с другой…

Как вы думаете, что с другой? Что есть другой полюс моей двусмысленной жизни? Что на другой чаше ее весов?

Банка!

Что ж, вот вам и ключ к иному рисунку – рисунку жизни молодого ученого Эпохи перемен. Я ведь ученый… Жизнь под знаком Логоса – ах, как это высоко… А жизнь под знаком Банки?

Белая плоскость придорожного рекламного постера посерела от брызг и ядовитых выхлопов. Вербальный текст рекламы – «ДЕРЖИТЕ ДЕНЬГИ В БАНКЕ» – все же отчетливо виден. Видны и веселые глаза хвостатой твари, поднявшей усатую морду к отверстию трехлитровки, легкомысленно закрытому бумагой и перевязанному несерьезной какой-то бечевкой. А главное, сквозь прозрачное стекло банки проглядывают зеленые купюры с портретом лысого старика с патлами, прикрывающими уши, и поджатыми губами. Купюр за стеклом не так уж много. Но тварь стремится…

Под землей, в темноте, пролегает немало ходов. Множество узких, толщиной от карандаша до спички – прибежище земляных червей и личинок жуков. Есть и широкие. Это обитель слепых кротов. Извивы подземных путей огибают странную камеру, не похожую ни на одну нору. Она неприступна, но ее границы, не проницаемые ни для чего живого, невидимы. Это жесткие, скользкие, прозрачные стены. Размеры таинственной полости так велики, что могли бы предоставить укрытие для целой крысиной семьи. К тому же там, кажется, приготовлен и материал для гнезда. Камера плотно набита, но чем? И так близка к поверхности… Увы! Крысам, мышам и землеройкам приходится искать приют совсем рядом, в руинах кирпичного особняка в стиле швейцарского шале, у корней густого бурьяна и ползучего осота, давно и решительно поднявшегося вверх по ступеням – серым ступеням, крошащимся от времени и влаги. Больше по ним не поднимается никто.

Вот так-то. Но сейчас Логос побеждает, и я, с содроганием сердца: кто прочтет? кто поймет? кто пройдет? – поведу вас за собой. В глубь Ада, словно Вергилий, – по узким извилистым ходам земляных созданий? А может, вверх, по воздушным спиральным путям, какими орлы поднимаются к Солнцу – взмывают неспешно и исчезают в лазури?

Часть 1 Похвала (Dictum cum laude auctoris)

От биографа

Итак, приступлю, и да помогут мне боги.

Я, надо сказать, крещен в православную веру, крещен в сельской церкви, под синим обширным куполом, теплым, как июньское небо. И в купель погружался я трижды. И было сие в тысячелетие крещения моей родины. И всякий раз, проходя мимо храма – из дачного родового гнезда к электричке, – по сей день осеняю себя знамением – истово, троекратно, склоняясь пред печальными очами трех ангелов, тихо сложивших средь каменистых пространств вселенной длинные крылья, карие, как у лесной бабочки-сатириды.

Только язычник я, и китайцы друзья мне, и не чувствую я над собой длани Божией, покрова, щита и благодати, как дано это моему профессору. От рождения дано до смертной борьбы – и, видно, навеки.

Тут мне вспоминается рассказ. Его рассказ о восходе солнца. О том, как появлялась звезда из-за вершин сосен над заросшим оврагом. В этот овраг и я сбегал, проснувшись, – вниз по тропке от самой двери дачного дома, прямо к ручью, скрытому в переплетенье веток черемухи, лениво опустившей темные стволы на мягкие подушки влажных мхов, в плотной сети побегов изысканно поникшего бересклета, тихой крушины, голубоватой жимолости… Однажды, когда я недвижимо сидел у ручья на упавшей шершавой березе, замерев в созерцанье текущей воды, что-то атласной молнией мелькнуло среди налитых ядом стволиков волчьего лыка, прозвенело лезвиями блестящей осоки, прошуршало жесткими листьями ландышей, потревожило зеленые сердца скромных майников. Очнувшись, я решил, что это был черный хорь, Mustela putorius. Маленьким мальчиком я прикоснулся к черным тетрадям. И зазвенела латынь, и стала моим боевым кличем, а латинское имя – оберегом, знаком любимых и их разгадкой. Заклинанием.

Еще и тогда овраг, и ручей, и ключи в нем, живыми хрустальными куполами вздымавшие мелкие песчинки со светлого дна, были ничьи. В Эпоху перемен все это стали нарезать на куски, как пирог. Теперь, сбежав от старого дома вниз, к калитке, я упираюсь в серую бетонную стену. Через нее навстречу мне уже успели перекинуться бледные побеги девичьего винограда: света не хватает, и на холодном ветру они беспомощно шевелят тонкими усиками в поисках опоры. За стеной, по берегам ручья и по склонам оврага, насколько я могу судить по ежедневному треску косилок и шипенью кружащихся

опрыскивателей, раскинулся газон.

И смутно, словно сквозь стекло, закопченное на свечке, чтобы наблюдать затмение солнца, – я нашел одно такое на подоконнике в дачном сарае, рядом с несколькими крапивницами, навеки сжавшими свои пестрые крылья, и профессор объяснил мне его назначение, – смутно я вспоминаю, как тихи высокие травы… Как тучи громовые близко… Гроза разливается лавой, и ласточки носятся низко… Льет иволга голос с вершины, в недвижных кулисах зеленых – как будто из горла кувшина, укрытого в стихнувших кронах… И плещет прозрачная влага мне в сердце, и странно знакомы сирени у края оврага… и сосны у старого дома…

Но я непростительно отвлекся. Уклонился в сторону, как виноградный побег, но ведь опора только в самом рассказе – в чем же еще?

А сейчас вы прочтете рассказ профессора о восходе солнца над оврагом – передаю, как запомнил. Надеюсь, заметно, сколь незыблем покой, осененный заботой – то, что я в детстве впитал, воды ручья созерцая. Да, вот она – благодать, коей я ныне лишен… Да и все мы, пожалуй.

«Струйноголосая, зеленозвучная птица в куще проснулась. И вниз по оврагу ручьится в розовом мареве песня. И золотострельно лучится светообильного солнца за краем земли колесница. Крест загорелся ответным лучом над горою. А под крестом преклонились над чашею трое. Зрят: поутру наполняется чаша зарею – чтобы звучали все жизни в едином настрое… жизни, что темной порою себя сохранили, к берегу этой весны долетели, доплыли… Вот упоенные светом стрижи окружили храм хороводом… И ангелы крылья сложили…»

Может, я что-то упустил или исказил. Многоточий там, конечно, не было – это мои попытки восстановить текст. Мне хотелось только передать, как много там было света, в этой вселенной и в этой картине. Сегодня ангелы на белой стене сельского храма, ангелы, перед которыми я останавливаюсь, спеша на электричку, в надежде совершить или получить что-то, крестясь и кладя поклоны, – молчаливы они, все трое, будто сговорились, молчаливы и неподвижны. Да это просто потускневшая от вечной непогоды фреска, редко поновляемая неумелой рукой любителя-реставратора, бывшего художника одного из бесследно пропавших издательств – то ли «Науки», то ли «Просвещения»… Не помню. Но все ж попытаюсь и сам сказать. На слово учителя об июньском рассвете и восходе Троицы – слово свое об утре зимнем и о рождественской ночи. Замечу, впрочем, что делаю это, не только уступая обычаю. Этими

словами я попытался однажды передать свои чувства одному китайскому другу. Пригласил его в святую ночь на дачу, повел в храм… Какой стоял мороз… А мы с ним стояли службу. Обошли нашу церковь с крестным ходом, держа в руке тонкие свечи, и алый воск падал на скрипящий снег каплями крови. И я сказал, предварив свое слово всеми возможными пояснениями, то, что было у меня на сердце. Что поднималось к глазам, на морозе обжигая слезами веки:

«Глаз совиный, полускрытый тучей, глянул с неба желтым полукругом в сумрак снежный, и вдали над кручей говорили вороны друг с другом. Но ответил голос колокольный, тихий звон пронесся над полями – вот на сердце и тепло, и больно, что звонят Сочельник в старом храме. Жалко, что старухи умирают, словно птицы, нежно и покорно… Жаль, не дети в гроб их убирают и не внуки отпоют соборно… Для кого ж величье этой ночи? Скань мороза, черный бархат неба? И о Ком звезда в ночи пророчит? Что Он был – не верим, и что не был».

Не верим. Не верим?

Моему китайцу все это не понравилось. Вообще ничего не понравилось. И потому я был даже не огорчен – убит.

А на обратном пути в мегаполис по имени Москва, в электричке, уже светлым рождественским утром, переночевав в моем родном старом доме и вкусив с нами рождественской снеди, китаец заплакал.

Как всколыхнулось мое сердце! «Что ты?» – спросил я тихо. Тихо, радостно и нежно. Он еще поплакал молча, вытер слезы и наконец ответил. «Мне жаль твоих родителей, – сказал он. – Ведь они ученые. А как мало денег получают! Как мало! Такие уважаемые, такие образованные люди. И так мало денег…»
Сердце мое оборвалось. Он ничего не понял. Но теперь я мог гордиться своим другом: ведь он плакал, плакал слезами, настоящими горькими слезами… Плакал от жалости…

Вот я стою у окна, узкого окна в серой гранитной стене, стою опершись ладонями о холодный мрамор подоконника. Одно пока неприступно – твердыня факультета. Здания. Знания. И тиха моя келья. Спиной я чувствую жизненный шелест компьютера – словно шелковая береза вдруг затрепещет под дуновением июльского теплого ветра – и снова стихнет. В дубовых панелях шкафы с препаратами, еле слышно рокочут холодильники, и секвенатор бесшумно свершает таинство чтения текста – живого текста вещества бессмертия. Прохладно.

Внизу предо мной простирается прямоугольник двора биофака. Спокойно и безопасно там – словно меж лапами сфинкса. Окно моей ученой кельи – в голове, на лице исполина, и

глаза мои, будто очи колосса, уставлены в вечность. Пустынен двор, как всегда в летнюю пору. Стрижи неустанно чертят жаркое бледное небо. Вот они – воздушные пути моих мыслей.

Но стрижи все кружат над портиком, на виражах опускаясь к траве, посеревшей от солнца, к асфальту дорожек, чтобы, отчаянно вскрикнув, снова набрать высоту. Так колесницы в долгом пробеге несутся вкруг арены, и возничие дико гикают на поворотах. Нет, плоха та речь, что ограничена кругом, будто долгий пробег, речь, что замкнута, словно ошейник раба. Освободим ее бег – пусть от начала к концу прямо летит куда хочет.

И выстроим мысли в порядке классической хрии.

Итак, наша первая часть – похвала. Я поднимаю руку к горлу – он там, во впадине между ключицами, мой горячий красный камень. Жгучий амулет. И пальцы скользят по извивам высеченных знаков.

Что же мне похвалить, начиная историю этой жизни?

Время? Время, неторопливой змеею шуршащее у постели родного, когда уже прозвучали слова – «терминальный больной» [5] , – у той койки в темноватом коридоре, на которой под чем-то серым, смертным – вся ваша жизнь? Или то, быстротекучее, водой ускользающее между пальцев, стремниной влекущее вас куда-то меж берегами, на которых еле удается разглядеть могилы друзей? Или, может быть, время покорное, наконец уступившее, остановленное усилием воли в мгновение страсти? Нет. Я не верю ему. А обманы хвалы не достойны.

Так что ж похвалю я?

Что ж, я знаю свой выбор. Он труден и прост. Любовь. Любовь, конечно. Счастье этого недостойно. Куда ему бороться со временем. На миг, на краткий миг – и то его не остановит.

Но я видел время, взнузданное и укрощенное тем, что одно над ним властно – любовью. Итак, вот что я похвалю: любовь, остановившую время. Все очень просто: она обратила его в вечность.

Теперь, по обычаю древних, хвалу воздаю тому, «кто слово сказал и дело сделал» – тому, кто смог любить так сильно. Моему профессору риторики. Были, были другие, и многие, и достойнейшие его. Обо всех мы слышали – да, но с чужих слов. И отчаянно пытаемся верить. Но надежней рассказ очевидца.

Очевидца? Да что там. Уж хватит, дань я традиции отдал, настала пора сознаваться.

Профессор риторики, тот, кто открыл мне опыты древних, этот старый человек, не забывший солнце, а время – само время! – остановивший своей любовью – это женщина.

Впрочем, что ж тут удивительного? Именно женщина, мантинеянка, жрица Диотима, самому страстному из смертных – бессмертному уму – поведала истину о любви. А он, мудрейший, внимал ей. Ведь кому знать о любви, говорить о ней, кому, наконец, питать любовь, как не женщине?

Удивительно другое. Так случилось… Так сложилось… Так вышло… Словом, она, эта женщина, она, профессор риторики, – моя мать. Вот отчего великий и величественный Логос был передан мне прямо в руки, и так просто, так даже буднично, словно один из свертков с подарками на день рождения – в других мог оказаться, например, темно-рыжий медвежонок, грузовик, набор динозавров, карандаши и краски…

Продолжу. Все это, напомню, я думал, стоя у окна в серой гранитной твердыне биофака и поглаживая красный камень амулета – теперь на время мой. БОРДЖ. ТВЕРДЫНЯ.

Но пока я в раздумье стоял, оранжевым шаром к закату солнце скатилось и за спиною исчезло, розовый отсвет оставив в сумерках тонких, туманных. Сгустилась мгла над сиреневым садом, тихо приблизился вечер. Нужно продолжить работу. И я от окна отвернулся.

Прекрасна строгая цепь приемов прочтения текста. Прекрасны усилья разгадки и толкования знаков создателя тварного мира. Что может быть совершенней замысла, скрытого в жизни, одушевленной любовью? Думая так, я трудился в муках своей экзегезы [6] . И, созерцая внятную мне скоропись пиков зубчатых – черных, как гладкий базальт, алых, как маки предгорьев, синих, как высь, и зеленых, как небеса на закате, – явленный в графике текст четырех оснований творенья, – глядя на светлый экран и читая священную книгу, мнил я себя герменевтом средневекового града. Так же, как он, толковал я образ божественной мысли, чувствуя время крылатым посланником вечного смысла.

HORTUS; DOMUS; ABYSSUS [7] .

САД, напоенный прохладой летнего вечера; ДОМ в окружении сада, давший приют мысли неосторожно-пытливой; БЕЗДНА – бесчисленность смыслов и обращенная к звездам лествица новых познаний… Что еще нужно для счастья жарким томительным летом?

Да. Вот оно, счастье. Серая твердыня факультета, сизый вечерний сад, укрытый дымкой тумана, текст ДНК – загадка, награда и вызов.

И в упоенье от дела я дал себе волю прерваться. Там, в коридоре, сгустился сумрак и тени скрывали странные лица ученых в рамках на темных панелях. Черная кошка – с лестницы,

студентка-блонд из-за шкафа взирали надменно и пристально сквозь и мимо меня. Чернели шелка и бархаты зеленоглазой бестии; прозрачно и не мигая смотрела студентка-блонд. Каждый прохожий сделаться учителем может для мудрого, – так говорил Конфуций. Но видел ли он таких – созданий, лишенных совести, созданий спокойно-царственных… Бедный котенок Конфуций! Света во тьме не сыскать…

И я укрылся за дверью, ключ повернул и в смятенье снова к окну обратился. Двор фонари освещали. Вот что сказала бы мать, если бы вместе со мною вниз из окна посмотрела. Если б решилась позволить себе хоть немного свободы:

«Я знаю, как ждут деревья – ложатся тенями на плаху скудных дворовых газонов, под тусклый фонарь, и ждут. Я знаю, как это – ждать: смотреть из окна на тени прохожих, бегущих по теням косо лежащих деревьев; пытаться увидеть знакомый жест, очертанье, походку – чтоб сердце толкнуло: вот он… Но сердце молчит сегодня – не так, как тогда молчало. Оно равномерно бьется и знает: стволы косые напрасно внизу чернеют. Ведь минули годы и годы, как ждать уже некого стало…»

Сказала бы так, или, быть может, иначе – но о любви, непременно. Что ж, и мое время пришло. Ночь во дворе биофака прозрачна, какими бывают все душные долгие ночи. Прозрачна и призрачна. Такова и любовь – ни слеза, ни улыбка, ни горе, ни радость, но все, что способно вместить в себя сердце. И метод здесь нужен особый. Скажу, как сам знаю и как научен:

«МЕТАФИЗИКА ЛЮБВИ

1. Гипотеза.

Начало: взрыв, толчок и расширенье материи души. Взвихренный атом. Спиральное движенье галактики, поземки в феврале и завитка гнезда под скатом еловой ветви. Туч разлет крылатый.

2. Описание.

Открылась дверь. Вот выход на свободу. Видны уже и реки, и долины. Не столько выход, сколько вход в картину. Иное оперенье небосвода, не те цвета заката и восхода. Пространство светоносного эфира. В нем – ласточки, звенящие ветра, златое солнце – зрак во тьме сапфира. И бродит волчья белая сестра в туманных облаках ночного мира.

3. Развитие и конец.

Вдруг время двинулось. Куда-то отступает вода от берегов, душа от края. Сжимая сердце, мир освобождает от жизни смерть, резвяся и играя. Сереет небо. И земля сырая.

4. Теорема.

Взгляни в глаза своим воспоминаньям. Открой альбом. Внезапно,

безудержно нахлынут слезы – как при расставанье. Как над утратой горькой, безнадежной».

Если сказанное в (1–4) справедливо, следовательно, скорее всего, любовь вас посетила и вы ее потеряли.

Заметим, что все перечисленное – условия необходимые, но недостаточные. Достаточные условия неопределимы, неизвестны, непознаваемы.

Продолжу свою похвалу любви, посягнув на ее тайну – попытаюсь начать рассказ с попытки выяснить достаточные ее условия. То есть с того, что принято называть

Предыстория

Как думал мой отец, пока был ученым, ситуации жизни возникают не случайно, а растут и развиваются одна из другой, подобно ветвям дерева. Отец догадался об этом, шатаясь по ночам вокруг цитадели знаний на Воробьевых горах и наблюдая стаи бездомных собак. Излишне говорить, что и он был в те времена охвачен любовью. Это она не давала ему покоя, превращала в преследователя стай и соглядатая собачьих свадеб. Это она горячила в нем кровь и воображение, распаляла разум и страсть к спорам, будила стремления. Так на несколько лет – а любовь задержалась тогда надолго и осветила всю его молодость, – так на несколько лет он стал ученым. Исследователем. Философом. Так родились его дети – концепция и метод ситуативного анализа. То есть то, что я вам сейчас описал. Ну, а с ними – и я, конечно.

Теперь, когда любовь покинула его, он даже не может припомнить, что, собственно, с ним тогда случилось. Но метод остался. И – чем черт не шутит – не исключено, что он применим не только к собачьей жизни. Быть может, тогда любовь дала отцу в руки то средство, которого сама для себя пожелала. Уж очень он был пылок. И обаятелен. И наивен.

Таково мое предположение, и никто не мешает его проверить. Что ж, попытаюсь.

Это довольно просто. Дело в том, что у меня есть одна догадка. Догадка, которая вполне способна привести к истокам. К самым корням. Займемся прежде ею, а уж после попробуем применить отцовский метод – найдем и опишем ситуацию зарождения любви. Те обстоятельства и условия, в которых мощно закручивается спираль и сама материя души сжимается с такой силой, чтобы в следующий миг развернуться, изменяя собой вселенную. Мне кажется, нужный текст я нашел. Он перед вами.

Листок, прильнувший к фанерному дну ящика стола профессора риторики

«Солнце взошло и стояло в майском высоком зените. Я на пригорке сидела, глядя, как через травинку луч, словно спица, проходит и на ладонь мне ложится узкой зеленой полоской. Глаз не могла оторвать я от нежных весенних побегов. Там одуванчик зубчатый, словно копья наконечник, клевера юные листья, мелкая поросль кашки… Солнце меня согревало, и я неподвижно застыла, как затаившийся птенчик или печальный зайчонок. Было мне года четыре – стены тюрьмы над пригорком были еще нерушимы, так же, как вечная дружба с братским китайским народом.

В том же луче, травой преломленном из белого в нежно-зеленый, вдруг шевельнулась у корня травы блестящая черная точка. Суженный солнцем зрачок глаза она приковала, будто кто-то незримый резко прямую провел между точкой и точкой. Мгновенно связь эта силой такой исполнилась, словно бы солнце само взялось по ней перелиться… Тут в первый раз, в напряженной борьбе, мне открылось особое зренье. Я увидела в мире себя, и мир переполнил границы моего бытия. Показалось мне, что умираю, – невыносима, как боль, была красота мирозданья.

Так на пригорке у женской Новинской тюрьмы я следила однажды путь муравья под листком на солнцепеке весеннем. И с тех пор научилась терпеть эту острую боль узнаванья».

По поводу этого довольно сумбурного, на мой взгляд, рассказа позволю себе один комментарий. По-моему, совершенно то же состояние передает философ, записавший для нас речи бессмертного грека. Собственно, любовь и обратила обычного аристократа в философа, и он записал все разговоры, одушевленные любовью же, записал все, чтобы ни слова не потерялось, и так сделал свой кумир, этого исступленного безумца, бессмертным. Чего любовь и добивалась. И добилась, мгновения бесед остановив в вечности.

Итак, привожу здесь соответствующий фрагмент в переводе, чего, конечно, не позволит себе ни один подлинный… любитель? Специалист? Знаток?

Но ведь я таковыми не являюсь. У меня свой предмет любовного исступления – тритоны. Не перепутайте с ящерицами.

Тритоны – амфибии. Да, именно. Лягушки с хвостом, если хотите. Но изящно вытянуты. Танцуют в воде что-то страстное – фламенко показалось бы манной кашей. И хвосты трепещут, как мулеты. Или цыганские юбки. А когда выходят на сушу, чтобы зарыться в мох, спрятаться под корягой – все в изысканном старинном бархате: темно-коричневом, черно-лиловом… А с исподу бархат нежно-палевый, кремовый, розово-желтый, как лепесток чайной розы, и испещрен леопардовыми пятнами. Ах, опять отвлекся.

Но к делу. Вот и отрывок бессмертного текста, поясняющий рассказ профессора наилучшим образом.

«Когда кто-нибудь смотрит на здешнюю красоту, припоминая при этом красоту истинную, он окрыляется, а окрылившись, стремится взлететь, но, еще не набрав сил, он наподобие птенца глядит вверх, пренебрегая тем, что внизу, – вот причина его исступленности… Причастный к такому исступлению любитель прекрасного называется влюбленным» [8] . Заметим тут: много званых, да мало избранных. Все мы когда-то созерцали некую истину и некую красоту, что, впрочем, одно и то же. Да мало кто помнит об этом.

Но, если судить по рассказу о муравье на пригорке у женской Новинской тюрьмы, не так прост мой профессор… Сравните, как продолжает об исступлении наш грек:

«Мало остается таких душ, у которых память достаточно сильна» . А вот дальше – смотрите-ка: совпадение двух текстов почти полное, чуть ли не дословное:

«Всякий раз, увидев что-нибудь подобное тому, что было там, они бывают до того поражены, что уже не владеют собой, но при этом сами не знают, что с ними творится, потому что не могут как следует разобраться в своих чувствах» . Но самое удивительное – впереди:

«Надо благодарить память, ибо она заставляет нас тосковать о том, что было тогда…И красота, как мы сказали, сияла нам среди того, что там было; когда же мы пришли сюда, то стали воспринимать ее сияние всего отчетливее самым отчетливым из наших чувств, а из телесных чувств, которые достаются нам здесь, самое отчетливое – это зрение».

Ну не странно ли – исступленный грек, два с половиной тысячелетия назад рассказавший свою версию, зачаровав весь мир, – и четырехлетняя девочка, весенняя трава на пригорке у Москвы-реки, женская тюрьма… И какая-то вольтова дуга, да что там – сила целого солнца между двумя черными точками – между зрачком ее глаза и муравьем. Кстати, это был, без сомнения, Lasius niger, черный муравей, столь обыкновенный в московских

двориках той эпохи, что покинула нас навсегда. Вместе с муравьями.

Ясно, что мы имеем здесь дело с первой предысторией. И самой важной. Будут и другие, вы поймете, что и их тоже нельзя счесть самой историей – они лишь предваряют ее, располагаясь друг за другом в строгой последовательности, однако все – до настоящего начала.

Но время все пыталось и от любви ускользнуть. Выскользнуть. И пока любовь была слаба (а может, просто иная), ему это удавалось.

Вот текст, в котором профессор говорит об этом. Или мне кажется?

Листок из потерянной записной книжки

«Жизнь моя на обочине жизни проросла в переулочке тихом и приникла к печальной отчизне всей любовью, напоенной лихом. Силы сорного семени дики, корни цепки и узы бессрочны… Только города милые лики оказались, как камни, непрочны. На закате пустыми глазами смотрит город на запад, на запад… Заревое холодное пламя ловят окна, но время внезапно покидает былые пределы. Словно птица, снимается с места: покружила – и вдаль полетела, и растаяла в круге небесном».

Комментарий биографа

Вот ведь как способно вести себя время – время-птица, крылатое время… Такой любовью люби не люби, а никого не удержишь. Даже человека. В сущности, и не любовь это вовсе. А тоска. Заметьте, как о ней сказано: «любовь, напоенная лихом»…

Любопытно и еще одно наблюдение моего учителя о свойствах времени. Как и многие его мысли, ни подтверждения, ни опровержения оно не нашло. Да и не найдет уже, пожалуй. Слишком уж странно все это выглядит. И, я бы сказал, неактуально. Завораживает, однако. Судите сами.

Лист формата А-4 (на других профессор с некоторых пор не писал – говорил, что должен чувствовать пространство)

«Я буду ждать под старой желтой аркой на площади Мгновения. Но помни: настал июнь, и в переулках жарко, и тяжко дышит златом дом огромный, безбожником построенный для Бога на месте том, где зла скопилось много… Как ветер пух поднимет тополиный – в ночи короткой рык услышишь львиный: два белых льва и сонмы львов крылатых – со врат чертогов, некогда богатых, – пойдут бродить по улице Пречистой, взлетят к луне в ее покрове мглистом. И черные четыре льва воспрянут, и от поэта пленного отпрянут – пойдут к реке воды ночной напиться, вдоль по бульвару грозной вереницей… Но что до них, когда в ответ – ни слова. Июнь уходит и приходит снова. Пустынна площадь города немого – мгновенье в вечность обратить готова».

А теперь и я со своим пояснением, если позволите. Не о реальной топографии, конечно – она прозрачна. Желтая арка, непостижимым образом пока не снесенная, – у метро Кропоткинская. Два белых льва – те цари зверей, что картинно возлежат у врат науки, а именно: в завитках обильных грив сторожат вход в Дом ученых. Профессор состоял некогда членом этого клуба прежней элиты, но в самом начале Эпохи перемен, когда на профессорскую зарплату можно было купить разве что десяток бутылок водки, взносы платить перестал. Пленный поэт – Гоголь. Печальная узкая фигура на другом конце бульвара, спиной к реке и храму. Лицом к задумчивому Пушкину: Суворовский бульвар, Тверской – а между двумя бульварами и двумя поэтами – столь же узкий и тоже какой-то невеселый Тимирязев. Зачем он там? Почему? Неведомо.

Так вот, о некоем свойстве любви, мерцающей на темных небесах этого текста. Кажется, она способна накапливаться. Аккумулироваться, как при зарядке батареи. Это происходит там, где мгновения постоянно растягиваются, где влюбленные назначают встречи.

И ждут. Многократные растяжения даром не проходят. Это как связки. А заряд любви в таких местах необычно велик, так что и время там не просто витает, а останавливается навеки. Или, по крайней мере, присматривается: не задержаться ли?

А пока любовь собирается в небесах над городом. Проносится

ветром где-то в вышних, а может быть, и в вешних, и вдруг расширившиеся ноздри трепещут, как от запаха дождя.

Пожелтевший листок, занесенный за наше пианино – J.T.Muller, Dresden, 1872, черное и молчаливое, как время, заброшенный между инструментом и стеной ветром какой-то давно прошедшей осени, каким-то плюсквамперфектом прошлого

«Есть что-то в воздухе… Дома стоят немые. Где трещины в асфальте, как живые, росли и старились, – там линии прямые. Но что-то в воздухе… За стеклами застыли манекены – они пришли, как вечность, нам на смену. Но что-то в воздухе… Съедобные фантомы из бывшего выносят гастронома. И нет на улице ни ясеней, ни вязов… Так что же в воздухе такой знакомой фразой поет в ветвях исчезнувших деревьев, звенит в разлете голубиных перьев?»

Комментарий биографа

Да, это она. Любовь. Но не везде слышна, не везде. А листок с летящими строчками – чуть вверх у края, черные чернила, а может, шариковая ручка – я в этих древностях не разбираюсь – листок я почему-то спрятал. Открыл пианино, разжал пальцы – и он скользнул вниз, в черный деревянный короб, и улегся на струны, в темноте проблескивающие золотом, на странные молоточки – весь этот волшебный механизм дремлющей, но живой музыки.

И еще один рассказ профессора. О другой желтой арке. Да, была и вторая. А может быть, следует предположить, что в нашем городе – тогда еще не мегаполисе – прежде желтые арки возникали везде, где любви было так много, что там свивала себе гнездо птица времени.

Листок из ученической тетради в клетку (по-видимому, из очень ранних)

«В старом зоопарке – деревянный терем. Вход под желтой аркой. Терпкий запах зверя – аммиак и мускус… И решетки грубы. А проходы узки. Жарко греют трубы… Рядом, хоть потрогай, – теплый бок нильгау. На табличке строгой сказано: туда вам лучше не соваться… И еще – что в прошлом вам нельзя остаться».

Комментарий биографа

Ну, нельзя так нельзя. Нильгау – антилопа Boselaphus tragocamelus, живет в Индии.

Как ни странно, я ее тоже помню. Неужели ту самую – и если так, вечную, как беременная гиена в темном помещении для таинственно вонючих хищников? Карий, почти черный огромный глаз с поволокой, из-под печальных густых ресниц невольницы. Кроткие, короткие движения узницы за толстыми прутьями. Бархатный нос. Подрагивающее ухо. Не знаю, как эта восточная красавица выглядела целиком. Я ведь смотрел на нее дитятей. Но желтой арки тогда уже не было. Мою коляску вкатывали в зоопарк между двумя серыми от городской копоти гипсовыми стенами, на поверхности которых проступали огромные и неживые силуэты: бородатый лось, белый медведь, морж на льдине…

Не то поражает, что любовь останавливала время. Она и сейчас это делает. Что же тут удивительного, и примеров тому легион. Да вот вам один на первый случай. Привожу целиком и без изменений текст, присланный мне китайским другом по электронке. Проверял почту вчера вечером – и вот, пожалуйста [9] :

E-mail из города Бейджин (от далекого друга, с моим пояснением)

«Пусть ударил впервые мороз – но вокруг эта сладкая тишь: солнце, и ничего, кроме солнца. Пусть назавтра и пруд занесет, но сегодня он – небо без дна: солнце, и ничего, кроме солнца! Пусть в ветвях словно спицы звенят – но синицы не старше листа. Лист сияет, и тот – только солнце. Даже лист пусть еще не упал – в новой почке таится весна: солнце, и ничего, кроме солнца! И все та же вода под мостом, хоть и много ее утекло: солнце в этой воде, только солнце! Опусти в нее руку – и вновь будет сердца форель трепетать и заискрится радугой брызг – словно солнце… Так бамбук переливчато пел, чтоб флейтисту увидеть в ночи солнце – и ничего, кроме солнца!»

Здесь солнце – это любовь, конечно. Не обижайтесь на мои постоянные пояснения, быть может, неуместные. Я ведь преподаватель – начинающий, а потому ретивый. Так люблю своих студентов! Эту милую, трогательную стайку. Китайцы, тайванец, иранец и иранка, две немки, и даже русские есть. Так хочется все объяснить. Третьего дня спросили меня, действительно ли Иисус Христос ходил по воде, или это людям только показалось. Ну, как вам нравится! А сами так и ходят за мной.

Из того, что написали для меня китайские друзья, выберу еще один аргумент. Здесь любовь останавливает время, обращая его в камень. Камень прославленной в веках башни. Тоже способ, должен вам заметить… Вот как это было сделано:

E-mail из общежития мгу послание китайских студентов русскому преподавателю (мне, и с моими комментариями)

«Он ходил над рекой и рассчитывал судьбы и дни, сопрягая размеры камней, числа жизни, рассветы, закаты… Над рекой он построил помост, пил вино, и закатов огни измерял и вносил в чертежи, наблюдая за небом крылатым…

И вот какая башня у зодчего получилась (а был он, конечно, влюблен – влюблен страстно. Быть может, любил. Да, любил. Я неверно выразился, извините. Непростительная оговорка):

Медь на шпиле еще зеленей, чем священный нефрит, выше – флюгер ажурный, дракону подобный, парит. Только взглянешь – и снова несется навстречу весна, от которой тот зодчий томился ночами без сна… Только взглянешь – и вспомнишь: во всей Поднебесной одна эта башня: ведь чашу недаром испил он до дна… Эта башня, лазурь над которой ясна и чиста: только взглянешь – и вспомнишь, как жизнь коротка и проста».

Да, другой такой нет во всей Поднебесной. Это правда. Я был там как-то проездом и могу подтвердить: все точно так, как сказано. И над этой странной постройкой небо всегда голубое. Даже в самый сильный дождь. Даже в снег. Даже ночью.

E-mail в общежитие МГУ (Ответ русского преподавателя китайскому студенту, тоже с моим пояснением)

«У меня в корзинке есть лягушка – зелена, как свежий лист весенний. Приходи под вечер, чтоб послушать тихий звук ее сухого пенья. Жду себя к обеду. Приглашаю и тебя явиться к угощенью. Сладких блюд теперь не разрешаю, но и ты не склонен к попущенью. Мы не дети. Строгость – признак мужа. Первый шаг его к вершинам чистым. Если с другом мы разделим ужин – будет верным путь в горах скалистых».

И вот почему написал такое. Сдержанность. Мера. Строгость. Вот наш долг и наше назначение. Любовь? Да, зодчего она посетила. Именно она. Но не забудем, что башня-то одна на всю Поднебесную. А кидаться в погоню за любым миражом – значит упустить вечность. Есть и иные пути. Нет, не в обход любви, конечно. Стремящийся к вечности ее не минует, и помимо нее нет дороги к истине. Но вот чему я хочу научить вверенных и вверившихся мне птенчиков. Много званых, да мало избранных. И вряд ли стоит ждать от нее, такой своенравной, такой переменчивой, особой для себя милости. Будем терпеливы. Напомню: quivis doloris remedium patientia est [10] . И трудолюбивы – трудолюбивы непреклонно. Тернист и узок путь к знанию. Но с каждой ступенью ввысь мы все ближе к сияющему небу – небу любви. К тому, что над башней. К той лазури, что и тучам затянуть не под силу. К небу вечности. И вот что еще я привел в доказательство – привел как пример, привел как образец:

Еще один e-mail в общежитие МГУ: (русский преподаватель – китайским студентам)

[11]

«Я отныне шага не ускорю. Я не мул, а время – не погонщик. Путь лежит туда, где на просторе жизнь течет иначе, но не проще. Я увижу: мох встает примятый, на следу медвежьем поднимаясь: значит, только-только брат лохматый здесь прошел, неспешно удаляясь. Высоко идти до этой встречи, прежде чем на землю опуститься, – выше, чем парят над снегом птицы, выше, чем летят Дорогой Млечной… Я отправлюсь Верхними Путями, сквозь туман абстрактных категорий, и концептов цепкими сетями душу зверя обойму, и вскоре след увижу на земной дороге – темный след на моховом болоте. И пойму: дошел. Я на пороге. Флейта пусть звучит на этой ноте».

(Видите, стараюсь излагать свои поучения в образной системе, близкой адресату, – именно так, как учил мой профессор: платье должно быть сшито по мерке заказчика. Китайцы, иранцы, тайванец не останутся равнодушными. Русские? Ну, они, как известно, всечеловечны. Или были такими в предыдущей вселенной, читайте Достоевского. Что же здесь и теперь? Бесчеловечны?)

Да, можно действовать и так. Все уверенней достигать тех разновидностей любви, что способны останавливать время, претворяя его в вечность. Это путь науки – забытая, заброшенная, плевелами зарастающая тропа. Так, пройдет изредка мул под одиноким седоком, оборвет несколько колючек, проторит путь к высотам – и снова тишь. Но нет – не дадим заглохнуть. Пусть не у себя – так хоть в Китае… Но я снова отвлекся.

Итак, повторяю, не то удивительно, что способна любовь уловить и удержать время. Это мы знаем, за это и хвалу воздаем – ей, всесильной, ей, раздирающей сердце куда беспощадней, чем орел – Прометееву печень.

Странно другое: едва успев добиться своего, она ускользает. Орел был куда жалостливей – приучил к мученьям, но не бросил. А что чувствует внезапно оставленный любовью – и ведь умеет же она внушить, что оставляет навсегда, хоть к чувствительному сердцу вернется, вернется непременно! Вот что говорил об этих особых ощущениях мой учитель, повествуя о них в диатрибе – воображаемом диалоге. В нем Весна беседует с Ритором –

жертвой любви, столь высоко его вознесшей, что падать было не просто больно:

Листок, вложенный в «Книгу о вкусной и здоровой пище» (М., 1952)

«– Сух порох прошлого в моих пороховницах, – сказала мне Весна, пронзая прах травы зеленой щеткой стрел и сполохом зарницы грозя спалить разлив вечерней синевы…

– Все выжжено дотла – что мне огонь небесный? Все выпито до дна – что новая весна, сирени облака, и гром, и луч отвесный в прорыве черных туч, и ночь в полях без сна?»

Так отвечает Ритор. Видите? Пустыня. А вот и еще свидетельство, причем такое, что может с успехом дополнить нашу МЕТАФИЗИКУ любви ее ОНТОЛОГИЕЙ, поскольку речь в нем идет о веществе любви и тех четырех стихиях, из которых она способна это вещество черпать. Текст, безусловно, из ранних, однако его очевидная наивность не должна вас смутить. Скорее она проясняет дело, безнадежно впоследствии запутанное:

Листок А-4, сложенный пополам и найденный среди копий диплома доктора наук (в моем перечне назван «онтология любви»)

«Я помню туфельку и ногу на траве, над ней – цветы моей широкой юбки. Я помню вешний шум, и ветер в голове, и аромат ночной фиалки-любки… Но я не помню вещества любви: была она огнем или водою, землей иль воздухом? Гормонами в крови иль бредом и фантазией пустою? Я помню что-то, что сжигало в прах, что заставляло петь и задыхаться, захлебываться, виться в облаках – и, оземь грянув, насмерть расшибаться… Вот туфелька, вот горсть песка в руке. Как год назад, цветы на юбке ярки… Огонь не жжет. Тиха вода в реке, а птица в воздухе. И день такой нежаркий…»

Вот вам и онтология. Алхимия какая-то эта любовь. Философский камень. Все – золото, все – солнце, все – свет и жизнь. Время – вечность. Но вот только сама материя жизни этого не выдерживает и расползается прямо в руках. В прах и тлен…

Но постойте! Ведь наша цель – похвала, а предмет – любовь, время в вечность претворяющая. А вовсе не бытие с его четырьмя стихиями и материей. Пусть себе расползается. Нам-то какое дело? Отношения материи и смысла в этой части рассуждения вовсе не наша ***рогатива*** , как говорил один доктор филологии. Они, эти отношения, и сами по себе настолько сложны, что должны составить предмет отдельной хрии.

Вернемся лучше к предыстории. Если помните, первой в ряду ситуаций, предваряющих историю, которую я должен поведать в этом своем слове, слове обетованном, то есть по обету сказанном, обещанном мною учителю, – первой была ситуация с муравьем. Из нее, как мне кажется, и проросли все прочие.

Но вот и вторая. Дитя, чей зрачок, суженный взглядом на солнце в черную точку и соединившийся с черным муравьем Lasius niger посредством космического созерцательного напряжения, сидело на нагретом пригорке у Новинской женской тюрьмы в одиночестве. И это одиночество не было случайным. Неслучайным было и созерцание, и… Ах! Как же я мог так ошибиться! Непростительно, позорно, постыдно… Нарушена логика развития событий, неверно применен ситуативно-исторический метод – плод любви моего отца.

Ну конечно же! Первой по праву должна идти вовсе не

история о муравье. Это событие зарождения любви, потому она сперва и показалась мне истоком, исходом, почкой, выстреливающей зеленым побегом в весеннее небо вечности.

Но нет, нет! Трижды нет! Есть еще одна история, она-то и будет начальной. Событию с муравьем, то есть рождению любви, предшествовало нечто совсем иного, противоположного свойства. Дитя сидело в одиночестве, с непокрытой головой, у стен тюрьмы, разглядывая траву у себя под ногами и тоскуя по вполне определенной и одной-единственной причине. Оно было брошено.

Да, все как у всех: родители развелись. Но присутствовало и нечто необычное. При этом погибла любовь. Нет, не то чувство, что некогда связывало отца и мать. Это умирало постепенно, как исчезает в темной норе крысиный хвост. Я имею в виду любовь, да, именно ее.

Впрочем, может быть, и тут я снова ошибся. Любовь ребенка к отцу не погибла – но изменилась, изменилась неузнаваемо, претворившись в страдание. Страдание было такой силы, такого напряжения, такого невыносимо яркого белого каления, что легко переплавилось под солнцем весеннего полдня в космическую дугу созерцания. Так родилась, так вылупилась на свет, как зеленый побег из почки, история с муравьем.

Ну вот, теперь, кажется, все верно. В подтверждение приведу текст, записанный со слов моего профессора совсем недавно. Была у нас одна беседа этой весной – вечером, когда угасло наконец опаловое свечение дождливого дня и на душе все стало постепенно устраиваться, успокаиваться и вот наконец улеглось. Так, то взъерошивая, то укладывая оперение, затихает в сумерках птица. Но вот с учителем творилось что-то неладное. Теперь-то я знаю, что. Но тогда, увы, и это было тайной. Правда, для меня все вообще таинственно. И мне это нравится. Не было бы такой радости откровений – счастья открытий, что дается мне в иной день испытать не однажды. Началось, как обычно, со слез. Неожиданных, необъяснимых и бурных. Я сел рядом, обнял за плечи. Кости были тонкие и легкие, будто рядом сидел с опущенными крыльями ангел. Плечи вздрагивали, поднимаясь и опускаясь, и мне показалось – вот улетит. Последовал один из тех бессвязных разговоров, с помощью которых люди пытаются утешить друг друга. Потом все понемногу стихло – движения плеч, слезы, слова. Настал наконец покой. Я успел вовремя – включил незаметно диктофон на своем мобильнике: не раз уж бывало, что в таких обстоятельствах удавалось услышать что-то прекрасное, почти неуловимое, такое, что вспомнить и восстановить потом трудно, если не невозможно. И не ошибся.

Расшифровка диктофонной записи:

«Роща в тумане росистом дождливого дня. Соки несутся по жилам растений ручьями. И голубеет трава, и черемуха манит меня, будто забыв, сколько весен таких за плечами. Будто забыв, что настанет иная пора: липы стряхнут, словно пчел, свой убор драгоценный, встанут аллеями – в бархате черном кора, алый закат заливает холодную сцену.

(а вот дальше – внимание – разгадка всего)

Отче, я знаю, ты создал и бросил меня, чтобы отца на земле я искала напрасно. Я не нашла его в сумерках дольнего дня. Но и к тебе не вернусь в одиночестве страстном».

Вот в чем тут дело. Ну что ж. Такая судьба. Вот ее узор: любовь – страдание – любовь… Далее то же. Это как товар – деньги – товар… Но вот где-то в этой цепи появляется божественный Логос. Где? Ах, знаю. До начала всего. Он и есть тот порождающий закон, тот принцип, что создал и определил все. Но, как и всякий принцип, до времени не заметен. И тогда, все так же сидя рядом со своим профессором, я подумал:

«Ангел – это значит просто вестник. Потому глаза его печальны, что чужою переполнен песней – он, чужого голоса посланник.

(Записывая эти строки, я колеблюсь: чужого – голоса? Логоса? Да и чужого ли? Может, просто – иного?) Но продолжу:

Радостно свистят цветные птицы под рукою неба всеблагого. Но молчат отверстые зеницы и уста, замкнутые глаголом. Только крыл пресветлых дуновенье, только шепот, шорох, шелест перьев. Скорбный взор. Невидное движенье. Вздох усталый тяжкого неверья».

Да, ангел. Узкие лопатки недоуменно приподняты – тонкие и легкие, почти крылья. Да, вестник. Форма, отлитая для себя божественным смыслом – Логосом. Головка на длинной шее клонится к плечу, руки сложены так бессильно, будто они и вовсе ни к чему. И лицо. Однако ангелы все – воплощенная молодость, даже не стремящаяся к своему пределу – зрелости. Этот же иной, словно путешественник после странствий – дальних, слишком дальних. Молодо выглядит, хорошо сохранился – но нездешним опален солнцем, неузнаваем. Да и кому узнавать? Кто умер, кто убит, а кто и уехал. Из уехавших, кстати, назад никто не вернулся. И вряд ли это случайно. А вот мы вернемся. К похвале – любовь требует.

Биограф о тайнах любви

Недавно, месяц-полтора назад, в то время, когда в прежней вселенной завершалась пора таяния снега, я устал от работы и осмелился выйти из своей кельи – каменной ячейки в серой твердыне биофака. Чувствовал я, что нуждаюсь в долгой прогулке, и повернул налево, вдоль по гребню Воробьевых гор, все еще лесистому. Ветви берез и лип, из-за автомобильных миазмов беззащитные перед грибком, безобразно искривлялись и скручивались, как ведьмины метлы.

Но неторопливо, глядя то вниз, в чашу города, накрытую голубой кисеей ядовитого дыма на другом берегу Москвы-реки, то вверх, в небо, как всегда плотно задернутое завесой тяжелых туч, я миновал панораму напротив Главного здания и трамплин, миновал и другие прекрасные пространства и вошел наконец в аллеи Нескучного сада.

Смеркалось. Усталость напомнила мне о возрасте – моем, моем и вполне преклонном. Шутка ли – почти тридцать. Скоро конец. Но что я знаю о любви, – подумал я, – что я знаю о ней не с чужих слов и не из книг, а сам, я сам, – что я знаю о ней такого, чтобы и свой голос присоединить к таинственному слову певчего дрозда, к ликующим беспорядочным от счастья кликам зарянки, к звонким отрывистым свистам большой синицы, неустанно посылающей свои страстные эсэмэски, к скромной переливчатой трельке лазоревки? Что?

И тут внутри меня прозвучал тихий, но отчетливый ответ. Некоторое время спустя оказалось, что это был не только ответ. Скорее – пророчество. Потому позволю себе привести текст полностью:

«Прозрачная весна, и снегом пахнут лужи, и под ногою кромка льдистых кружев…В темнеющем саду не статуя нагая – свой лик любовь явила мне благая».

(И действительно, что это там, впереди, – такое светлое в темных купах влажных жимолостей и боярышников? Не моя ли студентка Лика, которую я только что утомительно уговаривал не бросаться с плоской крыши биофака, куда привело ее разбитое мною сердце? Не в ее ли сумасбродную голову взбрела теперь идея раздеться в кустах и обернуться для меня Афродитой или Артемидой, раня свою нежную девичью плоть острыми, черными от влаги шипами боярышника? Нет. Не она. Но и не статуя – давно нет тут, в Нескучном, никаких статуй… Нет? Ну так что же это?) Но голос продолжал:

«Зеленая весна трубит раскат громовый, в саду сирени

сумрачно-лиловы, трепещет молния и, в небесах сверкая, второй являет лик любовь благая».

(О! – подумал я с некоторым облегчением. – Значит, Ликой дело не кончится!) Но голос пел, становясь все требовательней, взлетая все выше… Так, верно, могла бы петь птица Сирин):

«Гроза прошла, в саду пусты аллеи, и мрамор статуи на зелени белеет. И я провижу, сердце напрягая, твой лик последний, о любовь благая!»

Голос смолк, взвившись к голым ветвям черных лип Нескучного сада, и я остался в аллее один – обдумывать пророчество. В том, что это было именно оно, сомнений уже не оставалось. Я давно научился чувствовать такие вещи. Странно было другое, и мне снова пришлось заняться экзегезой.

По правилам риторическим, в развертывании частей текста должна быть некая смысловая последовательность – некий принцип. Начало повествует о ранней весне – вот как сейчас. Повествует о настоящем. Что у меня в настоящем? Лика не в счет. Но верно ли? Так или иначе, любовь обещана, и явления ее следует ждать со дня на день, с минуты на минуту… И идет, приближается, даруется мне любовь истинная, иначе как могла пророческая птица назвать ее благой? Неужто и моя пора пришла наконец…

Во второй части время меняется. Зеленая весна… Почти лето. Это ли, следующее? Сколько зим отделяет меня от лета второй любви? Неведомо. Но время идет, и пейзаж любви приобретает черты ему согласно. Согласно канону – и времени, и риторики. Вместе с тем речь идет все-таки о весне… Зеленая весна…

Но вот далее… Последняя часть уж вовсе удивляет. Логично было бы ожидать в этой позиции осень. Старость. Но – парадокс! Время вообще перестает двигаться. Что его остановило? Любовь? Ведь только она на это способна, как мы видели и как утверждаем. Но что это за третья любовь, она же последняя? И тоже летняя? Даже весенняя? А, не доживу до старости… Ну, с этим я давно, как вы видели, смирился. Согласен.

Возможен и другой способ экзегезы, вполне банальный. Толкуем так: любовь – весна жизни, какой бы реальный возраст собой ни одарила. Но тогда откуда легкий временной сдвиг между первой и второй частями? Прозрачная весна – зеленая весна… Загадка. Пропела мне все это, видно, не птица Сирин, а Сивилла Кумская.

Я устал. Но, веря в пророчества, не склонен упрощать провидческие тексты. Пусть себе пребывают в своем надменном молчании.

Размышляя так, я прошел всю Большую Пироговскую и

оказался там, где, раздваиваясь, она отделяет от себя тихую провинциальную Плющиху. И вдруг почему-то обернулся.

Там, за спиной, в перламутровом тумане светились купола Смоленского собора Новодевичьего монастыря, высокими облаками клубясь под низким небом. Рядом возносилась чудная сквозная башня кирпично-белой колокольни. Казалось, она чуть клонится над темной монастырской стеной. Над головой просвистели крылья. Пара крякв пронеслась к прудам, рассекая воздух. Сколько сил, сколько же сил в этих крыльях любви, – подумал я устало. У меня, пожалуй, и толики не найдется. И, повернувшись спиной к Новодевичьему с его куполами и колокольней, спиной к прудам, кипевшим от жара утиных свадеб, побрел себе прямой дорогой к дому.

Домой, домой! Вступаю на Плющиху. На углу две девушки – и какой красоты! Особенно та, что стоит вполоборота. Волосы цвета сухой шелковистой древесины. Ноги волшебной длины. Боже, как изящна! К ней склонилась ее подруга, лица ее тоже не видно за завесой волос. Как сестры: тонки и в чем-то бежево-сером. Обе так увлечены разговором, что почти неподвижны. Нет, удивительно неподвижны! Вовсе неподвижны… Да это два тополя рядом! С одного кора содрана грубо. Обнажилось дерево. Эту полосу я и принял за поток светлых волос. Как много коры сорвано… Наверное, каким-то джипом. О, вот и веночек на соседнем столбе: маленький, но нескромный. Все погибли?
Два тополя на Плющихе стоят тихо, недвижно.

Ну, я наконец дома и ложусь. «Коснулось что-то тела моего: пижамка это, лучший друг его», – вспомнил я детскую свою фразу – любимую вечернюю фразу, ту, что и по сей день повторяю, ныряя в постель после душа.

Закрываю глаза. Нет, что-то осталось недосказанным. Не на все хватило сил в этой части моего рассуждения – части первой, похвальной.

По совести и долгу, нужно бы заключить все это размышлением об именах. Ну, попробую. Свое – Николай, «победитель народов», обсуждать и не пристало, и бессмысленно. Совершенный абсурд и нонсенс. Даже имя профессора не раскрою. Иначе на главные имена времени не хватит. А главные все же – любовь и время. Приступим.

Последняя экзегеза, последнее толкование – и спать!

Любовь – слово индоевропейского происхождения. Сравним древнеиндийское lubhyati – «желает», lobhas – «желание, жажда»; древневерхненемецкое – lob – «хвала», готское lubains – «надежда» и «вера», наконец, небезызвестное латинское libido, которое, кстати, может звучать и lubido – страстное желание. Итак, вот

перечень смыслов: выбор, желанье и жажда; хвала, надежда и вера. (Жажду, как метафору желанья, исключаем.)

Нет, вы представляете, что сейчас перед нами?

Тайна любви. Пять ее оснований сокрытых. Выбор, желанье, хвала, надежда и вера. Только такую любовь вправе назвать мы благою.

Время – корень тоже индоевропейский, общий для всех языков этой семьи. Родственно древнеиндийскому vartma – колея, рытвина, желоб, дорога. Vart – вертеться, кружиться. Кружатся, вертятся колеса, выбивая в пыли колею, – вот и дорога, вот и путь, вот и жизнь.

Что же, и здесь мы нашли то, чего прежде не знали: круг превращается в путь, и, размыкая ошейник, медный ошейник раба, мы получаем прямую. Прямую дорогу. Прямую, как стрела. Да, как стрела, жалит и жжет любовь.

Но не меня! Пока еще не меня, слава богу!

И, обхватив свои плечи, укрытые на ночь пижамкой, с сознанием исполненного долга я заснул, завершив похвалу – первую часть обетованного рассуждения. Рассуждения, предваряющего рассказ.

Часть 2 Истолкование (Paraphrasis)

От биографа

Как же понять, как истолковать оставленный мне текст? Текст этой жизни, отданной любви?

Время так непокорно. Мы тщимся разомкнуть обруч, а оно все кружит, и круги расходятся волнами от любого смысла, будто это камень, тяжкий камень, брошенный в реку.

Но и любовь стремится скрыть разящее острие среди многих – так прорастают стрелы молодой травы.

Ритор, однако, недаром умом проницает слои и переплетения нитей – textum, сотканное. Разум и взгляд его изострены древним мастерством. Пусть Эпоха мутаций то кажется вовсе непроницаемой, а то вдруг разворачивается, словно плащ гладиатора, в котором вязнет копье, – но я касаюсь знаков на красном горячем камне у горла, и пальцы привычно пробегают по извивам вязи: БОРДЖ – ТВЕРДЫНЯ. ЭСМАТ – ЧИСТОТА. АФТАБ – СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ.

Листок из блокнота с оторванной обложкой (1) (Датировка, как и далее, приблизительна, а записи в этом источнике редки, так что мне придется дополнять их своими воспоминаниями)

1996. Челябинск. Собака породы доберман прокусила колесо троллейбуса, – говорится в свежем еженедельнике «Команда». Укус оказался настолько сильным, что разжать челюсти пес не смог и был раздавлен машиной. В спустившемся колесе троллейбуса обнаружены четыре прокола от собачьих клыков.

Вот как кусает время. Посланец раздавлен, так что же? Найдутся другие.

В это же время (биограф вспоминает)…

Мне уже десять. Таблица умножения. Умножения смыслов. Совсем не дается, особенно семью восемь – никак не запомню. Потому, верно, что именно в этом месте Варвара Пална – а я стоял у доски – возложила свою мягкую, желеобразную длань диабетика мне на затылок, без труда целиком его охватила и с неожиданной силой двинула вперед, навстречу мутно-зеленой стене. Меловые цифры 7 и 8 с крестом между ними надвинулись, столкновение произошло, и в глазах потемнело. И вот – до сих пор с усилием вспоминаю: пятьдесят шесть. Старая, как гриб, учительница соображала быстро. Цепкий ее ум без труда создал новую таблицу умножения. Новую табель о рангах. Дети профессоров, как и сами профессора и им подобные, – самое дно свежего, пышного, выросшего из навоза общества. Так я стал новым Оливером Твистом.

Мне уже десять. Я прожорлив и вечно страдаю от голода. Бананы. Колбаска. Пельмени. За книги теперь платят только покупатели, и как дорого! Издатель автору – нет. Зачем? И даром отдаст. Пришла пора и нам отдать последнее. И мой профессор впервые продает свое мастерство, как папа Карло куртку. 4 декабря – на излете года – в коммерческом университете, молодом и мрачном, как бритоголовый охранник, открывается окошко кассы. Вот и зарплата ритора – 546 тысяч. Малек испанского тритона в зоомагазине на Арбате стоит 500. Я доволен. Счастлив? Нет, счастлив я редко бываю. Но рад. Выходит, что всего за месяц профессионального развития речи у нимфеток с золотыми волосами, ниспадающими до подола черного мини, милых бестий, владеющих только матом, да и то убогим, можно купить тысячу девяносто два живых и изысканно нежных пятнистых существа с золотыми глазами… Молчаливых, прекрасных…

Листок из блокнота с оторванной обложкой (2)

Убит последний житель деревни Норкино. На окраине Кировской области совершено преступление, которое на первый взгляд ничем не выделяется в сводке происшествий: двое молодых людей с целью завладения имуществом убили из ружья семидесятилетнего пенсионера. Но особый драматизм этому событию придает то обстоятельство, что убитый старый пасечник был единственным жителем деревни Норкино, история которой на этом трагически завершилась. Как сообщает корреспондент «Известий» Борис Бронштейн, жители некогда большого населенного пункта Норкино давно потихоньку перебирались кто в Центральную усадьбу хозяйства «Горелые поляны», а кто и в мир иной.

Поскольку у селян денег нет, администрация Дома культуры алтайского райцентра Ключи ввела за вход натуральную плату, сообщил ИТАР-ТАСС. Наиболее ходовым заменителем рублей стали куриные яйца. Стоимость одного яйца – 400 рублей, а один входной билет в кинотеатр стоит 800. Кинозалы не пустуют. Но на вопрос о дальнейшей судьбе собранных таким образом яиц ответ получить не удалось: инициаторы новшества сослались на коммерческую тайну.

В это же время…

Мне уже десять. Стрижи все кружат над куполами старой церкви, и я на даче. В березовой роще пятна солнца, где-то в высоте на тонких ветвях иволгу раскачивает налетающий теплый ветер, и птица зовет: июнь, июль… Иволга пьет лето, и оно переливом ручья журчит в певчем горле. Бегу домой и бросаюсь в траву у крыльца. На зеленой траве – как в атласных подушках дивана, льдинкой в линзах стакана резвится и тренькает лень, как мечты или мачты вздымаются свечи каштана, и полынною горечью дышит на ладан сирень…

Вот на крыльцо выходит мать – в одной руке чашка кофе, в другой – сигарета. Как всегда ранним утром. Как всегда… Голова высоко поднята и чуть откинута назад под тяжестью узла волос на затылке. Солнце останавливает ее на крыльце, она смотрит прямо на сверкающий диск, смотрит с вызовом, и тут я вижу: в глазах блестят слезы. Сигарета брошена, и пальцы касаются красного камня у горла. Мать плачет, не опуская головы. Пахнет сирень у крыльца, свежий кофе и сладковатый, резкий табак «Примы».

– Что ты, милая? Она не опускает головы. Но ответ еле слышен:

– Я боюсь, что не смогу вас всех прокормить.

И новая затяжка, глубокая. Так утопающий глотает воздух.

Запись в серой коленкоровой тетради (датируется началом уроков у профессора на Арбате – как видите, линейную хронологию иногда приходится нарушать, но это лишь способствует ясности, поверьте: здесь, именно здесь, время заходит на вираж, чтобы взвиться ввысь)

Чашка кофе перед выходом из дома – в переулок, потом на Плющиху. В снег. Пачка «Стюардесс» и коробок спичек в сумке, рядом с черной коленкоровой тетрадкой. Записи уроков древнегреческого языка. Первая запись – 9 октября 1979-го, вторник. Всегда по вторникам и пятницам. Там же, в черной тетрадке, – домашние задания – упражнения из учебника профессора Сергея Ивановича Соболевского. «Πυρός καί ὑδατος ὁ φίλος αναγκαιότερος»

– и мой перевод: «Огня и воды друг нужнее»… Черные чернила – немыслимо эти буквы писать шариковой ручкой.

На встречу с ним, укрытым в снегах Арбата, с русским Сократом в черной профессорской ермолке. То мы, аспиранты. А то он – Профессор. Философ. Знаток, конессер. И веселый, веселый ребенок – гигантское дитя девятнадцатого столетия, титан времени во времена ушедших титанов.

Снег сеется с неба, снег – само небо, вся Москва в снегу и под снегом. Еле тянется синий троллейбус: вон далеко за мостом чуть обозначились сквозь белую пелену черточки черных усов, вот переполз Смоленскую и, кажется, еле втиснулся в проем между Смоленским гастрономом и горным колоссом МИДа. Я посчитала как-то: за взрослую жизнь, с пятнадцати до двадцати восьми, в этом гастрономе я провела два с половиной года. Чистого времени. В очереди за суповым набором, картошкой в коричневом бумажном пакете, за хлебом.

А сейчас, свободная и легкая, пешком иду на Арбат, обгоняя троллейбус и повторяя сигматические и гласные основы. Сгущаются, синея, сумерки. Вот занесенный снегом поворот,

переулок, двор. Вот высокая дверь подъезда. Внутри полумрак, и серые кошки тьмы скрываются в тенях перил и ступеней.

Но лампа над круглым столом, но некогда пламенных роз лепестки, иссохшие в чашах и вазах, но желтый арбатский свет – как лимон в душистом красном чае, и этот тайный язык благодатного древнего солнца…

Это солнце и мудрость любви. Эта лестница смыслов любовных. Для нее, и за ней, и по ней прихожу я сюда, в переулок.

Вот они, эти ступени. Уже открываются взору.

Но сначала профессор проверяет перевод. Чтение, перевод, комментарий. С первой заданной фразы. Начнем.

Черная коленкоровая тетрадь Урок 7

Чья это большая собака?

Будучи смертными, не будьте гордыми.

Сколь велика наша страна в ширину и в длину?

Поле несет столь многие цветы.

Мы имеем такие великие надежды.

Более доверяйте вашим собственным глазам, чем чужим словам.

Мудрому человеку не должно подчиняться страданиям, но сопротивляться.

Он совершает свой путь и за пределы холодного моря при бурном ветре, странствует (зачеркнуто), стремится (зачеркнуто), устремляется в путь под вздутыми(зачеркнуто) вздымающимися рокочущими (зачеркнуто) глубинно-гулкими волнами.

Если ты будешь трудолюбив, то будешь богат.

Говорят, Атлант несет на плечах небо.

Что ж, теперь главное. Профессор объясняет.

Тема: *Разновидности любви. Виды Эроса-стремления.*

(всего семь, или я ошиблась?)

Ступени любви ведут нас ввысь, к беспечальному и бессмертному небу. Небо выжжено зноем страсти, побелело от ее напряжения. Так белеют сквозь загар косточки смуглой от солнца руки, сжатой в попытке удержать. Сохранить то, что уже ускользнуло.

Вот мы на первой ступени. Это **потос,** **πο****θ**ός – томление по тому, кто вот только был рядом. Чьи поцелуи трепещут еще на губах, словно бабочка, Икар-голубянка, припала напиться их влагой. С кем расставшись на миг, отираешь сладкие слезы. Но он удаляется и исчезает где-то в расплавленном небе. Знаешь, что уж не вернется, но тянешься ввысь, как только можешь, всем телом, а небо все дальше и дальше. Дух бестелесный один способен взнестись по дорогам ветров в поднебесье. Он и взмывает, стремясь за любимым, как сокол за ласточкой легкой, невидимой, неуловимой.

Вот и вторая ступень – **химерос,** **χνμ**ερός . Ветра свист в оперенье, порыв за недостижимым и упоенье погоней. Дух пообвыкся в высотах, спокойнее стали движенья. Вот он парит в восходящих теплых потоках, и нет уж тоски и тревоги. Радость лучом золотым просветляет все чаще и глубже. Вот просияло тонкое тело души, лишенное тяжести темной.

Третья ступень – уж не томление в рабстве страдающей плоти, но притяжение духа к прекрасному тайному смыслу. Это **филия,** **φιλία** – преданность знанию, нежная страстная дружба.

Четвертая ступень. Но манят и манят пространства – что-то иное в них скрыто. Сверху, как прежде, лучится солнце звездой недоступной. И порождает смиренье. Так проясняется духу предел высоты совершенства. Тут, преклоняя колена, мы чтим непостижные дали. И, ослепленный сияньем древнего горнего смысла, дух поднимается выше, к четвертой ступени, к **сторгэ, στοργη** – восхищенной любови.

Пятая ступень. Так и парит в поднебесье наш дух, напряженьем своим сыскав наконец эту волю. Шире и шире кружа, все свободней и выше взмывает. Только теперь нам в любви открывается слава родного. Золотом чистых лучей просветляются лики ушедших. Чтим наших предков свершенья и помыслов их благородство. Если мы в лицах друзей прозреваем черты дорогие тех, кого с нами уж нет, то достигли мы пятой ступени – чувства сродства. Родное – высокое чувство, счастье потомка пред доблестью предков, и имя любви – **филосторго, φιλοστόργω.**

Шестая ступень. Сканая нить золотая, утончаясь, становится крепче. Дух и в свободном паренье не отрешается связи, и одиночества холод в царстве любви невозможен. Но, поднимаясь все выше, взыскуем мы чистой награды. Так, забывая себя, дух взмывает к высоким пределам. И уже только для них, для любимых, мы дышим и любим. Долг – вот любви ипостась, луч золотой, что связует нас в белой лазури, близко от самого солнца. Долг и любовь-уваженье – прекрасное чувство **агапэ, αγάπη** . Это шестая ступень.

Седьмая ступень. Казалось бы, мы на вершине. Но внезапно горячим потоком хлынули слезы, и золото солнца уж не единым лучом, а потоком щедрым любви согревает и нежит. Плавится сердце, с духом слиянно в блаженстве последнем. О, благодатное небо! О, щедрые, мудрые боги! Жалость-любовь просияла – всех выше, светлей и нежнее. Милость – любовь, **элеос,** ελεός , – и мы на седьмой, последней ступени лестницы смыслов.

Продолжение записи в серой тетради

Вечерний урок прекратился. Профессор с трудом встал, опираясь крупной рукой о край круглого стола, выпрямился во весь свой могучий рост, коснулся дужки очков над незрячими всевидящими глазами, над орлиным носом донского казака, поправил черный диск атласной ермолки и, улыбаясь, произнес традиционное приветствие: «Ο φίλοι! Χαίρετε!» – «О друзья! Радуйтесь!» Мы, благодаря и тоже улыбаясь, но почему-то смущенно, и оборачиваясь, почему-то виновато, вереницей, чуть не на цыпочках, вышли в коридор арбатской квартиры.

С темной лестничной клетки, из-под одинокой тусклой лампочки, дымок с облегчением закуренной сигареты из пачки «Стюардесс» изгнал запах кошек. Дверь отворилась не сразу – под ней успел вырасти белый валик. В лицо ветер из переулка бросил пригоршню мелкого колючего снега, и я вывернула на Арбат, под фонари Вахтанговского театра.

Да, я на первой ступени. Который год уже. Томительная, сладкая, телесная паутина. Оказывается, это всего лишь потос, ποθός, какой-то ποθός, а я-то думала, иной любви и не бывает. Всегда во тьме кошачьего подъезда, кошачьей лестницы, во мраке арбатских переулков.

Снег летит в лицо мелкими уколами, а вспоминаются весенние капели. Иду – напудренная Ева – я от Арбатской до Сенной. Бродячих кошек королева, я по ночам не сплю весной. Как капли с крыши, как машинки усталой клавиш перестук – так четко узкие ботинки с носка ступают на каблук. Как звонко эхо отдается под арками пустых дворов… Пора найти мне стол и кров, но спать сегодня не придется…

Да, вот так. Или примерно так. Нет, пора думать иначе. Пора вообще начинать думать. Нет, не начинать пора – начинать поздно. Пора думать, и думать серьезно, так, чтобы это было достойно – ну, хоть не Учителя, но меня, меня самой. Меня, сидящей за круглым столом, всегда рядом с Профессором, одесную. Он сам выбрал место, сам усадил рядом… Рядом… Ах, тут нужно признание.

Что ж, пусть. Это о коленке. Точнее, о моей левой коленке. Обтянутой то плисовыми джинсами, то суконной клетчатой юбкой.

(На этом записи в начале тетради обрываются.)

Заметка в конце серой тетради (в ней исписана первая треть, остальные листы пустые, кроме последних. непонятно, какая из описанных разновидностей любви побудила мою мать спустя четверть века вернуться под серый коленкор, не воспользовавшись компьютером)

Обретение Логоса

Мой единственный Учитель, мой Наставник, мой Профессор давно покоится под сенью тревожных кленов на Ваганькове – там, в глубине зеленого островка, занесенного пылью обтекающих его дорог. Я помню, как протискивалась между могильных оградок следом за батюшкой, в облаках сирени и курящегося ладана, и солнечные пятна скользили с одного лица на другое, и туманились ладаном столбы света под кленовой листвой в этот майский, уже по-летнему жаркий день. И сейчас, когда нам с ней – мне и коленке – уже полвека, рука моя все еще тянется к ней – и охватывает ее узкую, тонкую чашечку точно так, как это делала некогда теплая сухая длань Профессора, этого арбатского Сократа – под столом, под скатертью. Что-то в ней было, в этой коленной чашечке, было и есть. То, что придавало ему сил, и веселья, и жизни. От чего румянились его желтоватые пергаментные щеки, а голос звучал по-юношески, почти звонко. Я принимала и понимала это прикосновение. Жаль, что мудрость не перетекла ко мне посредством коленки – нет, ни унции. Или чем еще ее можно измерить? Каратами? И все же что-то резко, внезапно переменилось. В одну из пятниц, белым снежным днем. Я готовилась тогда к вечернему уроку и с тоскою, впопыхах попытавшись осилить грамматику, приступила, торопясь, к переводу.

Это случилось над фразой о гаданиях авгуров. Страница учебника Соболевского, желтовато-шершавая, перелистнулась с мягким шорохом и открылась на заданном предложении: «Предзнаменования авгуров веры достойны». Тут я это и почувствовала. Совершенно новое ощущение. Будто человек учился на велосипеде, путался в педалях, вцеплялся в руль,

падал, ушибался, падал, и вдруг – свобода, полет, победа! Еду!

Это было как взгляд с вершины. С горы, казавшейся неприступной твердыней. Внизу простирались долины, извивами текли мыслительные реки, и воздух, прозрачный, холодный, кристальный воздух высокогорья иглами проникал в самый мозг. Я смотрела на белую страницу черной коленкоровой тетради, покрытую слабыми линиями голубых клеток, на черные буквы древнего письма, в немыслимой своей красоте открывшиеся моим глазам, прежде незрячим, и думала:

«Что гадать по птичьему полету? Что гадать по свисту ветра в перьях? Горделив орлиный страстный клекот, и в зеницах каменных неверье… Каждый сам судьбу свою подъемлет на крыло, столкнув сначала в пропасть. Не вернуть ее с небес на землю, не узнать на каменистых тропах…»

Так это случилось впервые. А вскоре я уже предвкушала приход мысли, как раньше – сигарету и чашку кофе. Мыслительные схемы, узоры и картины волновали до озноба и жара. Наконец напряжение разума стало закономерно сменяться покоем созерцания. «Удовольствие сильнее, чем оргазм», – теперь я вполне понимала эту загадочную, невероятную фразу арбатского Учителя. Раньше я считала ее шуткой.

Запись из начальной части серой тетради

А сегодня я иду навстречу метельному ветру, подставляю лицо колючим снежинкам, и вот – счастлива. Чего желать? Ко всему, у меня есть еще и шуба. Да, новая шуба из мехового магазина в Столешниковом. Странная, необычная, фантастическая одежда. Как, кому пришло в голову сшить ее из шкуры пятнистого оленя – оленя-цветка? Что заставило меня, поглощенную новыми своими открытиями и занятиями – начертаниями черных древних письмен и скрытой в них мудростью, – возжелать вдруг такой светской, такой мирской и даже мещанской вещи, притом полярно далекой от солнца Эллады, как шуба? И это меня, всю раннюю молодость прожившую на живую нитку? Что привело в Столешников тем именно утром, когда вторая моя кожа, моя собственная подлинная одежда – ждала меня в магазине на вешалке, в обыденном дневном свете предзимья, в облике мехового манто – рыжего с белыми мазками, как пятна света на сухой траве?

И время очень скоро показало: предсказания авгуров веры достойны. Древние, как всегда, оказались правы. Авгуром была я сама – в ту зиму я пристально следила полеты воронов над высоткой МИДа, и что-то, казалось, огромные черные птицы говорили и мне, когда парой летели, гортанно переговариваясь в поднебесье, на северо-северо-запад, к высотке на площади Восстания.

Мне было тогда почти тридцать.

Комментарий биографа

Черный вечер, в котором, летя сквозь снежный ток по узкой трубе Арбата, навстречу северо-западному ветру, моя тридцатилетняя мать только чуть нагибала голову, пока легкие ноги несли ее к высотке на Смоленской, а потом – на Плющиху и по занесенному снегом переулку к дому на бугре над Москвой-рекой – несли так же сторожко и горделиво, как пятнистого оленя Cervus nippon по Уссурийской тайге, – этот декабрьский московский вечер упал наконец в ночь.

Коленкоровая тетрадь с перечнем разновидностей любви покоилась на столе у окна, задернутого снежной пеленой, через которую на стол, на тетрадь и на молчащий телефон падал рассеянный, неживой свет фонаря. Говорят, в те времена московские фонари были мертвенными, молочно-голубыми, как пустые холодильные прилавки гастрономов. А не желто-розовыми, не горячечно-воспаленными, как теперь.

Она еще курила в кухне, стоя у окна над мостом, глядя, как несется под фонарем снег, такой сухой и колкий, что пятнистый олений мех, атласно-гладкий, как лепесток невиданного цветка, совсем не намок. Узкое тело шубы с устало опущенными плечами неподвижно замерло в темноте коридора.

Оленья парка над диваном издавала чуть различимый терпкий запах. Ненецкую одежду носила в двадцатые годы бабушка матери, а моя прабабка, сопровождая прадеда в научных скитаниях по тундре. Когда-то из сохранившихся участков шкуры был собран узорчатый серо-коричневый ковер. Тонкая кожа важенки местами просвечивала сквозь мех.

Сон, словно ладья Харона, уже понес было мать через черную реку, как во тьме серыми предрассветными лучами вдруг высветились туманные пути, будто просеки в густом старом ельнике. Легко, свободно, странной своей походкой, по которой и сейчас я могу узнать ее издалека в любой толпе, – тонкие ступни ставятся точно друг за другом, носки прямо, след на снегу ровной ниткой, как у дикого зверя, – она двинулась по одной из этих дорог во мраке. Как она выбрала? Почему? Да и выбирала ли?

В ту же ночь мой отец – тогда еще будущий – рыскал на пустырях к северо-западу от горного массива МГУ за любимой собачьей стаей. Вершина пика знаний скрывалась в снежной туче, крепостные стены и форпосты смутно чернели, подсвеченные кое-где особыми, только в университете да в зоопарке уцелевшими фонарями, – будто в громадную грушу налит молочный свет. Стая перемещалась по привычному маршруту, обследовала места

кормежек и ключевые узлы сигнального поля и вышла наконец на свои рубежи. Пограничники враждебной группы, подняв тревогу, выдвинулись навстречу. Назревал позиционный конфликт – всего лишь один из эпизодов долгосрочной территориальной войны. Батарейки магнитофона садились, ветер задувал в микрофон.

Сейчас этот магнитофон – продукт знаменитой датской фирмы Uher – никому и в голову не пришло бы назвать портативным. Весит килограммов пять, но по-прежнему занимает место в шкафу, как старый боевой друг и свидетель страстной поры улетающей жизни. Напомню: тогда и компьютеров не было, а вот страстные формы бытия были, и были они вполне обычны. Для всех – и старых, и – вот странно – для молодых. В наши же дни, в Эпоху перемен, если и встретишься с тем, что названо в толковом словаре словом «страсть», так не иначе как в поколении родителей. Этих глубоких стариков, чьи дни не то что наперечет – что там, уже миновали. Но страсть все живет среди них – «увлечение, пыл, взрыв чувств, сильное душевное волнение»… И бесстрашно открывают они глаза навстречу утру. Живут. Кто страстью per se, как она есть, – подумать только! – а кто – воспоминанием о ней. Даже воспоминания, одного только воспоминания – и то хватает, чтобы отогнать самый призрак смерти.

В ту ночь мой отец вернулся домой необычно рано: метель замела и утишила собачьи страсти. Противники, полаяв на рубежах своих владений довольно вяло, скоро разошлись на места дневок.

Бережно вытерев черный кожаный футляр магнитофона от снега, отец лег под окном на полу, постелив себе прямо на старом протертом ковре, привезенном его дедом (моим прадедом) из противочумной экспедиции в пески Туркестана. Желтоватый монотонный, но нервный узор восточного ковра на фоне цвета запекшейся крови – темном, ночью почти черном. Запах пыли и шерсти, запах Азии. Молочный свет фонаря за окном подсинивал простыню, очерчивал резные ножки дубового стола и огромное тело буфета.

Под закрытые веки отца – моего ровесника тогда – влилась ночная тьма, затопила все, поглотила. Но вот через мгновение, после падения в отвесный колодец с черными глыбами выступов страшных глухих стен, где-то вдалеке забрезжил слабый молочный свет. Пятно фонаря на прямом луче бесконечной серо-туманной улицы. Под ним, на другой стороне дороги – остановка. Пустынно, тихо, снег все метет.

И вдруг, внезапно – движение. Легкая тень или неясный свет? Тихо, сторожко, высоко подняв голову на стройной шее, к

остановке – той остановке 119 автобуса, что напротив Клубной части Главного здания МГУ, – из темноты выходит олень. Небольшой пятнистый олень, олень-цветок, Cervus nippon. Да, без сомненья – глянцевый, как лепесток орхидеи, рыжий атласный мех, черный ремень по спине и весь – в белых мазках легкой кисти, в снежных пятнах метели…

Отец проснулся от толчка страха: скоро рассвет, а с ним и машины. Олень погибнет.

Но фонарь по-прежнему освещал угол ковра с монотонным туркменским узором, ножки стола, буфет… Остро скрещивались в прозрачном луче блики граней хрустальной вазы. Ночь уводила в другие сны.

Они встретились назавтра, серым вечером. Встретились, чтобы стать моими родителями. Так же летел в лицо мелкий колючий снег. Каждый – и он, и она – стоял еще на пороге своего ночного мира, будто на пороге дома, всматриваясь в даль уводящей к свету дороги.

Встреча произошла на банкете после защиты диссертации про поведение мышей. Мыши вели себя прекрасно, и праздник в доме нового кандидата биологических наук – Леночки Кошечкиной, подруги матери – был бесшабашным, многолюдным и веселым, как все сборища ученых до Эпохи мутаций.

Причина всех этих событий мне очевидна. Просто я очень хотел родиться. Это желание было столь страстным, что любовь повелительно на этих двоих указала: вот ты и ты, а ну-ка, сюда! Да поживее! Напрасно он так вздрогнул, когда пошли одеваться и среди сваленных в другой комнате пальто мелькнул рыжий мех в белых снежных мазках – ее шуба. Напрасно и она так удивленно всматривалась в его глаза, прижав руку к амулету на шее. Все было решено заранее и не ими. Нет, не ими.

Это стало первым Парафразисом – иносказанием, истолкованием – в моей еще не начавшейся, но тогда неизбежной уже жизни. Да, есть что-то такое в этом Cervus nippon – пятнистом, как атласная орхидея, цветке-олене. Что-то ясное, проясняющее, как сама красота. Читал я и Пришвина, его чудесный «Женьшень». Ведь там совершенно то же. Только любовь распорядилась иначе. А почему? Почему, в самом деле? Я вот знаю. Там, в зарослях лимонника, где скрывался писатель, готовый схватить оленя за копытца, так же текла темная река времени. Но с другого ее берега Любовь никто не заклинал. Или она не откликнулась?

А вот с другой стороны ночной дороги, там, где остановка автобуса у МГУ, кто-то молил. Уповал на всевластье богини. Это я, еще не рожденный, во тьме прозябающий дух, нестерпимо

желал воплощенья. И такова была сила этого желания, что она, сама Любовь, не просто снизошла – поспешила на помощь: неистово, окрыленно, мгновенно.

Так я появился на свет вместе с Эпохой мутаций. Вдруг это не простое совпадение? Вдруг тут действовало нечто причинно-следственное? Страшно подумать!

Так или иначе, в этой Эпохе перемен – эпохе обменов и мены – Парафразис стал принципом жизни. Моей, вашей, всеобщей. Как это принято называть, социальной. Парафразис как истолкование произвольное, даже обратное истине.

Да, путаница, подмена, замена… Но, несмотря на все это, я стараюсь – у воина от таких усилий кровь выступает из-под ногтей, а я, человек Эпохи перемен, только бледнею – о, как я стараюсь выпутаться из паутины, разорвать сети…

Сейчас – чтобы исполнить свой последний долг. Разобраться во всем и описать то, что завещано. Но тогда, тогда… С начала Эпохи мутаций и до исчезновения матери…

И тогда было у меня одно главное, не решенное и не разрешенное дело. Миссия. Долг, наконец. Нет, вы не поняли, как это было важно.

Запись в дневнике биографа (вечер, биофак мгу, даты нет, по-видимому, я был тогда аспирантом)

Дел у меня – как у всех – невпроворот. Множество больших и малых, из них ежедневно сеть и плетется. Но есть одно – особое. Настанет ли ему срок наконец? И когда? И как мне его разрешить? Как говорил Принц Датский, «That is the question» [12] … Ну, посмотрим…

Время и пространство этого рассуждения, этой спасительной хрии, так и рассчитано древними, чтобы в конце привести любую проблему к решению, вывести вопрошающего на свет истины, как путника к солнечному пятну в конце лабиринта. Сеть, лабиринт Минотавра, – вам меня не удержать.

Qui pro quo – «кто вместо кого»… Ах, эта звенящая медь латыни, звуки, впитавшие жар италийского полдня! Звоны щитов, глас торжествующей силы! Счастье, если дадут мне курс прочитать для студентов… Но прочь, мечтанья пустые…

Qui pro quo – это недоразумение, но отнюдь не обычная путаница. В нем смысл и цель, главное же – подстановка: ценностей, лиц и понятий. Попытаюсь описать этот феномен.

КОМЕДИЯ ОШИБОК

Утром включаю телевизор. Пока ищу «Euronews», мне говорят: «А программа «Сотка» защитит ваше загробное хозяйство». Нет, загородное, конечно, загородное! Но продолжает ведущий: «А Валя-то как поживает?» Мне уж понятен ответ: «Курс евро продолжит расти, курс доллара – заметно опускаться». Ну, не «Валя-то» – ясно, валюта.

И все-таки нужен завтрак. Здоровье нынче дорого. Нет, дорого – не то слово. В Эпоху мутаций это выражение полностью устарело. Верно иное: заболел – и крышка. Нужно купить что-нибудь съестное по дороге на фак. Био, конечно. По пути на биофак, в недра серого сфинкса, в надежнейшее укрытие и последнюю, быть может, цитадель природы.

Да и в самом деле: кто, взглянув на расписную перепелку, согласится целый день сидеть в конторе? Для кого трудится неустанно живописец над узором для фазана? А вы? Задавали себе когда-нибудь эти вопросы?

Иду, понятно, пешком: об автомобилях я тоже уж говорил. Они стоят, в них сидят. Выходят – и в метро. Но я ученый, а значит – свободный художник, и по статусу мне не обязательно

быть атрибутом имиджевой телеги. Тачки моего имиджа. Потому без всякой предварительной отсидки сразу переставляю ноги – бодро, но неторопливо. Вот они, ходят пока. Смотрю на них вниз – длинны, стройны. На трещины в асфальте не наступаю – ведь с детства поверил, что это едва сомкнутые края готовой разверзнуться бездны.

В лавчонке темно. Читаю на упаковке: «ДУШКА ЦЫПЛЕНКА СВЕЖЕЗАМОРОЖЕННАЯ». За стойкой с душами цыплят, высоко на полке вижу конфеты: «ЧУДОВИЩНЫЙ ВЕЧЕР».

Нет, лучше консервы: с ними проще. Купить банку-другую, вскрыть в чистоте прохладной своей кельи, за гранитными стенами науки – что может быть совершенней? Лукулловы пиршества меркнут в сравнении с трапезой этой. Ну-ка, посмотрим названья.

А это еще что такое? «У ЩЕНКА». Годится ли это на завтрак? Вряд ли: всмотреться получше – так это просто сгущенка.

На кафедре тихо, темно и пусто. Навстречу по коридору катится, как мышь, мой коллега.

– Куда летишь?

– В «Арбат-Престиж».

– Нет, ну серьезно?

– Справку по кафедре готовлю.

– Что за справку?

– Для ЛИКВИДИРОВАНИЯ.

– А что, разве пора уже?

– Тьфу, черт. Для лицензирования. Лицензирование у нас. Не знаешь, что ли?

– Забыл совсем. Знаю, ректору орден дали. Забыл, какой.

– Ну, ты даешь! Забыл! «ЗА ВЫРОЖДЕНИЕ РОССИИ». Какой-то степени.

По пути к моей заветной двери встретился также факультетский слесарь. Что ж, лето – пора ремонтов.

– Здорово! – и слышу в ответ:

– Много, очень много ПОРЫВОВ в лопнувших батареях!

Ну, вот и работа на сегодня позади. Июль, осы и розы. Осталось последнее: встретиться с греческим предпринимателем. О нем я знаю: любит и держит догов-арлекинов (размером с дом, смотрел на сайте фотографии и догов, и домов). Производит стиральный порошок. Но больше всего на свете – больше догов, домов и стирального порошка – он, этот новый Одиссей хитроумный, этот наследник афинян, любит тритонов. Что ж, не подвела его мудрость предков, направила, разогрела кровь! Может, удастся оттопырить энную сумму на экспедицию. Экспедиция сложная – в Иран…

Не забыть только взглянуть на его карточку – прошлый раз я плохо разобрал, но с именем ошибаться нельзя. Судорожно шарю по карманам, в компьютерной сумке. Да, вот и визитка: АХИС СУХОДЖОПУЛОС.

Еще утро, уже суббота, пора на дачу. У парикмахерского салона «DEADWAY» [13] и ресторана «ЭРОГЕННЫЙ» пересечь Смоленскую площадь. Красный свет. Как долго ждать! Какую бы завести собаку? Борзую – Красотку, Барышню, может быть, Цару, или даже Решку (если с Орлом) – или надежного, горячего охотника-терьера? Все-таки защитник. И какие брызги полетят, пока я в весенних лужах ловлю тритонов!

Дождался, наконец. Зеленый. А вот и вывеска прямо напротив: «ТЕРЬЕРЫ ЭКСТРА-КЛАССА». Странно: целый магазин, весь в темном стекле, а буквы – белым по черному, как на газетном врезе. Но первый же шаг на мостовую сдвигает с линии моего взгляда фонарный столб, и я читаю: «ИНТЕРЬЕРЫ ЭКСТРА-КЛАССА». Какая жалость. Войти бы за темные стекла, а внутри полно терьеров, и все – экстра-класса. Только выбирай друга на остаток жизни. Рыжего ирландского – на зеленом поле, пегого фокса – у норы с лисицей в зубах, драгоценного платиново-золотого йорка – под мышкой в авто. Но нет. Нет ведь!

Мимо, мимо! И рекламный щит предо мной. «НОГИ – ЭТО ВАШЕ ЛИЦО». И правда. Совершенно согласен. Один из лучших Парафразисов за последние годы, пожалуй! Qui pro quo!

Вот и станция «Тушинская». Бегом к расписанию: вдруг уходит, уйдет… ушел – мой! Читаю: «УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ! ПО ПСИХИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ РАСПИСАНИЕ ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ ИЗМЕНЯЕТСЯ!» По поэтическим? По техническим? Не важно, главное – изменяется. Значит – уже изменилось, а как – неизвестно. Что ж, пройдусь пока, подожду.

На лотках-прилавках раскинуты кофточки и шали. Шали называются «палантины». Вот палевая, вот красная, а вот белая в крупных черных пятнах. Одно пятно шевельнулось? Не может быть. Да, что-то движется. Это черная кошечка, почти еще котенок, чуть повернула голову и расправила хвост. Какая милая! Но ведь ее нет, это только рисунок – рисунок на ткани. Снова шевельнулась. Появилась черная лапка, очень худенькая. Ветер дует. Июль – а все высохло, будто уже осень, и листья – желтые мыши – скользят по асфальту.

Поезд тронулся, свистнул – и вдаль, встречь же – рекламные тексты. Мимо – оградки погоста, над ними щит: «ВСЕ ДЛЯ ДОМА».

Вот и милый перрон, вот и старая церковь. Ангелы на белой стене тихо смотрят друг на друга: поглощенно, недвижно. Вьются

вкруг них стрижи – новый выводок на вечернем ученье готовится к отлету. Режут крыльями воздух, криками – слух. Кто они, порожденья эфира – затерявшиеся мысли? Недолетевшие эсэмэски?

Зачем я здесь? Отворить покосившуюся калитку, скрипнуть дверью родного дачного дома? Вдохнуть печальный запах давно отлетевшего счастья – иссохшего дерева, керосина, пожелтевших фотографий? Выпить чаю за столом – одному, в кругу милых призраков? Красноватый напиток обжигает губы, и звенит, ударяясь о тонкое стекло стакана, неровно сточенный край серебряной ложечки, подаренной мне «на зубок» кем-то из них – далеко, далеко ушедших…

Пора. Пустой перрон, сумерки. Скоро, скоро август. Корона года, любимый мой месяц. Фейерверк обезумевших звезд, горький ветер, свисток электрички. Холод листьев и брошенных гнезд, огонек догорающей спички…

Москва, метро, подъезд. Пока поворачиваю ключ, боковым взглядом замечаю какое-то движение внизу, на фоне светлой стены у лифта. Хорошо бы кошка! Вот она, крупная, круглоголовая, едва высунулась из-за лифта. Кошка. Живая. Наверно, голодная. Кис… Нет, тень нежива и недвижна. Так покрасили стену внизу, над полом – темная полоса и нечаянное пятно в форме кошачьей головы – у лифта. Вхожу в черноту пустой квартиры и запираю за собой дверь на два оборота.

И ложусь один в темноте, и вспоминаю весь день, и снова видится мне греческий предприниматель Ахис, и вспоминаю я, как учил меня мой профессор, переводя и повторяя со мной по записям слова арбатского мудреца – бесхитростно, но с любовью невыразимой, бесконечной, трепещущей, словно море…

Запись в черной коленкоровой тетради с лекциями профессора Урок 11

«Он совершал свой путь и за пределы холодного моря при бурном ветре»…

бурный – χειμέριος – зимний, холодный – хеймериос (χειμ– сравни русский корень «зим»-зима)…

А какие еще ветры дули в Элладе? Ну, это все, конечно, знают: Борей – северный.

Зефир – мягкий ветерок, нежный, приятный…

Но ведь был еще и νότος– нотос, странный ветер – южный, однако холодный…

Как же звучало там море? как пели волны? а вот как: глубинно-гулко – волны глубинно-гулкие – περιβρύχιος! заметь: первая часть слова – пери – περι – значит «большое окружение», здесь – широкие дали. А вот вторая часть – брюхиос – βρύχιος – это глубинный и вместе с тем – гулкий. Гулко поющая глубина и безбрежный простор вокруг – и все в одном слове! Вот греки! Вот божественный Логос!

Комментарий биографа

Именно так, с глубинно-гулкой любовью, и прожила свою долгую жизнь моя мать, мой профессор. И так живу теперь я, и все, кого божественный Логос коснулся – отзвуком гула щита, отголоском меди звенящей, отблеском пламени солнца.

Было там, в ее записях, и еще одно слово. Главное, пожалуй. Точнее, связующее – сопрягающее Любовь и Логос. Их сумма и результат, их единенная сила. Вот это слово: ***Стремленье*** (я прочел: «περάω» – ***стремлюсь*** , и «περων» – ***стремясь неустанно***).

А может, это для меня, только для меня оно главное?

Часть 3 Причины и следствия (Causae et Sequentiae)

Предисловие биографа (о себе, да, снова о себе)

Первые воспоминания? Первые пятна солнца на зеленом лугу моего разума? На летней благоуханной траве моего детства? Что там, в этих ярчайших отпечатках бытия на радужной пленке сознания? Может быть, только среди них и удастся мне отыскать причины настоящих и грядущих событий? Поступков? Слов? Рождений?

Безбурный образ только один, и действительно первый. Он так отчетлив, что я твердо знаю, сквозь крону какого дерева солнце послало свои лучи навстречу моим бессмысленно открытым глазам, чтоб отверзлись они и узрели мир во всем благодатном сиянии майского утра. Это столетний тополь-осокорь, один из тех, кого больше нет на земле. Не успев вполне развернуть светлые листья, великан уж зацвел, и пурпурное облако нежных сережек, пронизанное утренним золотом, закрывало от меня небесную лазурь, и ласковое светило казалось розовым.

Голова моя была запрокинута, лучи ложились на лицо и согревали щеки и лоб, как материнские ладони. Опуская глаза, я видел титанический ствол в глубоких морщинах выбеленной годами коры и гигантские серые ступени, расходящиеся веером вверх. Без сомненья, это старый зоопарк, а в нем – то самое место у узкого пруда с черной водой, по которой сновали пестрые утки, легко опрокидываясь хвостом вверх, словно поплавки, и наполовину проникая внутрь, в зазеркалье. Дерево росло у лестницы к слоновнику со времен основания зоопарка. Ступени сделали такими широкими, чтобы легко наступала серая слоновья нога, морщинистая, как ствол тополя, и такими низкими, чтобы слоны не пугались перемен. Плавность – принцип слоновьего бытия, как и вообще бытия значительного.

Других запечатленных картин немного. Впрочем, так и должно быть. Материя моего детства – борьба. Проста, как смерть, и трудна, как жизнь. Борьба за жизнь.

Вот узор коврика в коридоре, у самой входной двери. Коричневые и желтые веночки на сером ворсе. Отпечаток на пленке сознания по-прежнему ярок. Еще бы! Ведь узор прямо перед глазами – то ближе, то дальше, и пляшет. Это потому, что я вижу его сверху: голова моя прямо над ковриком, а ноги где-то вверху. За них меня держит отец – держит крепко и время от времени встряхивает. Наказывает, за что – не помню. Я ору. У

самого моего лица вьется наш рыжий такс, рыча, как лев, в попытках оскаленными зубами зацепить отцовскую ногу. Блестят белые клыки, и вдруг из ощеренной пасти показывается розовый язык и тепло, торопливо лижет меня в нос, в глаз, в щеки. Милый, благородный Карлуша! Храбрый мой маленький защитник! И тебя давно уже нет на земле.

А вот коробочка. Невелика. Тонкий картон, на нем странные рисунки. Маленькие чудовища. Образы из моих снов. Я открываю, пальцы еще непослушны. Приходится долго возиться. И вдруг – на колени, на пол, в руки – целый мир фантазмов. Головы – но какие! Гребнистые, шипастые, клыкастые, змеиноглазые… Тела – но бронированные, панцирно-неприступные, бугорчато-жесткие. Хвосты – но ведь это мечи, копья, трезубцы, палицы… Динозавры, – звучит голос матери. – Заурус – значит по-гречески ящер, дино – это тоже греческий корень – ужас. Что получается? Да, ужасный ящер. Как, нравится? – И они, чудовища снов, все они у меня в руках! Наяву, крохотные и прекрасные в своем воинственном безобразии – отлитая в зримых формах идея борьбы. Борьбы до последнего – зуба, вздоха, вздрога, судороги. Да. Нравится. С ними я чувствую: вооружен, как они, и, как они, готов. И если некоторые похожи бугорчатой округлостью на апельсин, то душа у них – словно косточки внутри апельсина.

Последнее. Живое стекло воды у ног, будто линза, полная жизни. Весна, над головой облачка солнечной пыльцы вербы, у края лужи, среди бесцветных сухих стеблей, россыпь золотых монет мать-и-мачехи. Вода прозрачна и просвечена солнцем до самого неглубокого дна, устланного залитой прошлогодней травой. По пленке линзы скользят черные кометы водомерок. Вдруг нитью серебряных бус взлетают со дна пузырьки. Чье-то прекрасное тело темной изгибистой тенью неторопливо устремляется навстречу моему взгляду. Мы смотрим друг на друга, разделенные водным стеклом. Золотые глаза – из воды, снизу, зелено-карие мои – из воздуха, сверху. Зеркало? Тритон, эллинский водный бог, – и я, дитя Эпохи мутаций. Но вот изящным движеньем туловища и хвоста он прерывает созерцание, и я остаюсь в одиночестве. Не сводя глаз с воды, я взглядом разыскиваю его в толще, на дне – нет, безуспешно. Исчез. Но жадная личинка стрекозы, хищно захлопнув капкан своей челюсти-маски, пожирает что-то стеклянистое, нежное, беззащитное. Это что-то всего миг назад было кем-то. Я отворачиваюсь.

Кто это сидит за столом перед открытой папкой из бурого картона? Всего четверть века назад был он мною. Да, приходится признать, что и теперь это я. Пожалуй, действительно я. Ведь это

я вглядываюсь в пожелтевшие за это время листы, слоями сложенные в папку, как всматривался некогда в бесконечные глубины придорожной лужицы… Так двадцать пять лет и минуло. Вот несколько вырванных из обложки листков ежедневника. Почерк матери. Как попали ко мне? Подобрал, когда она пыталась, как всегда, справиться с уборкой побыстрей и запихнуть побольше старых бумаг в полиэтиленовый мешок. Профессор собирала их по полу, сгребала, как опавшие листья, со сноровкой уличных рабочих в лужковских оранжевых жилетах, и мешок быстро наполнялся. Но оторванный от корешка фрагмент ежедневника выскользнул на пол. Она и не заметила. А я поднял. Зачем – не задумался. Сунул в свой стол. И вот, спустя годы и годы, читаю.

Листки, вырванные из ежедневника

6 октября 1998

Подозрение на сибирскую язву у А. [14] . Возможно, это и туляремия. Увеличение печени у Ники [15] . Заказала книг в Ленинке. НЕ ПИСАЛА. 2 % от стоимости квартиры по БТИ на день смерти завещателя [16] .

7 октября У Ники первый день нормальная температура с утра. У А. опухоль под челюстью. Была в Ленинке, большей части книг не получила. Какой-то ремонт, перевели в хранилище в Химки. НЕ ПИСАЛА.

8 октября У Ники температура с утра опять 37,1. До 37,3 днем. Он нарисовал тритона. И еще – Мону Лизу. Странно. Заканчиваю 1-ю часть книги. Завтра планирую доделать.

9 октября Закончила 1-ю часть книги. Работала до 5 утра. Опухоль под челюстью у А. увеличилась. С трудом глотает. Ники все так же.

10 октября А. чувствует себя плохо. Ники тоже, он слабый. 37,2. А. сдал анализы в «Гамалее». Врачи сказали, что это, наверное, мононуклеоз. Я делала домашние дела и не успела больше ничего.

13 октября Анализы показали, что туляремии нет. Значит, мононуклеоз. Похоже, у Ники то же, только без узлов и ангины, но на печени. Не успела написать тезисы.

14 октября, Покров День рожд. А. Ходили с ним в районную поликлинику, главврач говорит, что это скорее краснуха. Странно! С Ники пришлось идти в детскую, в Проточном переулке – туда, где я лечилась, когда мой родной дом еще стоял на набережной, где теперь СЭВ, то есть уже не СЭВ, а, кажется, Совмин. Обследовали голову: ведь за время короткой жизни у Ники три раза было сотрясение и один раз – ушиб мозга. Результат неплохой: все структуры в порядке, несколько нарушена только физиология: кровоток с сопротивлением в главной аорте. Катастрофа с рыбками: на обратном пути зашли с Ники в магазин «Мир аквариума» на Новинской и купили А. в подарок «вовсе не тех» и «слишком много». А. чуть не плакал от разочарования: «засорили аквариум»! А я так просто рыдала, так было обидно и так жалко А., больного.

15 октября Утром А. сдавал кровь, а я собирала вещи на дачу: отложенную одежду, посуду. Ники, обмотанного по пояснице пуховым платком под курткой, тоже посадили в новую машину Виты [17] . Рассмотрели ее номер: ВВВ и цифры. Доехали прекрасно, и как она водит! Какая это свобода – иметь машину!

Ходили к Вите на дачу и посмотрели диван, который она хочет нам отдать. Внутри, под обивкой, оказалось гнездо мышат, еще нежно-розовых, но в целом диван подходит. Но как его переправить к нам? Это придумать труднее, чем написать статью.

Очень важный день. Дальше нужно писать подробней

Вернувшись к нам на дачу после смотрин дивана с мышатами, мы с Витой, как всегда, сели за круглый стол под желтым абажуром с бахромой и стали пить водку. Ники, все еще в платке, был уложен за занавеской и после пары сосисок быстро затих. Вита должна была у нас ночевать: ее домик, купленный у какой-то старушки, древней обитательницы нашего поселка, был захламлен, плохо отапливался, то есть не вполне еще приспособился к новой хозяйке – состоятельной и лучезарной.

Включили телевизор.

«А теперь перенесемся с вами, дорогие телезрители, к подножью мистических Гималаев, – произнес благополучный, но будто все еще несытый голос ведущего, и тут же неряшливо изобразил придыхание счастья. – Ах, как много неизведанного откроется нам в этой волшебной стране йогов! Вот и они».

Камера скользнула по голубым далям и остановилась. Перед нами сидели и лежали люди в выцветших оранжевых тканях. За ними высились снежные пики.

– А! – вскрикнула Вита. – А! А!! Вот она! Смотри! Это же Антонина! Да!! Нет, ты смотри, смотри: вон она, вон сидит – крайняя слева!

Я вгляделась. Несомненно, это была она – бывшая хозяйка Витиного старого дачного домика, Антонина Тимофеевна, доктор медицинских наук, профессор. Давно ли она водила нас с Витой вкруг пруда у самой своей дачи, поясняя нам, не причастным к тайнам вселенной, какую пользу участку и хозяевам приносят отрицательные ионы прудовой воды. Руками она делала пассы, глаза ее, глубоко ушедшие в старческие сморщенные глазницы, по-ведьмински поблескивали, и мне была противна и она сама – хитрая старушенция в серых обносках, и ее неопрятная манера набивать цену своей собственности. Прудовая вода сладко пахла тиной. Очевидно, это и были отрицательные ионы. Но дача – участок в 12 соток и домик причудливой архитектуры подмосковного деревянного модерна – была у нее куплена.

С экрана безмятежно глядели прямо на нас и в вечность старческие глаза из глубоких глазниц, а помолодевшее лицо, разглаженное отрицательными ионами Гималаев, отрешенно отражало ультрафиолет. Оранжевые полосы реденькой ткани скрывали все остальное.

– Нет, ты смотри! Вот она как! – волновалась Вита. –

Оформление все на меня бросила, деньги получила – и блаженствует! А я? А кошка? А сын? Антонинин сын??

После исчезновения старушки-профессора на участке осталась кошка. Глаза ее, миндальные хризолиты, поблескивали так же по-ведьмински, приземистое крепкое тело выдавало необычную даже для ее племени живучесть, хвост, некогда пушистый, но изрядно драный, покачивался из стороны в сторону, как головка кобры под дудку факира. Вита усмотрела в ней ипостась Антонины Тимофеевны, оставленную ею позади для вечного контроля за своим участком вселенной. И, подчинясь кошкиной магии, приютила животное так же бездумно, как бездумно выложила непомерную сумму за недвижимость у пруда с ионами.

Сына своего Антонина, как видно, обманула. Пообещала им с женой все деньги за дачу, которую они не любили, а мечтали продать, чтобы уверенней устроиться за океаном, и тем склонила искать покупателя, вести дела продажи и вообще способствовать. Но наличность перекочевала в кришнаитскую общину, а Антонина обрела наконец в отрогах мистических гор покой – покой еще при жизни.

Почему-то и мы с Витой почувствовали себя «кинутыми». Нам – суета, заботы, земная канитель. Ей – мудрой и старой змее – хрустальная чистота вечности. Как же так?

Но ведущий предлагал уже жадным глазам телезрителей новые и новые заманчивые картины… Мелькнул крокодил в мутно-коричневых водах Параны, все заслонили серо-зеленые джунгли. Мы отвернулись от экрана.

Но это только предисловие. А вот и главное – то, ради чего я и делаю эту подробную запись.

Водка была уже наполовину выпита, второе пришествие профессора Антонины из электронных СМИ пережито, а Ники давно и крепко спал.

И в это мгновенье под желтым абажуром с бахромой, из продавленного кресла, где сидела с рюмкой в руке Вита, возникла и повисла над столом [18] фраза.

Я думаю, нужно решиться. Вот возьму и расскажу тебе все. Прямо сейчас. Пора. Одной мне все равно не справиться. Я уже пробовала – не выходит. Нужна помощь.

Вита решительно опрокинула рюмку и откинула голову, тряхнула белыми перьями мелированных прядей – по тем временам немыслимый изыск. И выпрямила спину в дряхлом кресле.

– О! О чем это ты? – спросила я без интереса, просто по инерции разговора. Да и чего можно было тут ждать? Новых

рассказов о беглом Витином миллионере? Его приключениях с пассией-секретаршей в Лас-Вегасе? Попытках вернуть беглеца с помощью приворота потомственной колдуньи, размещающей рекламу на страницах газеты «Экстра-М» или «Центр-Плюс», или советов профессионального психолога, найденного там же? Все это не вдохновляло. Да и чем я могла тут помочь?

В соседней комнатушке, за занавеской, где спал Ники, раздался шорох. Потом что-то живое, увесистое, шмякнулось на пол и мелко затопотало к кровати. Я вскочила и отдернула занавеску. Крысиный хвост, голый, чешуйчато-волосатый, неторопливо скрылся под краем одеяла, сбитого ребенком на пол. До Эпохи перемен такое одеяло в каждой семье укрывало на ночь супружеские тела, как кокон защищает гусеницу шелкопряда от жары, ветров и хищников внешнего мира. Только гусениц в каждом коконе было две. Слой ваты под темно-красным сатином, истонченный временем, но все еще плотный, поглотил стук маленьких лап по дощатому полу, и было непонятно, что сейчас делала крыса под кроватью.

Преодолевая отвращение, я ринулась вперед, откинула одеяло и успела увидеть темное вальковатое тело, устремившееся в щель между стеной и полом.

– Я думала, это котенок, – пролепетала за моим плечом Вита. Запах «Фиджи», волнующий, как свежесть океанского бриза (хотела бы я вдохнуть его, этот чудный ветер света и свободы) – заставил меня горько пожалеть о своей несостоявшейся жизни, затерявшейся в старых ватных одеялах, о жизни, задушенной вонючими перьевыми подушками, на которые преклоняли усталые головы поколения профессоров, – о моей жизни, пойманной в мышеловку на сухой запотевший огрызок сыра – тот, что не привлек даже крысу.

Мы отвернулись, чувствуя свое бессилие перед мощным и наглым грызуном, и вернулись за стол.

Выпили еще по рюмке, настороженно ловя каждый звук: как она там, под полом? Неужто правда – крыса? В доме. В любимом доме! А ведь нет ни бедствий, ни войны, ни нашествий – всего лишь Эпоха перемен… Крыса… Чума… Мор…

Но Вита не забывала о главном.

– Ну, слушай, – сказала она и, поднявшись, как Венера из пены, из недр нежного, податливого любому телу старого кресла, подошла к занавеске, за которой спал Ники, и заглянула. Ники тихо посапывал. Моя подруга удовлетворенно опустилась в мягкие объятия рухляди, закурила тонкую сигаретку с ментолом и значительно посмотрела на меня. Я ответила тем взглядом, которого она ждала – радостно-серьезным, предвкушающим.

На самом деле мне было все равно. В чудеса как-то не верилось. Впечатление крысиного хвоста под кроватью спящего сына слишком больно ранило мою неповоротливую душу. Неповоротливая душа… Какое точное слово нашел некогда Пруст для своего героя, но какие же разные стрелы жалят нас, впиваются, убивают…

– Нет, – проговорила Вита капризно. – Нет, ты не слушаешь. Да ты просто не представляешь, что сейчас услышишь. Но это совершенная, абсолютная тайна. Только между нами, понимаешь? Между нами двумя, и никому больше ни слова! – И она снова заглянула за занавеску. – Ребенок спит, слава богу!

– Нет, – ответила я, и, как ни старалась, мой голос прозвучал глухо, словно сквозь ватное одеяло, и печально. Как будто впитал все пролитые под красным одеялом слезы, и не только мои. – Нет, что ты, я слушаю. Ну, рассказывай. Только давай перед этим еще по рюмке, а? Очень уж… знаешь… зябко как-то. И сквозняк по полу. Зима скоро. Пора укрывать розы.

– Ничего, дорогая. Думаю, если мы постараемся… то есть если ты мне поможешь… и, вероятно, придется привлечь твоего Алексея… вот я все расскажу, тогда и обсудим. Все-таки стоит попытаться, я думаю, а вдвоем мы вряд ли сможем… во всяком случае, у меня одной не получилось. Потому что я женщина. И ты… ну да, и ты тоже, хоть и почти профессор. А Алексей у тебя, во-первых, мужик все-таки, а во-вторых, путешественник, к тому же опытный, так что вся надежда на него. Так вот, если все удастся, ты и думать забудешь о сквозняках. Никаких забот. Только о розах. Да и то если захочется. Может, тебе самой даже розы укрывать не придется. Садовника наймешь.

Я посмотрела на Виту внимательней. Тонкая сигарета в ее пальцах источала нежнейший голубой дымок, сквозь который просверкивали искры алмазного кольца – так мерцает звезда в темном облачном небе, звезда, к которой усталый путник обращает в последней надежде свой взор с мерзлой земли.

– Короче, – сказала Вита. Это слово тогда только появилось, и сейчас же стало ясно, что Эпоха перемен, едва начавшись, уже заметно продвинулась, сокращая излишние извивы пути и ломясь напролом. И немедленно оно было дополнено другим словом – «блин». И впрямь, все впервые свершавшееся совершалось не просто быстро, но комом, неряшливо, неудачно, нелепо. – Короче. Нам надо найти ту банку, блин. – И снова из ее сложенных трубочкой губ, поблескивающих стойкой помадой «Буржуа», вылетело голубое ароматное облачко.

– ??

– Ту банку, да. – Вита смотрела мне в глаза, но взгляд ее

устремлялся дальше моих зрачков, куда-то за них, созерцая картины, витавшие в ее воображении, и останавливаясь только на этих таинственных образах.

– ???

– Это все Боб. Его идея. Дурацкая, как и все. Ты помнишь, как он хотел бизнес сделать на конторских счетах? Удивляюсь, как с такими закидонами он все-таки добился своего. Он же Ротшильд, дорогая. Куда там Раскольникову или там какому-то Подростку (Вита, как и все мы, жители ушедшей вселенной, в юности много читала, а из прочитанного – помнила). Он Ротшильд, самый настоящий. Долларовый миллионер. Сотни миллионов, понимаешь? Я тебе раньше не говорила, чтобы не пугать, да потом он ведь мне и запрещал. Думал, если ездит на «жигуле» – еще и цвет выбрал невообразимый, тоска такая, называется «баклажан», – думал, если на «жигуле», так никто и не догадается. А мебель? Сама видела, какая у меня мебель. Как в сиротском приюте! – Красавица брезгливо поморщилась.

Я кивнула. Действительно, мысль сделать капитал на продаже деревянных счетов – костяшки щелкают, цифры прыгают – мелькала у Витиного мужа среди прочих подобных, но осуществиться ей не было суждено. Боб, выпускник МГУ, талантливый физик, встретил Эпоху перемен полной апатией. Я бы даже сказала – еще и афазией, алалией и что там еще бывает. Как он, легко обойдя на крутом вираже мысли и действия юношей Достоевского, за год превратился в Ротшильда – вовсе не тема для дневниковых записей, но были у него и другие идеи, были, так что конторские счеты, в компьютерный век сохранившиеся только в Союзе, не имеют к этому никакого отношения.

– Так вот. Это произошло недавно. Но денег уже было столько, что девать некуда. Американских счетов – банковских, конечно, а не деревянных с костяшками – у Боба еще не было. А здесь свой банк он еще не открыл. Все было в процессе, понимаешь?

Я снова кивнула. Мне показалось, что занавеска чуть колыхнулась. «Ну и пусть себе ребенок слушает, – подумала я. – Ники умный мальчик. Подумаешь. Все равно чепуха какая-то».

– Он тогда и не думал еще меня оставить, – сказала Вита и потупила свою прелестную головку в ореоле легких светлых перышек. Наступила пауза. Видно, усомнилась: думал – не думал? Уже тогда? Еще нет? – Ну, думал, не думал, – не важно, в конце концов. Короче. – И она вскинула голову и снова взглянула прямо на меня, в глаза. – Короче. Мы взяли типа банку.

– То есть? Какого типа?

– Ну трехлитровку просто. Из-под компотов. Стеклянную банку, не понимаешь, что ли?

– Зачем?

– А потому что он говорил все время: «Держите деньги в банке». Шутка у него была такая. Мечтал в Америку проникнуть. На Швейцарию надежды не было, ну так на худой конец в Штаты. Ну и взяли мы трехлитровую банку… – Вита снова закурила. Видно было, что продолжать ей нелегко. Что она на самых подступах к тайне. Занавеска за ее спиной снова колыхнулась, уже вполне отчетливо.

– И что?

– А то, что мы засунули туда триста тысяч.

– Чего?

– Долларов, конечно, вот чего. И я закрутила их крышкой. Как компот.

– Ну и что?

– Боже мой, дорогая! Блин! Ты что, не поняла до сих пор? Мы их зарыли.

– Ну и что?

– Ну ты даешь. «Ну и что?» Да то, что я их теперь найти не могу. Место потеряла.

– О! А где закопали??

– В леске около дачи. Мы же еще дачу выстроили, только пришлось бросить. В ней жить нельзя было.

– Почему? Наездов боялись?

– Да нет, там три бригады строили, одна за другой. Боб все хотел подешевле. То армяне, то белорусы, то украинцы. Вот и выстроили. Двери не закрываются, сквозь полы паркетные трава растет. В каминном зале какие-то птицы.

– Как птицы?

– Ну, свили типа гнезда.

– Не совы, надеюсь?

– Нет, такие со скворца, поют славно. Ну, ты меня сбиваешь. Короче, банка там так и зарыта. В леске неподалеку. Рядом выворотень – елку ураганом повалило. А прямо над этим местом я фольгу от шоколадки на ветку накрутила, чтоб легче найти.

– Неужто не нашла?

– То-то и оно. Ездила несколько раз. Последний – тому с неделю. Там этих выворотней таких же точно оказалось – немерено. Еще ураган прошел в августе. Все завалило.

– Найдем! – сказала я уверенно. – Найдем непременно. Вот увидишь! – Я оглядела комнату, и все в ней показалось мне иным, будто в электрической сети напряжения прибавили на сотню вольт. Абажур лучился желтым светом, как утреннее солнце, и

тени исчезали из углов вместе с пауками. Крыса, – вспомнила я. – Голодная, наверно. Подкормить, что ли, зверюгу? У нее ведь, бедняги, тоже дети. Крысята…

Мы договорились ехать на неделе. Завтра у меня лекции. Или как только здоровье А. позволит, копать-то ему. И искать. Вита обещала мне десять процентов. На месте и сразу.

16 октября

Утром вместе с Витой укрывали розы. Думали о банке. Собираясь в Москву, сообразили прихватить шампуры для шашлыков – вместо щупов: тыкать в землю, пока не услышим звяканье стали о стекло.

Перед отъездом пошли прогуляться вдоль Истры. Ники взяли с собой. Он чувствует себя неплохо, оживлен, температура впервые нормальная, ни на что не жалуется. При нем о банке не говорили, болтали обо всякой чепухе, но молча думали. Напряженно мечтали.

Вышли на опустевший пляж. Мокрый песок у воды прихватило морозом, и темная прежде полоса побелела. Река неслась у ног – быстрая, черная. Вот старый вяз на другом берегу – но что это? Вдоль всего берега, прямо над обрывом, над желтым песчаным обрывом, источенном круглыми черными дырками – норками ласточек-береговушек – тонкие параллельные прямые: легкая, но жесткая, беспощадная изгородь! Вот и терновый венец колючей проволоки виден, если присмотреться – размотан по всему верху, блестящей спиралью. И вяз, старый вяз, росший себе на воле не одну сотню лет, – и он тоже. Тоже внутри, и колючка блестящей змеей нежно и уверенно обвивает его морщинистое беззащитное тело. И только красный сердолик согревает мои озябшие на ветру пальцы.

За изгородью, у вагончика, уже выставленного на лугу за рекой, виднеются две плотные фигуры в камуфляже.

Комментарии биографа. Дополнения

На этом вместе с последней страницей сохранившегося фрагмента дневниковые записи обрываются.

Все, все помню. Помню таинственную болезнь отца, отозвавшуюся и в моем слабом, бледном, незрелом теле лихорадкой далеких странствий. Эдакая первая прививка – и на всю жизнь. Но и прививка эта необычна: не против, а за. В организм проникла некая неведомая субстанция, а может – микроб. Она в крови и в мозгу – сотрясает, томит, устремляет. Но я пока связан, скован в пространстве. Школа, Москва. Свобода – в книгах.

Я верю в книги. Мои взрослые – нет. Отец, правда, верит, но только в немногие. И вот почему. Судьба на два последних его школьных года приняла облик молодой наставницы – только с пединститутской скамьи: обольстительное свободомыслие, демократическое упрямство, талмудические догмы и ограниченность… СССР – империя зла, весь мир против нас, но мы – соль земли. Все прочие – чужие: с этим человеком нельзя говорить на кухне… Она легкой своей, чуть пухлой уже рукой с пальчиками, прозрачными, как розоватый крымский виноград, отобрала для любимого ученика лучшие тексты. Пусть читает. На что он еще годится.

Реальность наступала с другим, одноклассником и другом отца, но не с любимым учеником, а просто с любимым. Близким по духу: что наше, то наше, а что ваше – то общее… Так мой несчастный отец, все прозревая и зная, книги читал, как одну, единую и единственную, – с нее он первой и начал. Он читал, как читают в тюрьме, – упрямо, медленно, страстно. И до сих пор помнит все, все до буквы, от корки до корки. Дант и Сервантес, Рабле, Гильгамеш, Эдды и главные книги индусов, Павел Флоренский и… Больше он не успел.

Судьба оставила его в покое. Бросила вместе с книгами. Наставница скрылась, и из-за океана стали приходить редкие письма. Вскоре следом за ней Атлантику пересек и друг. Круг чтения замкнулся. Ведь отныне ни на одну более книгу не мог указать прозрачно-сочный перст той ручки, легкой и пухлой.

Ни другие персты, ни книги иные его не привлекали. И верить им он не мог – да что там, не мог ни повиноваться, ни читать. Даже и к тем, что прочел, примешалась горечь измены. Будто это они обманули, насмеялись цинично и грубо.

Тем временем мать, мой будущий профессор, жила, как читала, и читала, как жила, – свободный Логос порхал и носился

на воле, над волнами пурпурного моря, серебрился и играл, как гребешки пены под свежим ветром… Чем ты утоляешь жажду – водой или волною? Один выдумщик-англичанин приписал эту фразу древним. Грекам, понятно.

Что ж, Логос претворял воду, как незаметный бесформенный материал, и из этой материи хаоса вставала волна за волной. Книга за книгой. Так действительность претворяется в слово, так из жизни рождается книга. Словом и книгой профессор привыкла утолять жажду, как подлинный эллин – волною, но – вот чудо – Логос так возлюбил мою мать, что не лишил для нее вкуса и воду. Простую чистейшую воду. Таков был его дар – особый дар для избранных, для любимых.

Встреча с арбатским мудрецом была еще далеко впереди. Он-то давно заслужил этот дар всею жизнью, к нему устремленной. Бдениями бессонными, трудами многотрудными, терзаниями духа многообильными, страданиями тела многострадными. Чем же заслужила его моя легкомысленная мать?

Страстью мудреца к ее левому колену? А сама эта страсть откуда? Что же присуще моему профессору такое, что эманацией через левое колено склонило к ней, молодой и неопытной еще, необразованной женщине, сердце и дух мудреца? И – выговорить нелегко – пристальный взгляд богов. Их щедрый дар. Слишком щедрый. Так у них, впрочем, всегда. Полюбят – ни за что, а уж возненавидят – не оставят и после смерти. Все через край. А смертным проповедуют меру. Ну что ж, боги бессмертные, воля ваша.

Прочитав листки дневника, в поисках сведений о таинственном микробе, этом опасном возбудителе страсти к путешествиям, я открыл нужную книгу. Говорю «открыл», а не «нашел», потому что все нужные и так были у меня под рукой, собранные поколениями предков. И только ждали. Я протянул руку к зеленому корешку, снял с полки. Николай (Николай!) Михайлович Пржевальский. «От Кяхты на истоки Желтой реки». Москва, Географгиз, 1948. И вот читаю: обыкновенная болезнь лобнорцев – язвы на теле, преимущественно на голове (лечат ртутью, принимая ее внутрь). Лобнорцы – потомки мачинцев – обитателей Кэрийских гор, а уж для тех язвы на голове – наиобычнейшее дело. По словам горных мачинцев, свидетельствует Пржевальский, «в 1873 году у них свирепствовала болезнь (вероятно, эпидемическая заушница), заключавшаяся в опухоли желез (гланды) позади щек; больной умирал через четверо суток от удушья». Что ж, симптомы узнаваемы. Язва на отцовской лысине, небольшая, но глубокая, видна и сейчас. Она напоминает муху, нарисованную тончайшей

кистью из верблюжьей шерсти. Да и железы дают о себе знать в плохую погоду. У меня все прошло куда как легче, но и во мне эта странная муха – и кусает, и жжет. Стоит только задержаться в городе. Этого она не выносит, лобнорская тварь.

Я смотрю на черных стрижей из окна своей каменной кельи и слышу их крики – словно черные струны дрожат, струны, свитые из жестких волос с хвоста черного яка, дрожат они и поют ***назугум*** – песню Кэрийских гор:

…

«О милая моя, твои черные косы спустились на виски. Без спросу целовать тебя нельзя. Как бы мне не убиться, если целовать себя не позволишь. О тебе ли, милая моя, стал я страшно тосковать. Всюду ты мне мерещишься, так и хочется броситься к тебе. Мы оба ровесники, будто выросли вместе. Если мы соединимся, составим распустившийся цветок. Поймаю сеткой сокола, парящего в воздухе. Милая моя, черноглазая, проглочу тебя с водой. Был бы золотой браслет, надел бы его себе на руку. Груди моей милой буду, как лекарство, прижимать к своему сердцу. Не видал бы ее раньше, не отдал бы ей душу, сохранил для себя. Я говорил душе – «разлучись» – не разлучается; отвечает же мне: «эй, юноша, можно ли соединившиеся души разлучить». Я слышал – ты безжалостная, привязал к своему сердцу камень. За тебя, безжалостная, чуть свет плачу кровью».

И дрожат черные струны стрижей, и в крови моей чуть свет звенит эта дрожь струны, и на глаза набегают слезы. Жжет, Коленька, жжет…

Но оставим. Ведь она теперь навсегда во мне – эта муха

странствий, будто нарисованная тонкой кистью из верблюжьей шерсти.

Вернемся к начальным годам нашей Эпохи. К началу борьбы за жизнь. К тому прекрасному времени, когда в трехлитровой банке хранилось еще варенье, в борьбе приготовленное запасливой Витой из яблок, подобранных мною в благословенных аллеях райского сада МГУ на горах, уже Воробьевых.

Моя мать – тогда еще не настоящий профессор, хотя друзья отца дразнили ее, так называя, – сушила тогда сухари из батонов и буханок, купленных на докторантскую стипендию: месячное денежное довольствие будущего доктора наук равнялось десяти пухлым батонам с рыжей светлой кожицей, или шести белым и восьми черным – только не бородинским, те были дороже. Трехлитровые банки особенно в ходу: в них мать под руководством хозяйственной Виты запихивала для закваски неумело нарубленную капусту. Готовились к голоду, и всерьез.

Вита вообще более жизнеспособна: сушить сухари и квасить капусту для нее, дочки военного офицера в небольших чинах, чья служба началась в самом конце войны на Дальнем Востоке и куда только потом не бросала вместе с семьей по необъятным пространствам нашей Родины, – дело самое обычное. Всегда-то на новом месте, и каждый раз нужно было и устроиться, и обустроиться, и зажить. Вот она и научилась, и приспособилась: все начать и все бросить – внезапно, легко, привычно. Для Эпохи перемен – дар бесценный.

Не то – мать. Дочь, внучка и правнучка московских профессоров, выращенная няней, приученная не сыпать песок в глаза другим детям на Гоголевском бульваре, находившая приют между лапами черных каменных львов, охранявших черный печальный призрак– куда ей было до Виты. Само слово «шинковать» выговорить никак не могла – все вспоминала гоголевское «шинок». Пара вилков белой хрустящей капусты – и на белых ладонях кровавые мозоли. И нарезанный хлеб, чуть только попав в духовку, чудом успевает обуглиться сверху, внутри оставаясь по-прежнему мягким, даже влажным. Но зато – эта легкость, эта летящая походка, эта радость… Сияние глаз, улыбка – и тайное знание. Роскошное пренебрежение к мелочам, непринужденное, невыученное, естественное, коего причина – умение распознавать их мелочность. Отделять мух от котлет. Претворять хаос в порядок. Откуда бы? Да, это он, божественный Логос. Он трепещет повсюду и лелеет немногих своих избранников. Порхает, как белая бабочка, над капустой, но только над цветущей или, на худой конец – *нарубленной* , нарезанной. Но вот над *нашинкованной* – никогда…

Нет, не поймать сеткой сокола, парящего в воздухе. Она, моя мать, парила. А уж этот дар для любой эпохи победа. Пока мозоли заживали, покорились сухари и капуста. И мы подготовились к голоду.

Но все понимали, что этого мало. И нужно что-то придумать.

Может показаться странным, что я назвал начало Эпохи перемен прекрасным. Сейчас, в наше время, в его густой тяжелой духоте и вселенской тоскливой пустоте, те чувства забылись. А ведь я помню – помню свет свободы на лицах моих взрослых, помню беспечную радость, помню: тревога была беспечальной, а заботы – игрой. И все вообще было игрой. И казалось: все только начинается. Как в рекламе «Нескафе» с красной кружкой. Ведь можно было что-то придумать. Одно это веселило воздушными пузырьками в каком-то шоколаде, щекотало шипучей пеной «Швеппс», и все больше жизни становилось даже у кошек «Фрискиз».

Мулькру (Вставка биографа)

Только вот все меньше и меньше жизни становилось у моего отца. Таинственная болезнь все чаще клонила в сон. В городе, на дедовом туркестанском ковре с узором, пульсирующим в загадочном ритме, желтоватом, словно кость, выбеленная ветром пустыни, и в горах, на кошме или тонком экспедиционном коврике-пенке, – везде засыпал он, стоило только голову приклонить, и спал, пока не разбудят. И пробуждение становилось все мучительней. Он был *мулькру* . Об этом не знал никто. Но сам он догадался.

Мулькру – человек снов. Человек сна. Провидец? Нет, хотя будущее ему открыто. Просто оно его не занимает. Время течет для него иначе. Для мулькру будущее вовсе не впереди, как для всех. Большая часть его уже за плечами. Да и вообще эти слова – будущее, прошлое, настоящее – слова, вытягивающие время в тонкую неосязаемую прямую, словно сканцы серебряную проволоку, – для *мулькру* бессмысленны. Время для него

– сканый узор, многослойное переплетение серебряных нитей, такое замысловатое, что и разгадывать, распутывать бесполезно. Узор открывается ему сам, как влюбленная женщина, трепещущая от страсти, – но только во сне. Во сне же горы и долины, твердь и воды, свет и тьма разделены и чисты, как в первые дни творения. И так же прекрасны. И так же безлюдны. Только дух *мулькру* носится над ними в утреннем сияющем свете, и один только звук витает над миром – ликующий стрижиный крик.

Но пока мой отец засыпал, просыпались другие.

Пробуждение миллионера (рассказ биографа со слов Виталины)

Вот опять проснулся от скрипа. Всю дорогу намылилась будить меня эта дрянь? Поспать спокойно не даст. Ножка отваливается. Шатается, стерва. И скрипит. Встану – совсем оторву, к едрене-фене, книжки хоть подложу пока. Пока? Пока – что?

Черт, а ведь надо все-таки встать. Который час, интересно? Впрочем, нет. Вовсе не интересно. Неинтересно мне здесь. Шея затекла – головы не повернуть. Тоска. Нет, хочется все-таки. Хочется чего-то. Другого. Другой жизни. Другой женщины. На работу поздно. Да и что там, на работе? Сидят мужики бородатые вокруг установки, все как мухи сонные. То чай, то водочка. Но не оживляет. Нет, не оживляет.

Денег хочется, вот что. Понял. Захотелось наконец. И, между прочим, сильно захотелось! Ого! Ого как! Вон оно что… И, кажется, не только уже и денег! Ну и дела… Ну, надежда есть. Есть надежда!

– Але? Чего? Виталина? Чего звонишь-то, не понимаешь, что ли: надоела! На-до-е-ла! Не скрипи. Скрипишь и скрипишь, как эта…. Ну, не буду. Чего там. А ты не пили! Сказал: не пили! Встану, встал уже. Без нервных обойдемся. Я тут щас чаю выпью, обмозгую кой-чего. Все, не звони больше. Не мешай. Все, пока. Да, жратвы принеси, как с работы пойдешь. Не забудь смотри. Да, дома… А вообще, это… Еще как сказать. Может, и выйду. По делам. Какие вдруг дела? А такие. Ты отвяжешься, наконец? Не мешай, говорю, мужику думать надо. Все, пока.

Блин. Весь кайф сломала, чертова кукла. Всегда так. Но я-то каков! Понял! Эврика! Физик я или нет, в самом деле? Теоретик или кто? Физик. Теоретик. А МГУ – лучший вуз страны. А экзамены – это лотерея! Помнишь, твердил про себя, как заклинания. Мои заклинания. Поступил ведь, из своей тьмутаракани. Сам. Кончил. Сам! Защитился? И защитился. И все сам. Ну, не бэ, Боб, справишься. Плевая задачка-то. Главное – определить, в какой области ляжет результат. А это я сделал, вот только что. Деньги. Эта область – деньги. Проще пареной репы. И чего ты, друг, такой бедный, если такой умный? Ща, с условиями определюсь – и порядок. Решение – детские игрушки вообще. Покруче задачки решали. Все, пошел. Сначала к Игорю, попрошусь к нему. Башмаками торговать в Лужниках. А через речку на лучший вуз страны поглядывать. С машины. Необходим

первоначальный капитал. О! Хочется! Как хочется! Так, телефончик…

– Игорь, ты? Да, Боб. Ну, Боб с факультета, забыл, что ли? Вроде недавно видались. На факе, в лабе спирт с мужиками разводили. Ну да. Да я по делу. Ты щас где, на грузовике? Давай я подбегу, разговор есть. Ага. Как тебя найти-то? Лады. Ну, лады. Нет, не с универа. Из дома, ехать далеко, в районе часа буду. Ну, хоп!

Так, задачка – двухходовка. Есть! Первое – есть! Первое, первоначальное… Есть первоначальный капитал! Двух месяцев не прошло. А мужики мои бородатые все спирт разводят. Теперь пошел «Рояль», лабораторный весь выжрали. Установка, кстати, как была, так и есть. Ну, Игоря на хрен. Побаловались – и хорош. Переходим ко второму действию. Черт, все скрипит, стерва. Скрипят, точнее. Что тахта, что жена. Одного поля ягоды, одного сапога пара. Нет, ну обувь-то какова оказалась! Золотое дно. Но как просто, как же все это просто! Ну, Виталина, смотри. Видала, пила? Мы теперь с тобой, считай, богатые люди. Много, говоришь? Чепуха. Это чепуха, а не деньги. Настоящие деньги в банке. Да не в какой. В каком. В швейцарском, дура. Ну, если реально, то в штатовском для начала. Нет. Пока только эти. Где еще деньги? В голове у меня сейчас деньги, вот где. А эти – так, мелочевка. Новый диван? Иди ты знаешь куда! Сама заработаешь – тогда трать. Все деньги – в дело. Какое дело? Объясняю. Газетенку открываю. Все продумал. Муж у тебя физик-теоретик, между прочим. Мне такие задачки – семечки. Главное – я теперь не только область результатов могу определять. Цель то есть. Цель у меня как была, так и осталась. Деньги это. Будут деньги – будет все. Сама знаешь: лучше быть богатым и здоровым… Богатым, заметь, на первом месте! Главное – я и условия теперь формирую. Сам, все сам. Нет, ну, остается, конечно, всегда сфера внешних условий, но я с ней взаимодействую. Активно взаимодействую, в живом диалоге. Ну, не понимаешь, не надо. Слушай сюда. Сейчас что главное? Реклама. По телеку сложно, мелкий планктон не потянет. Дорого. А ни газет, ни журналов рекламных нет. Специальных. На мое счастье. Нет пока! Объединяем условия: первое – реклама; второе – реклама для небогатых, но не совсем по мелочи. Это кто? Оптовые торговцы, вот кто. Как Игорь примерно, с башмаками. Третье – специализированное издание, дешевое, и чтобы часто выходило. В неделю раз. Ну, в две. Да, правильно, с большой периодичностью. Итак, вывод: рекламная газета «Оптом». Я хотел назвать «Оптимум», да сложновато для планктона, не поймут. Ну и вперед! Собираем информацию рекламодателей. Да ты садись,

объявление давай пиши. С работы увольняешься, делом займешься. Ну, на первых порах, до офиса. А будет офис – останутся за тобой представительские функции. Чего – чего? Того. Будешь себе тряпки покупать и на приемы со мной ходить. За границу ездить. Нет, в своем, в своем уме пока. Более чем. Не веришь – не надо. А в деньги веришь? В те вон, которые на столе лежат? То-то. Пиши, говорю. Пиши, что диктуют, и думай поменьше. А главное – не скрипи. Надоела. Молча работай. Напишешь – в магазин, мухой. Жрать хочется. Не следишь совсем за мужем, а еще хочешь чего-то. Тоже туда же. Вон какие по улицам женщины красивые ходят, а я тут с тобой ругаюсь.

– Ныряй, чего испугалась? Зря, что ли, инструктору плачено? Да не бойся ты, нет тут акул никаких. Это ж Сейшелы, не хухры-мухры. Уй, елки! Красота-то какая. Джек Лондон просто. «Острова в океане». Нет, в этих закатах определенно что-то есть. Что-то такое… Неуловимое… Пальмы черные, тонкие, гибкие, а небо… Золотое, красное, зеленое… Океан шумит… Да, кайф. Махито… Нет, дайкири все-таки больше нравится. Люблю. Как дядя Хэм. Кайф, елки. Да не елки – пальмы! Ну, вперед, пошла. Делом надо заниматься. Приехали нырять – ныряй. Там рыбок обещали. И кораллы. Красоту всякую. Вот что денег стоит. А не твои диваны. Тахта то есть. Нет, не купим. Все деньги – в дело, сказано раз навсегда. Ну, ныряем!

Виски? Айриш крим? Джин с тоником? Коньяк? Девочка мебель нормальную для офиса выбрала. И сама девочка нормальная. Даже ничего. Анжела, виски, плиз! Сейчас принесет, пройдется передо мной, а я на нее посмотрю. Кайф. О! Нога сама от пола оттолкнулась, кресло крутанула, и стол передо мной завертелся – во как блестит… Неужто вот эта лодыжка в черном шелковом носке, и этот башмак шикарный, итальянский – перчатка и то грубее, – это моя нога? И этот стол передо мной длиной в километр, и жалюзи, и белые стены, и… это мой офис? Офис… Анжела, блин… Да, поставь сюда. Нет, больше ничего, иди. Иди! Не устал, не беспокойся.

Какая заботливая. А чего бы нет? Умный я все же мужик, черт побери. Все говорят. Поняли наконец. Да и чего непонятного, если все это – да, вот все это, и они сами с их зарплатками гребаными, весь этот офисный планктон – все из головы! Из моей головы только! Больше ниоткуда. Как из головы Крона… И культурный, мать твою! Культурный, между прочим! МГУ все-таки. Интеллигентный народ, елки. Среда такая.

Да, виски, виски… Хорошо, да поздновато, Боб. Борис Михалыч. Поздновато, брат. Помнишь, лет этак двадцать назад идем мы с Виталиной, по ступенькам Клубной части спускаемся –

оба в белом, она и я, как молодые боги… Рука об руку. Неторопливо так. Жарина – асфальт плавится, и розы темные вокруг Ломоносова никнут к земле и пахнут… Чуть ветерок, волосы ее каштановые колышутся, волосы ведь ниже талии были, а? И розы пахнут. И мы только из койки, из чудной узкой койки, в той замечательной каморке, комнатушке на десятом этаже Главного здания, зона В, в моей аспирантской норе, прокуренной «Беломором» и «Примой», «Византом» и «Стюардессой», пропахшей джином из магазина «Балатон», где кинотеатр «Литва», тем можжевеловым сладким запахом из бутылки с синим корабликом, а еще – кубинским ромом из бутылок длинных, высокогорлых, как Виталинина шея… В моей каюте, пропитанной и белым ромом, и коричневым, таким, словно жженый сахар, который мне мать от кашля давала, жгла кусок на свечке, и уголок плавился, коричневел, шипел, капал в ложку… Тот же вкус… Вот оно как было… Как молодые боги…

Ну, ни фига. Все еще будет. Того, конечно, не вернешь. И Виталины прежней не вернешь, скрипит только да пилит. Думает, лучше меня все знает. Учить еще взялась, как дела делать. Сама ужин горячий не может вовремя мужу подать, а туда же. Видали мы таких умниц. Ее бы в этот бизнес, ведь не знает, что тут почем, а лезет. Ну, да бог с ней, дура баба и есть. Жаль, конечно. Жаль, что не вернешь.

– Анжела! Еще виски, лапусь. Встречу на четырнадцать отмени. Некогда мне.

А впрочем, чего жалеть? Деньги есть – все есть. Деньги будут – все будет. И еще кое на что останется.

Виталина, садись тут. Разговор есть. Да брось ты это вязанье свое дурацкое, тут вещи серьезные. Чего ты все вяжешь, вяжешь. Нищие, что ль? Я с тобой как с женой говорю. Сама понимаешь, старый товарищ, боевой друг и все такое. Думаешь, я твоих заслуг не понимаю? Доли твоего участия? Ценю, ценю, не думай. Да, помню. Как ты первые выпуски «Оптом» сама по ящикам почтовым рассовывала – ну, так ведь тогда это и не так уж трудно было. Чего там – четырехполосная бумажонка газетная! Да, верила. Помню, ценю. Знаешь сама, как ценю. Ну, что я? Опять я виноват? Ну, лежал на диване, ну была депрессуха. Ну, вытянула, знаю. Одна меня и вытянула. И газетенку тоже вытянула. Вот и молодца. Я с тобой потому так и говорю. По-другому себя повела бы – не говорил бы. Ну, короче, так. Короче, деньги надо укрыть.

Немного, про запас. Нал, конечно. Конечно, нал. На всякий пожарный. Где другие? Ну, где, где… Много будешь знать, скоро состаришься. Да и денег-то у меня почти и нет, ну ты че? Где они, деньги-то? Где, в натуре? Нету. Счета… Это, знаешь ли,

информация закрытая. Да, и для тебя закрытая. Шутка. Да нету ничего, в самом деле. Вот только эти и есть, что в кейсе. Лимон? Нет, куда там! Триста всего. Ну тысяч, понятно. Я вот у тебя как у хозяйки хочу спросить. Проконсультироваться, значит. У тебя банка трехлитровая найдется? Влезут туда? Ну, тащи, мухой! Попробуем, влезут или нет.

Смотри-ка, вроде все. И еще место осталось. Нет, хватит. Так, а теперь закатывай. Закатывай, говорю. Ну, тащи эту машинку свою дурацкую. Да, как компот. Сказала бы лучше, как огурчики. Ну, порядок. Теперь свечку. Свечка у тебя в хозяйстве есть? Да все равно, какая. Пропарафиним, а потом еще полиэтиленом сверху, чтоб не проржавела. Да не проржавеет. Не на век прячем. Ты пила сегодня? Дыхни. Ну, отлично. Машину ты поведешь. Куда, куда… Сама знаешь, куда. В лесок, где участок купили под коттедж. Строить скоро начнем, вот и приглядим. Да это временно, пока тут с ГКО неразбериха, так, на всякий пожарный. Чтоб в Штаты в случае чего успеть. Тебе нарочно показываю, чтоб и ты, ну, там, понимаешь… Если возникнут опять, как тогда. А то ведь второй раз я могу за проволоку-то и зацепиться, когда дверь буду открывать. Собаку надо завести, чтоб вперед пускать. Ну, это после. Короче, хочу, чтоб ты тоже знала.

Ну вот. Наш сворот. Приехали. Паркуйся у участка. Давай постоим, посмотрим, будто помечтать заезжали. Так. Теперь пойдем побродим. Пакет я понесу, будто там выпивка и закусь. Пикник, словом. У обочины. Да, ну и дела. Природы тут, конечно, никакой. Зачем покупали? Лесок-то новый, засоренный. Кусты одни. Комары, блин. Ты оглянись, оглянись, невзначай будто. Ну как? Никого! Да и кому тут быть-то, в этой дыре унылой. Эх, Виталина, Виталина, ё-моё! Это что ж получается? Построим мы тут коттедж, а дальше что? Жить тут будем? Из моего офиса – и сюда приезжать? На уик-энды? Шашлыки, барбекю? Удавиться – не встать. Ладно, дорассуждались. Опять пилишь? Я, что ли, этот участок выбирал? Ну, я, ладно, я. Ну и что? Построим в лучшем виде, и цивилизуют тут все. Обещали ведь. А, ну да… и я обещаю. Ну так ведь делаю иногда? То-то. Ну, стоп. Где твоя сумка? Совок давай. Вот тут место хорошее. Глухо, как в танке, и елка вывороченная. Сосна? Ну, сосна, хрен ее разберет. И не цепляйся по мелочам. Все, яму глубокую рыть не буду, а то не найдем. Да и ни к чему. Давай. Ну, уже полчаса спорим, вверх крышкой или вниз. Дождемся. Грибников каких-нибудь, мать их так. Грибники всегда есть, даже в мае. Сморчки собирают, туда их. Давай боком. Так, засыпаем. Сверху клади кусок дерна, вон лежит, я снял. Аккуратней клади, как пирог на противень, не порви! Умеешь ведь! Ну, коленкор. Как найдем? Очень просто, по выворотy.

Потыкаем шампуром – звякнет. Вот смотри: березка рядом. Это ты чего? Зачем тебе? Придумала, елки зеленые! Фольгу от шоколадки на ветку накрутить! Только внимание лишнее привлекает. Снимай сейчас же. Дура. Вот бабы, ничего сами сделать не могут. Только все испортят. Все, повернули и пошли отсюда. Прогулочным шагом… Прогулочным, говорю!

Нет, не могу. Не могу без нее. Все. Да чего там… Жизнь без любви – и какой в этом смысл? Ни жизни как бы, ни смысла. Еще этот июль. Жара, как тогда, с Виталиной… Только я теперь не аспирантик фигов… Хозяин. Взрослый мужик, настоящий. Бизнесмен с серебряными висками. Класс. Виагра эта – сила. Ничего, вложения оправдывает. Оптимальное сочетание цены и качества… Ну, за это и денег не особо жалко… И она, моя девочка, моя юная девочка, Анжела… Вот оно, пора. Пора к ней. Все, лечу. Полетел. Улетаю. Вот это жизнь. Это и есть жизнь…

Ну, что ты смотришь? Да, задержался. Да, опять. Бизнес, знаешь ли. Деловые встречи. Дела вообще. Что ты в них понимаешь? Нет, не заболел. Со мной все в порядке, все. Отстань, иди спать. Поговорить? О, Господи! Нашла время. Да нет ничего, не выдумывай. Делать тебе нечего, вот и выдумываешь. Сидишь тут и вяжешь, как эта… ну, которая нити перерезала. Нити жизни. Парка, да. В музей бы сходила, в театр, к подружке. Ну чего ты здесь сидишь? Ах, ужин разогревала. Дурища. Ну, дура вообще. Если человек до десяти не вернулся – чего тут подогревать? Значит, ужинает в городе, с коллегами. Деловой ужин. А сама бы спать ложилась. Рано? Ну, к подруге. Поздно? А иди ты знаешь куда?!

Что-о?! Как посинел? Синий? Сама ты синяя, в зеркало посмотри. Правда синий? Как то есть правда? Руки? Так, рубашку прими. Зеркало подай. Сюда, сюда, поближе. Та-а-ак… Э-э-э…
Вот черт. Что бы придумать… Срочно, срочно… В темпе… Думай, Боб. А то на развод еще подаст, на раздел. Много не получит, но и малого жалко. Думай! Держи удар! Думай, Боб, кому говорят! Это все моя Анжелка глупенькая. Ох, бабы. Ну, дуры все. Точно, Анжелка. Это постельное белье ее новое. Индийский комплект, говорила. Хвастала: красивый, а дешево. Тоже интриганка нашлась, завлекает. Знает, что я зря деньги не трачу, вот и прикидывается… Родственная душа, хозяйка хорошая… Ну, дура тоже. Еще женит. Нет, дудки. Разводов никаких, блин. Черт, и правда синий весь. Морда – аж до носа. Весь подбородок. Укрывался, что ли? Вряд ли. Как с ней укроешься, да и зачем?

Уходить? Как уходить? Так. Хорошо. Ладно. Хочешь – я уйду. Ухожу. Только портфель. Но смотри, Виталина: назад не вернусь. Подумай хорошенько, что ты, блин, теряешь. Половину? Дура ты,

мать. Это в сказках только бывает. На Западе. В журналах глянцевых. Откуда чуши такой набралась… Думай сейчас, на месте. Никакой половины тебе не видать. Как ушей. Долларов двести в месяц – и привет. На книжку. Все. Работать пойдешь. Я же работаю! И ты будешь. Вот и все. Все.

Да-а… Листья-то как пооблетели… Октябрь уж на дворе… Черт. Скукожилось как-то все вокруг. И не только вокруг, блин… Видно, одной виагрой-то не обойдешься. Вернуться, что ли? А как вернешься? Ребенок уже на подходе. Заметно даже, не обманывает, стало быть. Ну да ладно…

Анжела! Одевайся, поехали. В лес прокачу. Как зачем? Воздухом подышать… Как будущую мать приглашаю. Штуку одну покажу. Где, где! Да там, в лесу. У коттеджа нашего. Ну, недостроили, делов-то. К весне будет. С младенцем вас поселю, как бы на даче. Да не бойся ты. Чего испугалась! Убивать не буду. Погуляем просто. Родишь спокойно, не бэ, будем как бы жить. Да вместе, вместе. И развод оформлю. Уже оформляю. Долго, да.

Это чтобы тебе, дуре, с младенцем твоим больше досталось. С кондачка такие дела не делают. Да, шампуры возьми для шашлыков. Чуть не забыл. Ох, да не бойся ты, в самом деле. Что за шутки, блин. Беременная баба, и еще как бы шутит. Потеплей одевайся-то. Да ненадолго, – так, на часок-другой.

Ну, хоп! Выпрыгнула! Да, коттедж, конечно… Трава сквозь ступеньки проросла… Бригад тут было – одна за другой, как птицы перелетные. Хочешь кого подешевле, так они все дешевки одинаковые. Один хрен. Не умеют ни фига, а туда же… Строители, блин. Настроили. Что армяне, что белорусы. Кого только не было… Азеры еще… Фауд этот или Фархад – как вспомнишь, так вздрогнешь! Наших надо было нанимать, вот что. Ну, пьют. А бывают, что и нет. Есть теперь такие, что и не пьют. А то вон, глянь, окна все перекосило, дверь повело, не запрешь даже…

Ну, пришли. Видишь – выворот. Сосна, говорю, упала, корнями вверх. Выворот называется. Теперь смотри сюда. Ах, блин! Так фольгу и не сняла, зараза. Вон, на ветке там. Ну, тем лучше. Так, под ноги, внимательно… Вни…ма-а…те-е…льно-о-о..! Видишь как бы шов? Это я дерн снимал. Та-а-ак… Сдвигаем… Аккуратненько… Спо-кой-но… Давай шампур! И сама бери, тыкай в землю, вот сюда, где дерна нет. Да, только в этот прямоугольник… Еще…

Черт!!! Давай совок из пакета, рыть надо!!! Нет!!! Нет!!! НЕ-Е-ЕТ!!! У, стерва. Опередила, блин. Ну благородства никакого. Никакого благородства в бабах. НИ В ОДНОЙ! Черт… Ну и хрен с ней. Переживем, блин. Теперь-то у меня все в банках, в настоящих

только… А не в трехлитровках стеклянных… Нет, обидно все-таки. Все-таки обидно. Мелочь, а обидно. И что ж я вовремя не подсуетился, а! Сразу надо было бежать, в тот же вечер, прямо с портфелем в руках – и сюда. А не к тебе, ла-пу-ся, блин. Она небось уж наутро как штык тут была, с шампуром и с совком… Ну, все, хорош. Поворачивай. Забудь. Не было тут ничего. И нет. Не было и нет. Вот и все дела. Ох, и надоели вы мне все… Ох, и как же мне все это надое-е-е-ло… Поехали. Домой, куда-куда! Виски мне будешь сама наливать. Ох, тоскаа-а… Хлестнуться можно…

Биограф – о причинах и следствиях (первая идея спасения)

Что я люблю на земле? Только Долину ветров. Камни шуршат под стопой, шелковым шелестом каждый шаг свистит, как змея, ускользая. Ветер люблю и орлов. Имя дано – аквилон – лучшему ветру из всех. Ветром орлиным его римляне звали не зря. Сивер, сиверко задул – скажет о нем славянин. Да, Aquila – орел, хищный и сильный, как вихрь. Север дохнет – и бодрей братия двинется встречь…

Да, дохнул аквилон. Север. Сдул остатки продуктов с прилавков. Именно в эту пору – в пору начала Эпохи перемен – одна неудавшаяся поэтесса, ныне давно покойная, если к ней вообще применимо это слово, – очень уж была она беспокойна при жизни, – школьная подруга и соседка моей двоюродной бабушки – нет, не профессор, и не профессора – избави Бог! – не все наши знакомые и не все женщины в нашей семье профессора – так вот, эта странная беспокойная некрасивая толстая Зоя Ибрагимова, отец ее был казах, приехал в Москву и сгинул в лагерях, а мать осталась – тетя Галя Проскурякова, веточка большого московского профессорского дерева, раскидистого, как тополя на Плющихе, – эта Зоя с круглым и плоским темным лицом и черными узкими глазами написала тогда такие строки:

Душа моя чуть-чуть тепла,
И в ней светло, как в гастрономе,
Жених мой в сумасшедшем доме,
А я сегодня умерла.

Чушь, конечно, и написала она это, возможно, гораздо раньше. Но сказано о Смоленском гастрономе, ныне обращенном в «Седьмой континент». А в ту пору, о которой я рассказываю, в Смоленском оставался только свет. Больше не было ничего. Зато света было много. Вот почему я запомнил эти строчки…

Итак, дохнул перестроечный аквилон, и братия наша рассеялась, вместо того чтобы сплотиться, – рассеялась точно так, как при начале татарского нашествия, но все же встала холодному ветру встречь – каждый сам по себе. И каждый пытался выстоять.

Я говорил уже о том, что мой профессор продал часть своего времени – а ведь дороже времени у талантливого человека и нет ничего – некоему коммерческому «университету», одному из многих, выросших, как несъедобные грибы, из невидимых простым глазом спор, аквилоном занесенных на землю нашего

отечества.

Комментарии биографа к письменным работам студентов риторического класса

И вот передо мной два листка – выпали из той же бумажной кучи, что обрывок дневника. Я сохранил оба.

Сохранил как свидетельства торжества Слова над якобы неодолимой стихией, над хаосом – неустроенным, бесформенным, безобразным. Оба листа А-4 – письменные работы студентов. Задания, выполненные в риторическом классе моего профессора. И что это были за студенты! Но мать сумела, справилась: напомнила им, что человеки они. И вспомнили ведь. И написали слова. И как написали!

На первом листе слов немного. Это вторая часть хрии – похвала. Похвала греческому лирику Архилоху. Мой профессор чтил его особо. Ведь некогда арбатский мудрец, положив бледную пергаментную десницу на левую коленку матери, вдохновенно учил ее читать вслух бессмертные строки:

Άλλα χάρτοισιν τε χάιρε και κακόισιν ασχαλά

Μη λιεν. Γυγνόσκε, χόιος ρυθμος άνθροπος εχέι! [19]

– Рю-ю-тмос, деточка! Произноси: «р-ю-ю-ю-тмос», вот как, – вытягивая синеватые губы трубочкой, наставлял ее Профессор настоящий. Русский Сократ она его называла.

Да, Архилох, поэт и наемный воин. Как и мой профессор, собственно. Знаете это: «В остром копье у меня замешан мой хлеб. И в копье же – из-под Исмара вино. Пью, опершись на копье» [20] .

Так вот что написал об этом великом эллинском лирике, вот что напечатал о нем на белом листе формата А-4 мальчишка по имени Амир, дикий сын диких родителей, с ног до головы облаченный в черную кожу и обвешанный серебряными черепами и всякими прибамбасами металлистов, – написал на самом современном, самом крутом компьютере (286–й в те времена, наверно):

«Он познавал жизнь копьем и Словом».

Неплохо, как вам кажется? Мне понравилось. Вот какова сила Логоса, умелой рукою ритора направленная на благо! В цель! В десятку!

А вот и второй листок. Тут уж целое сочинение. Тоже одно из зачетных заданий в риторическом классе. Материнская система обучения бессловесных существ свободной речи требовала всего

четырех таких заданий. Сделаешь все – зачет. Первое – хрия, или рассуждение. Это примерно то, что перед вами, только слов всего 300–400, не больше. Еще одно – описание. Третье – повествование. И последнее, четвертое, – публичная речь. Ораторское выступление.

Так вот, на втором листке – повествование. Требовалось, следуя определенным риторическим правилам, рассказать историю. Вот она. И надписана: Дурновой Евгении. 3 курс. Гумфак. Так вот, просто. Гумфак. Ни больше ни меньше. Представляете себе университет этот, в котором факультет называется «гумфак»? А? А Дурнову Евгению? Представляете? Блондинка, понятно. У них там все блондинки. Неотличимы, как однояйцовые близнецы. Денег у них на это хватает. И каждая в маленьком черном платье. Но прочтите, как пишет! Да это обо мне, о вас, о каждом…

Дурновой евгении. гумфак. 3 курс. повествование

«Он жил один. Хотя нет, с ним жила кошка, которая грела его по ночам. Эта кошка была единственным, что осталось у него от бывшей девушки, кроме боли.

Квартира была не слишком большая, но его устраивала. Раз в неделю к нему приходила убираться женщина, так что он жил в относительной чистоте, и вообще он был аккуратен, он всегда сообщал об этом своим подружкам.

Ничего особенного в его жизни не происходило, все было плавно и размеренно – до вчерашнего дня. Он вдруг ощутил себя одиноким.

Что же произошло?

Неужели он в первый раз по-настоящему любил?

Это чувство ему пришлось испытать впервые, и поэтому сейчас было особенно больно. Он понял, что его бросили.

Он посмотрел в окно. Шел дождь. Обычный сентябрьский дождь. Его любимая погода. В такую погоду все как бы замирало и хорошо думалось. В общем, он решил пойти прогуляться. Погода разделяла его настроение, и от этого ему становилось легче. Он гулял, пока не промок до нитки, но так и не понял, почему ЭТО произошло именно с ним.

Ничего, кроме насморка, ему эта прогулка не дала. «Ну и что? – думал он. – Сейчас насморк, потом воспаление легких или грипп, а потом долгая и мучительная смерть. Но, по крайней мере, виден предел, а вот предела моей тоски что-то не видно…»

Тут он опять понял, как сильно хочет хотя бы увидеть ее. Он не мог осознать, что теперь ему придется жить так. Чем дальше он думал, тем больше понимал, что не может без ее голоса, не может без ее запаха, не может без ее глаз, не может без нее.

Это была какая-то навязчивая идея, и он ничем не мог перебить ее. Везде ему мерещилась она. Он вздрагивал от каждого шороха, думая, что она вернулась, но ее ключи лежали на столе».

Вот и все. Но и это мне понравилось. Ради того, чтобы Амиры и Дурновы Евгении на третьем курсе «гумфака» так обращались со словом, можно было работать.

Биограф продолжает

Только вот матери было тяжело. А кому легко? Кому легко? – спросите вы. Но очень уж она мучалась. Страдала как-то. Но денег ради и свою мать туда возила, в этот «университет» с «гумфаком», – тоже профессора, тоже лекции читать. По зарубежке. Значит, бабка моя им про Архилоха, а мать – как о нем говорить. Как обо всем говорить.

Помню, однажды и меня с собой взяли, в машине подвезти: пришлось и мне с профессорами по дороге. Машину нанимали с шофером. Звали его «Андрюфа». Так он произносил свое имя. Этот несчастный остался совсем не у дел, один с матерью. Приезжал, представьте, из Зеленограда. Там ведь тогда много всяких КБ распустили. Из Зеленограда – и к нам, на Плющиху, чтобы обоих (или все-таки обеих) профессоров (профессорш)до «университета» разом довезти. В одном флаконе. А флакон этот был – «копейка» первого выпуска.

Мы стояли на крыльце нашего дома – бабка, мать и я. Старший профессор тяжело опирался на клюку и на руку младшего. Андрюфа подкатил в своей «копейке». Вышел. Снял дверь. Поставил рядом, на снег. Профессора сели. Шофер приставил дверь на место и притянул снаружи эспандером, знаете, в сине-белую полоску, какими пенсионеры к сумкам на колесах прикрепляют свой жизненный груз. Ну потом и мы с ним сели – и вперед. Доехали.

Выходить – а там здание с колоннами, «университет» этот, бывшая Высшая партшкола на Ленинградке. И вкатывает Андрюфа свою желтую «копейку», крашеную-перекрашеную, во двор, и паркуется эдак независимо между «мерседесами», «вольво» и «ауди». Между новенькими, позавчера из салона, серебристыми в большинстве.

– Светлана Георгиевна, – адресуется он к старшему профессору, перед тем как заняться снятием двери. – Светлана Георгиевна, вы проволоку-то держите, которую я вам сейчас в руки дал, крепко держите, не отпускайте!

– Я и так изо всех сил держу, – с достоинством ответствует моя бабка.

– Держите, держите, не отпускайте!

Ну, тут и я был привлечен к освобождению двери от эспандера, к снятию ее, установке на снег и высадке профессорья.

Профессор-бабка оперлась на руку, предложенную шофером с несколько старомодной галантностью, и они стали подниматься по ступеням «университета». Профессор-мать держалась позади.

– А этот, в валенках, он вам кто? – спросил швейцар, он же охранник, распахивая перед ними дверь.

– Он мне никто, – малодушно, но внешне величественно отреклась бабка. – Это просто добрый человек. Он помог мне подняться по ступенькам.

Это было не первое и отнюдь не последнее предательство, свершившееся у меня на глазах. Но я был удручен. Просто убит. И когда дверь перед Андрюфыным носом захлопнулась, пропустив обеих дам в храм знаний, я сам взял его под руку, подвел к «копейке» и, повернувшись задом к очаровательным хозяйкам «мерседесов», «вольво» и «ауди» – блондинкам в маленьких черных платьях и небрежно накинутых на тонкие плечи норковых шубках – помог доброму человеку в валенках притянуть сине-белым эспандером желтую дверь к корпусу желтого помятого авто.

– Носить шубы из меха диких животных в наше время аморально, – громко, на весь двор, сказал я выпрямляясь. – Ноэми Кэмпбелл предпочитает ходить голой. Она-то может себе это позволить!

Я занял место рядом с водителем, и желтая «копейка» вырулила со двора.

Амор на площади белорусского вокзала (от биографа)

«Что ж уготовано мне?» – думал я, смотря в окно порыжелого от ржавчины авто. Тихо сыпал с серого неба снег на троллейбусы, застывшие в серой каше на пути своем к площади Белорусского вокзала. Неслышно двигались в выхлопном дыму, словно в вате, стада блестящих машин.

«Амор, что ты мне уготовил? Как распознать твои лики? Как пережить твои муки?» – Так обратился я к богу, назвав его именем звучным излюбленной мною латыни. Но площадь молчала, и снег по-прежнему падал и таял. Сквозь пелены и завесы серого снега я видел: горы возносятся к небу, древние дикие горы, и в льдистых потоках резвятся их древние дети – тритоны. Сильные, нежные дети в ярко-пятнистых покровах – словно цветы под прозрачными стеклами оранжереи.

«Древние дикие скалы, закрывающие полнеба, – и крохотные голые создания. Великое и малое, вечность и мгновение, чистая геометрия системы и бездны истории – все для тебя». – Вот что ответил мне Амор и, не оглянувшись, покинул площадь заснеженной мысли.

«Держите деньги в банке», – сквозь снежную кисею прочел я на придорожном постере. Купюры зеленели за стеклом литровой (всего-то!) банки, и тщетно стремилась проникнуть и приникнуть к ним крыса, приподняв на лапах свое жилистое тело много испытавшего терпеливого зверя.

Биограф – о причинах и следствиях (вторая идея спасения и сразу же еще одна)

В те годы – яркие и смутные, пронесшиеся мгновенно, как стремится поток по мостовой в июньскую грозу, пролетевшие весело и тревожно, как мелькают вагоны скорого, – мимо, мимо, – но вот уж тихо и недоуменно смотрит вслед одинокая фигура на полустанке, недвижная на обочине жизни, – в те годы каждый мечтал унестись, не остаться… Как быть? Что предпринять? Предпринимать… Предприниматель… Что затеять, чтобы весело нестись куда-то по какой-то радуге на грозовом небе… Только бы не остаться, не отстать, не опоздать, успеть! Кто не успел – тот опоздал! Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным! Если ты такой умный, так почему тогда такой бедный? Аксиоматика времени…

Мне кажется, что и этот способ спасения, как и все свои мысли, будущий профессор получил созерцая. Так уж устроена материнская мысль, такой у матери дар – думать глазами. Умозрение, в самом прямом и первоначальном смысле.

Случилось это скорее утром, когда в окно скользнули первые, невыносимо яркие лучи, возвестившие начало весны света, – проникли и остановились сияющими пятнами среди таких же пятен оленьей шкуры, разостланной на полу в виде коврика – в него давно обратилась вытертая материнская шуба… А может быть, и вечером, когда взгляд матери, вобравший картины тусклого дня коммерческой «университетской» жизни, потускневший от однообразия студенческих лиц и обличий, устремился к привольным, свободным мазкам божественной кисти, легко нанесшей светлый узор на блестящую шкуру цветка-оленя, – устремился для последнего спасительного утешения перед зияющей бездной ночи.

Смысл задуманного стал мне известен на следующий же день, когда мать вернулась из Ленинки, села за компьютер и, заглядывая в стопку листков-выписок, стала сосредоточенно что-то писать. Картина была знакомая, но стоило мне, как всегда, подойти к ней с уроками и попытаться подсунуть под локоть тетрадку с непосильной для меня задачей по геометрии – мать могла и это, – как я встретил жесткий отпор. Но глаза ее лучились, она улыбалась. Я всмотрелся в листки, исписанные ее летящим почерком, – они выглядели так, будто черной ручкой

кто-то усердно рисовал на белой бумаге чаек. Привычных очертаний греческих букв не было. Была латиница, но еще больше цифр. Адреса, имена и фамилии. UNITED KINGDOM, – читал я. – SCOTLAND. Так на каждом листке. И странные названия: «HIGHLANDER: RED DEER FARM»…
«LOCHALSH DEER PARK»… «THISTLE FARM: RED DEER & ROE»… [21]

Как всегда в эту зиму, шел снег, и, как часто бывало, оказалось, что в школу я не иду: все на целый день уезжают. И я. Я тоже.

Грохотнул лифт, серой пасмурной свежестью дунуло из распахнутой пинком двери, и гром раскатистого хохота возвестил: все мы под крылом Погодина – большого и хищного друга, этакой акулы-няньки, с этой минуты и, по крайней мере, до возвращения. Стало тепло и весело. Праздником стал даже выход на ступени крыльца. Раскрасневшаяся мать и я, обо всем городском уже позабывший, воссели высоко на жестких дерматиновых скамьях новенького армейского УАЗа. Отец в меховом экспедиционном полушубке сел впереди – рядом с НИМ – синеглазым пиратом морей зоологической науки, красавцем и своим парнем, мужиком и профессорским сыном. Профессором у него была мать. А у меня тогда – только бабушка. И прабабушка. И прадедушка. Но и мать, моя мать, подавала определенные надежды. Если бы только не этот ее новый проект…

Как все ее идеи, и эта была проста и, казалось, обеспечена всем необходимым. Олени питаются на неудобьях. Жуют ветки и веники. Все это дешево. Подкормка – не корм. Содержание вольное или вольерное, никаких укрытий на зиму. Частные рестораны множатся, как грибы. Venison – оленина, оленья вырезка с брусникой, – непременное блюдо европейского меню. Спрос обеспечен. А пятнистые олени – это еще и панты. В заповедных лесах средней полосы чувствуют себя как дома. А вот и он, молодой ученый и дитя-предприни-матель, хозяин сотни га вырубов и полян, кустов и кустиков, молодого подроста и гарей, – сидит за баранкой, веселится и балагурит, везет показывать землю – сто тридцать от Москвы, рукой подать. Создаем ООО, чего проще. Все схвачено. НО!!!

Денег надо бы поддомкратить. Огораживание, инфраструктура, работяги, охрана. Да чего там, сообразим. С шотландцами списалась, ребята оказались – класс. Помочь хотят молодой, нарождающейся демократии. Планы даже прислали – и ферм, и бизнеса. У-у-у-мничка ты, профессор наш будущий. Сегодня вот землю смотрим, а там и с деньгами разберемся.

Под колеса, обнажая серые языки сухого коченеющего

асфальта, мела понизуха-поземка. Ветер задувал все сильней, и, словно провода высоковольтки, гудели где-то под самыми тучами заснеженные островерхие ели. Волоколамка бугрилась и топорщилась сурово, непокорно, и вздрагивал, поскрипывая, как на резкой волне северного моря, одинокий, затерянный в зимней пустыне челн первопроходца перестройки – не драккар, так строптивый «козлик».

Чуть было не пробежал он обшарпанное блочное строение администрации Лотошинского района, но тут водитель тормознул и вышел – «отметиться» у знакомых. Видно, тех, кто с землей помогал. В продолговатое боковое окно под брезентовым тентом я видел снег и снег. Впереди, за лобовым стеклом, простирались белые дали, колыхались черные кулисы ближних елей. Ни души, ни собаки – только черные кресты воронов над полями, только их гортанный презрительный лай.

«Козлик» поскакал дальше, по мерзлым буграм проселка. Позади остались низкие черные избы – словно горстка зерен на снегу. Дорога кончилась. УАЗ стал. Мы вышли в снег.

Взрослые осматривались, Погодин хохотал, наслаждаясь лучшим зрелищем в мире – видом своей земли.

И я глядел перед собой, вокруг себя… Не так уж я был мал. Но откуда узнал я, как успел я впитать, как вбирает сухой песок дождевую воду: Гея, богиня, несущая поля и луга, леса и дороги, цветущая весной, роскошно благая летом, плодоносящая в осень, зимой укрытая, как медведица, снежным одеялом, текущая реками, плачущая прозрачными слезами ручьев, ясноглазая и ясноозерная – ничья, и не может она быть чьей-то.

И, слыша за спиной смех Погодина, я отвернулся к деревне. Крайняя избушка была совсем рядом и совсем крохотная. Я подошел ближе. Черные бревна сруба, низкая крыша под грузом снега… Не окно – а повыше моего лица узкая вытесанная продольная щель. Из нее валит пар. Еще шаг – и в щели показались коричневые, внутри розоватые ноздри. Выпустили, фыркнув, новое облако пара и скрылись. Взамен появился черный, словно зрелая слива, огромный глаз, моргнул длинными, как у великана, пушистыми ресницами. На них оседал иней. Стоило протянуть руку, как под ладонь, потом в ладонь ткнулись нежные губы. Задвигались, пожевали руку – мягко, ласково. Снова выглянул глаз.

Но взрослые уже насмотрелись. Все сели, дверь лязгнула, и «козел» запрыгал в обратный путь. Я уснул почти сразу. Дома все смеялись и пили водку, а меня, накормив, уложили. Легкое, мягкое серое крыло козьего платка осеняло меня теплом и запахом стойла. Тем самым, сладким, молочным, что белым

паром вырывался из мохнатых ноздрей. Больше о том дне я ничего не помню.

Документ Word 1 (примечание биографа: далее под аналогичными названиями приводятся файлы из компьютера «dell» в порядке авторской нумерации)

Второй семестр – это радость. Считанные дни короткого февраля – от шипящей поземки и колючей метели до золотого неба и синей капели – мгновение. Студенты легко смеются, и вот уже новая трава, новое солнце, молодой ветер порывисто бьется в вековых тополях бульваров, вот уже сессия. Буря – и все стихает. Все опустело, только позабытый всеми ректор один в кабинете с недоумением разглядывает непонятные, ненужные бумаги…

Прилив, море волнуется, обрушивается девятым валом приемных экзаменов – и море спокойно… Величественно, неторопливо, в короне белого золота вступает в Москву царственный август. Все – прочь. Ни машин, ни прохожих. Шум фонтанов на пустых площадях особенно звучен, и на карнизах по-весеннему лепечут голуби, и рассветы звенят голосами юных синиц – будто позвякивают друг о друга тонкие золотые спицы сказочно прелестной добродетельной девушки: молоко и мед, яблоки и облачная нежность…

Еще несколько золотых отблесков ложатся на тихий сентябрь, но небо хмурится.

Первый семестр – это серьезно. Быстро смолкают студенты – наши неперелетные птицы – ведь впереди суровое время. Время преподавателей – младших и старших, ассистентов, доцентов… Время профессоров. Как на скошенные поля слетается воронье, так сбирается и профессорье на заседания своих советов: ученых, диссертационных, редакционных… Переговариваются, прислушиваются, склоняя головы набок, неторопливо и с удовольствием закусывают… Кипит научная жизнь.

Так наступил октябрь. В те дни я вела дневник. Очень уж напряженной стала борьба за жизнь. Точнее, я впервые осознала свою жизнь именно так – не жизнь это была, нет, не жизнь… Борьба за нее. Жизни как таковой не было. Борьба была.

Я должна была снова записывать факты. Знала, что все умчится, все позабудется… Если не записать, если не тронуть голубых компьютерных полей – ничего не прорастет. И ничего не останется. Будто я и не жила вовсе. Впрочем, что ж? И вправду

ведь – не жила… Это страшное напряжение души, это эпическое спокойствие духа, эта череда странных знаков вместо событий – что это? Разве жизнь? Нет. Это борьба. Агон. Борьба за то, чтобы агон не стал агонией.

Так каждый вечер одной давней, давней осени черным по белому – черной шариковой ручкой на белых страницах блокнота – я писала все: цены на продукты, симптомы болезней, температуру близких мне тел… Цену собственной жизни – ускользающей в пустоту борьбы, срывающейся с утеса в пропасть, потерянной навеки жизни…

Но листочки потом потерялись.

Теперь я пишу на экране.

Октябрь уж наступил… Оленья ферма требовала: теперь или никогда. Институтские аудитории продувались ветрами времени. Ветры метались по улицам и натыкались на стены, просачивались в щели дверей и окон, растекались шипящими сквозняками. Студенты поеживались, студентки томно кутались в куртки и шарфы… «Ты напрасно так бережно кутаешь// Мнешею и грудь в меха…» – звучал издалека холодный голос Серебряного века – северный, столичный голос, которым столетие спустя, в Эпоху перемен, заговорила массовая молодежная культура. Акмеисты ли были низвергнуты, попса ли вознесена на вершины, но все слилось: ни гор, ни долин, ни высокого, ни низменного. И только голос аквилона – ветра подлинно северного, самого чистого, обжигающе леденящего – по-прежнему пел за городом, среди пустынных полей, в прозрачных ветвях берез, в тяжелых темных кулисах елей.

Туда мы и отправились – дооформить документы на землю в Лотошинском районе и взглянуть еще хоть раз на саму землю, убедиться, что тогда, зимой, не привиделось нам все это, чудесное, – ни поле, занесенное снегом поверх желтого бурьяна, ни черная на белом лента ручья, чуть слышно воркующего, многоокого, со светлым взглядом полупрозрачных карих глаз – кремнистых окатышей, ни жесткие щетки кустистой поросли на вырубах.

Ребенка на этот раз оставили дома – день был будний, учебный, один из тех редких осенних дней, когда дитя было почти здорово.

Дорогу я помню до мелочей – вот шелохнулась от крыла сойки еловая ветка, вот метнулся почти под колеса, на серый асфальт, пегий заяц-беляк, поторопившийся с линькой, пели поземка и шины веселого уазика, свистел встречный ветер…

Чем ближе к Лотошину, тем суровей, казалось мне, хмурятся ели, грозят: а ну как не дадим документов, не поставим вам,

москвичам, подписей и печатей, не отдадим наш ручей, наше поле…

От ужаса я так и не вылезла из машины, когда лихой Андрюха Погодин бросил ее к крыльцу райсовета, в последний раз газанув и тут же осадив рывком, как лихач-извозчик. Но наконец я дождалась.

Дверь низкого бетонного здания, серого, как лепешка блиндажа, распахнулась с праздничным хлопком пробки, вылетевшей из бутылки шампанского, – поддалась пинку дерзкой Андрюхиной ноги, молодой, длинной и сильной. В проеме показался сам Погодин. Он улыбался, подняв над головой белую папку.

Отмечать событие решили на поле – уже нашем, точнее, Андрюхином, а еще точнее – принадлежащем теперь его фирме с веселым названием «Терратек». В этом слове мне чудилось что-то рептильное, будто шелестя погромыхивал какой-то чешуйчатый ящер или змея свивала и развивала кольца. Но и поле, и звонкий ручей, и вырубa – до черной каймы леса за ними – все теперь было Терратеково, так что свистящий змеиный призвук этого странного слова быстро затих, слившись с шуршаньем пожухлой осенней травы.

Мой Алексей, Андрюха с папкой в руках, его компаньон – жуирующий сын какого-то академика, с постоянно змеящейся улыбкой тонких красных губ, непрерывно щелкающий крышечкой серебряной походной пепельницы, словно вурдалак языком, еще один наш коллега – рыжебородый приятель мужа, исследователь природы Севера и знаток белых медведей, он же простой российский викинг, способный легко и без мухоморов стать берсерком, и, наконец, я сама, то есть все учредители будущей оленьей фермы, прошли друг за другом след в след, как ирокезы, и со вздохом облегчения опустились в траву у ручья.

Бутылку «Столичной» Андрюха, как и все бывалые путешественники-первопроходцы, положил в ручей. Сын академика раскинулся под октябрьским небом, устремив к нему взгляд таких же белесых глаз, и защелкал серебряной крышечкой. Остальные – простые смертные – открывали консервы, нарезали колбасу и хлеб. Выпили и, жуя, затихли. Я смотрела в сторону.

Острые лезвия сухой осоки, за ними прогалина мха. Серо-желтого, почти бесцветного, мягкого. Мне показалось, что я совсем одна здесь, у ручья, на болоте. И что я совсем другая… Или, наоборот, я самая… Я коснулась красного амулета у горла… И то ли послышался, то ли померещился мне мой собственный – но не мой, нет, совсем чужой тихий голос, даже не голос – так, голосок, какой-то писк или шелест:

– Приютите, маленькие твари, на болоте пришлую беглянку – может, отыщу в туманной мари я себе невидную полянку. Опущусь на мягкий мох устало, обопрусь о сосенку кривую – из еды мне надо очень мало: ягоды пусть птицу боровую на зиму откармливают гладко… А меня зима уж не увидит: я цветок разыскиваю сладкий. Знаю, он ко мне навстречу выйдет – белый венчик в черной паутине ведьминских дурманящих прожилок… Сердце то забьется, то застынет, и забудет все, чем прежде жило… На болоте тихо, очень тихо. Только под корнями кто-то стонет. Это плачет в родах лесачиха… Бедная, ведь и тебя прогонят, нежную, безжалостные дети: солнышко и птичек им покажешь, каждую былиночку на свете – и уйдешь, и ничего не скажешь…

Ветер охолодил мне лоб, и я подняла отяжелевшие веки.

Вдали стайки конопляночек перелетали над пустым полем, будто кто сеял и сеял пригоршнями просяные зерна.

Прямо передо мной, в сплошной стене бурьяна, несколько стеблей чуть дрогнули – или мне показалось? Застыв, я всматривалась в сомкнутый строй желто-серых копий. Они были неживыми, неподвижными, но я чувствовала чей-то взгляд. И – вот оно! Стебли снова чуть шевельнулись, и я увидела глаза. Желто-рыжие, прозрачные, как кремни на дне ручья, сосредоточенно-бесстрастные. Воздух между стенами травы колыхнулся в мою сторону и донес острый запах зверя. Стебли сомкнулись, и глаза исчезли. Ни шороха, движение еле уловимое… Я обернулась к учредителям. Они торопливо наливали по второй. Я механически выпила, что налили, и стала смотреть в ручей. Прозрачные струи мыли и перекатывали желтые и карие камни. «Волчья ферма, – подумала я. – Волчья ферма, вот что здесь такое. А оленей на убой разводить я не смогу».

– А знаете, коллеги, – раздался сдержанный, подчеркнуто мужественный голос рыжебородого викинга, покорителя Арктики и покровителя белых медведей. – На худой конец у меня еще одна идея есть. То есть если профессор денег не найдет. Богатая идея, между прочим. Жаль даже продавать.

Сын академика брезгливо поморщился:

– Да говори, чего уж там. Хорошо сидим! И все налили еще по рюмке.

– Богатая, – повторил первопроходец. – Только, знаете, она может, конечно, показаться немножко не того… То есть как раз того…

– Чего – того? – спросил веселый Погодин. – Это то, что надо – того! В чем дело-то?

– Да дело такое, странное. Ну то есть может показаться. А по

мне, так нормальное, дело как дело! – Голос викинга окреп, послушно выражая высокую степень независимости и деловитости.

– Ну, не томи душу, что ты, едрить твою кочерыжку, быка за рога тянешь, – пророкотал Погодин. – Скоро ехать уж, а ты все телишься. Говори давай, да поскакали.

– Да у меня в последнем туре на «Ямале» – ну, вы знаете, я с лекциями там катаюсь на Северный полюс, туда и обратно, и еще туда и обратно, за хорошие бабки, туристам про медведей рассказываю, экологически народ просвещаю – вот как раз в августе этом встреча одна была. Занятная. Я и забыл как-то, а сейчас вот вспомнилась. Посидел тут с вами, и вроде как предпринимательство во мне шевельнулось.

– А, черт, – гаркнул Погодин. Слово «черт» он выговаривал барственно-округло, так, как делали это в начале века: «чОрт». – Чорт с ним, где там у тебя шевельнулось. Дело в чем?

– Сижу я на ледоколе в баре – нам суточно по 15 баксов на выпивку полагается, «Хенесси» должны наливать, льют, правда, баланду дагестанскую – так сижу я в баре, и тут ко мне немец подваливает. Невзрачный такой господин – пухленький, щечки, весь розовый, кудерьки какието вокруг лысины незаметные… «Герр лектор, – говорит, – как тут, на полюсе, хорошо! Prosit», – говорит. Ну и я отвечаю. Выпили. «У меня к вам как к русскому полярнику есть одно предложение. Вы только не удивляйтесь». Ну я, понятно, отвечаю, что меня мало чем удивишь. «Да нет, – говорит, мое предложение таково, что удивить может. Вы, – говорит, – представляете род моих занятий?» – «Нет, к сожалению, нет». – «Моя жизненная миссия, – продолжает он, потряхивая своими серебристыми кудерьками и розовыми щечками и попивая «Хенесси», у него-то чистейший, – моя жизненная задача и мой бизнес

– а они для меня едины, как, полагаю, и для вас, мой молодой русский друг, – состоят в том, что я тот, кто стоит за спиной у врача». – «???» – «Иначе говоря, я обеспечиваю людям продолжение пути». Ну я, понятно, сник. Вот еще, думаю, не хватало евангелиста какого-нибудь на мою голову, проповедника бродячего. Эк куда его занесло: и на полюсе обращает на путь истинный. Тут полюс. Точка. Какой путь, к едрене-фене? «Да вы вряд ли верно меня поняли, – замечает мой турист, – я не из этих. Я, знаете ли, хозяин… крематориев». «Да? – спрашиваю. – И сколько их у вас?» «Немало, – отвечает. – Все, что есть в фатерланде, – все мои». Ну, я не очень-то и удивился. Подумаешь. Ну, крематории так крематории. Каждому свое. «А в чем же, спрашиваю, ваше ко мне предложение?»

– «А вот в чем. Вы чувствуете, молодой друг мой, особую силу здешних мест? Притя-гательную силу успокоения? Упокоения мятущейся души человеческой?» – «Чувствую, – отвечаю. – Я без Севера не жилец. Давно уже».

«Ну вот и славно, – отвечает любитель сосисок с капустой. – Думаю я, что многие, да, многие мои соотечественники – и ваши богатые русские, «новые русские», а число их растет, и скоро имя им будет легион, – да, многие, весьма многие захотели бы предать этому именно месту останки своих бренных тел, ту, знаете ли, пригоршню праха, что остается от каждого из нас в начале его будущего пути». Я спорить не стал. «Открываем на полюсе постоянную полынью, – говорит немец, – и опускаем с подобающим обрядом – разработать надо, кстати, – в эту точку пространства урны с пригоршней праха. Наладим постоянное сообщение. Специальные туры для родственников. А вас я попрошу мне помочь. Ну, с российской стороны. Многое нужно будет уладить, а? Prosit!» Ну, выпить я с ним выпил, а отказался. Некогда мне, на Врангеля пора, да и неловко как-то. И забыл. А вот сейчас вспомнил. Может, бортануть этого немца, да самим и заняться? Деньжиш будет – хоть из Флориды не вылезай.

Викинг произнес это райское слово – Флорида – с ударением на первом слоге, как все продвинутые россияне. Демократы, космополиты, реформаторы.

Все молчали.

– Ладно, – отозвался сын академика. – Подумать можно. А что, собственно?

– Подумаем, – сказал Алексей, потирая лоб. – Ну это уж на крайний случай. Мрачновато как-то.

– Ну, профессор, а пока дело все-таки за тобой, – пророкотал бархатный погодинский баритон – обаятельный, мужественный, победный. – Думай своей ученой головой, где деньги взять. Как договаривались. Земля

– наша, начальный капитал – ваш. Да ведь ты уж придумала вроде. Колись, профессор! Когда деньги будут?

– Скоро, – сказала я, с отвращением замечая, что сын академика изогнул свои красные губы в саркастическую параболу. Странно, но даже вместе с недоверием им удавалось выражать похоть. Серебряная крышечка щелкнула. – Скоро, – повторила я, сама себе не веря, но стараясь нарочито беспечным тоном убедить в своей серьезности учредителей.

– Скоро – это когда? – женственно-капризно спросили красные губы. И сложились в новую кривую, еще более замысловатую.

– В четверг, – почему-то ответила я. – В четверг должны быть.

Созвонимся.

Алексей смотрел на меня, даже не пытаясь скрыть недоумения.

– Заметано! – воскликнул веселый Погодин, и пикник покатился к концу. Между стеблями травы и над полем потянуло холодом. Подползли сумерки.

УАЗ поскакал в обратный путь, резво, как лошадь в родную конюшню, – сперва запрыгал по проселку, потом полетел по шоссе. Я напряженно думала, молча глядя в окно на черные стены сомкнутых елей. Так. Сегодня звоню Виталине. Завтра – за банкой. Найдем, не можем не найти. Деньги, что она обещала, отдадим Погодину сотоварищи – пусть действуют. Я не буду. Все равно все провалится. Как проваливается сейчас все у всех, то есть у таких, как мы.

Ведь и Погодин с его мужеской бравадой, и сын академика с красной улыбкой, и рыжебородый викинг – это наши. Это мы. Но нет в нас чего-то необходимого для успеха. Для успеха денежного, бытового, крепкохозяйского. Нет, ни о ком из нас не скажешь: он прочно стоит на ногах. Даже о Погодине: его сильные длинные ноги все пытаются врасти, да не в ту почву. А сын академика и вовсе постоянно лежит. Мечтает о чем-то, глядя в небо. О следующей женщине. О мириадах новых. Но каждый талантлив, и по-своему. Только того самого – нет. И не будет никогда. Успех у каждого будет. Придет со временем. Но – не тот. Какой, неизвестно. Но не тот, которого сейчас все ищут, ждут с трепетом, с нетерпеливой и страстной дрожью, как ждут любимую… Любимого… Как ждут те, кому есть кого ждать, кому повезло. Повезло… Согрей мою руку, красный камень!

Боже мой, как же трудно сохранить себя. В этой путанице, что раскинута кругом, словно ловчая сеть, в этой путанице слов и молчания, дел и бездеятельности, надежд и воплощения… И речи так надрывно-уверенны, и жесты так торопливы… И скоро зима… Миновал Покров.

И я погрузилась в какие-то грезы, а может, это были давно забытые воспоминания… Или другая жизнь, или мечты о ней…Он любит сны смотреть, а я глаза открою в рассветных сумерках – и тут же серый свет, как заяц, прыг в окно – и вот уж над горою глаголет ворон, и второй – ему в ответ… А день суров, и пики мощных елей сквозь небо низкое к нордическим богам в чертоги тянутся, в их снежные постели, и волчьи шкуры туч сползают к их ногам… Пока он видит сны, над белым платом поля нечесаных берез свисают волоса, и легким нарыском в бескрайнее раздолье, играя на бегу, строчит свой след лиса…

На этом я и уснула, а уазик все прыгал, все несся, и

встречный ветер уже бросал в стекло пригоршни жесткой и мелкой снежной крупы.

Вечером Виталина отозвалась после первого же гудка. Конечно, ждала она не меня. Обидно, когда звук собственного голоса вызывает такое разочарование. Но сейчас это было не важно. Эпоха перемен уже научила меня кое-чему. Арбатский мудрец как-то сказал о самом умном греке: он поставил свою жизнь как проблему. И решал ее, зачарованный поисками этого решения. Постоянно, неотрывно, ежеминутно. Что ж, и со мной случилось то же. Ведь и я человек, а даже кошка может смотреть на королеву. Почему же мне не думать, ведь и я – Homo sapiens,Homo ludens, Homo agonalis, Homo eloquens [22] , наконец? Не играть, думая? Не бороться, думая и играя? Не говорить об этой мысли, этой игре, этой борьбе, этой речи? Говорить, правда, не с кем – сын еще мал, муж уже велик… Ну так что ж, говорить можно и так. Молча.

Сейчас наступил миг опыта, весьма важного для дальнейшего хода моих молчаливых рассуждений. Потому-то разочарование в голосе подруги не отвлекло меня от главной проблемы – надвигающейся метаморфозы моего наличного «я»… Перемены вероятной или только возможной? Кто это будет – «я» с деньгами? Но размышления пришлось прервать. Виталина проявила не только интерес, но и готовность выступить на поиски клада завтра поутру.

– Как можно раньше, – сказала она. – Очень рано…

Ну, скажем, в девять… Ох, это мне придется в семь вставать…

– Давай в десять – одиннадцать. Мне ведь за руль. А я если не высплюсь, то знаки путаю…

Сошлись на половине десятого. За ужином возникла новая трудность: у Ники поднималась температура. Я думаю даже, что неведомые науке возбудители таинственной болезни моего мужа, прибывшие в его теле на Арбат с далекого озера Лоб-нор в Центральной Азии, обитали теперь и в таком новом, таком тоненьком и нежном теле моего сына – теле, которому вряд ли суждено процветать и благоденствовать в Эпоху перемен. Да и переживет ли оно все это? – с тоской смотрела я на длинную шею, беззащитное горло, на чистую линию скул, под которыми заметны были увеличенные желёзки. Все это значило, что и завтра он не идет в школу, и опять оставить его одного на целый день – я не рассчитывала, что банка так уж сразу дастся нам в руки, – было жестоко.

– Ники, – решилась я наконец. – Послушай, милый. Мне нужно рассказать вам с папой одну очень интересную вещь.

Алексей, в этот вечер еще ни разу не пожаловавшийся на

головную боль, поднял глаза над чашкой чая – горячего плиточного чая с молоком и с сахаром, такого, какой привык пить на Алтае, в Туве и прочих окрестностях Лобнора – все они для меня загадка и неизвестность. Но мне говорили, что чаша этого озера лежит у восточной окраины Такла-макан (что это, я не представляю), к северу от Кунь-Луня (это, кажется, хребет), втысяче километров на юг от русского Алтая, куда ходили староверы в поисках Беловодья.

– Завтра утром мы все поедем искать клад, – начала я. Наступила пауза. Ребенок, верно, слишком ослаб, чтобы энергично радоваться. Алексей не поверил. Но уже после первых моих фраз понял, что все более чем реально, и быстро связал повесть о банке с моими странными обещаниями добыть к четвергу «начальный капитал». Глаза его, помутневшие от тягот лобнорской хвори, ожили, засветились, из стенного шкафа была добыта саперная лопатка и топорик, появился даже фонарь – на всякий случай, если поиски затянутся, – с антресолей сняли рюкзак, приготовили бутерброды и термосы.

– Собаку, конечно, берем, – сказал мой муж. – Пусть животное побегает. Да и потом… лес все-таки. И дело такое… стрёмное.

Проверили, на месте ли намордник Батона. Так назвала нашего среднеазиата хозяйка его матери – суки Алаш, дочери Акбилек – Белые Лапы, вывезенной Алексеем из Туркмении. Акбилек, в свою очередь, была, а может только слыла, дочерью легендарного алабая Акгуша – Белой Птицы, победителя всетуркменских боев. Мы оставили псу кличку Батон, хотя, сохранив окрас и запах свежевыпеченного хлеба, ростом и весом он давно превосходил любого «братка» из самых крепких. Оставили, потому что имя появилось не зря. Батон родился в тот год, когда на мою месячную стипендию докторанта – человека, пишущего докторскую диссертацию и освобожденного на это время от преподавания, будущего профессора, как правило уже не первой молодости и имеющего семью, то есть, на официальном языке чиновников, иждивенцев, – так вот, когда на мою докторантскую стипендию можно было купить 10 (прописью: десять) батонов белого хлеба. И то если достанется. Впрочем, недаром мой арбатский Учитель не только знал, но и верил: ни одно имя не является зря. Просто так, случайно. Это и была его главная заповедь.

А наутро случилось непоправимое. Так, по крайней мере, мне показалось, когда я проснулась – раньше будильника, но не от волнения, а от непривычного света. Утро не было таким уж ранним, но в окно смотрела не октябрьская мгла. И не солнце. Белый свет упал на мою расправленную ладонь, и я увидела все

линии на ней так отчетливо, как видит их, верно, старая цыганка. Я вскочила, и вот я у окна. Все в снегу, все…

Ну, спасибо, удружил, Покров-батюшка. Опоздал ровно настолько, чтобы укрыть банку под землей до весны. Как теперь искать клочок суши размером с носовой платок, клочок, покрытый сухой травой или еловой хвоей – кто знает? – заветный квадратный дециметр, под поверхностью которого таится трехлитровка, наполненная долларами, словно весенней травой, налитая до краев зеленью надежды? Куда тыкать шампурами? И снег скрывает все следы…

А как я всегда любила первый снег! Как ждала, пока мрак поздней осени будет изгнан бело-лунным сиянием наступающей зимы! Какой это всегда был праздник – победа света, чистоты, покоя! Как это бывает, я знаю точно… Успела изучить за долгие годы – начала лет в пять, а сегодня вижу в пятидесятый раз. Даже составила год назад описание этого события, странного, как и все земное. Вот оно.

Акт первый. На рассвете закрываем все небо адской сумрачной завесой. Накопим снега – пусть он прогибает кулисы туч иссиня-черным весом. Второй. Явился снег. Не нужно много. Лишь подчеркнуть оград прямые плечи, мотив решеток и застывший строго абрис ветвей, простертых к нам навстречу. Здесь главное – движенье небосвода и глыб клубящихся, чтоб драма нарастала, чтоб в первый день зимы, творенья года, раскрылось сердце и вострепетало перед явленьем солнца в акте третьем – пусть молнией разит зелено-синей, пускай обрушит золотые плети лучей на тверди согнутую спину! И под землей, в метро, соединятся уста двоих – на миг, перед разлукой: они торопят день, чтоб вновь обняться, и гаснет он с покорным снежным звуком…

Да, написано всего год назад. Кто бы мог подумать, что сегодня меня тоже будет волновать то, что происходит под землей. Но совсем иное. Тогда я плакала – стояла на перроне, ждала поезда и даже не вытирала слез. Я знала: никто не поцелует меня в метро вот так, как целует сейчас этот мужчина эту женщину. Вполне пожилые люди, между прочим. Но – юные. Счастливые. Она поправляет его шарф. Они расстаются. Нет, меня – никто. Никогда, никто так не целовал. Даже в молодости. Все кончено. Кончена жизнь. Зачем она мне без любви… Но поезд, грохоча и сверкая глазами, выдвинул из черной норы свое гибкое тело, зашипел и остановился. Я покорно вступила в раздвинутые двери, смахнула перчаткой слезы, взялась за поручень и унеслась в земные недра.

И осталась жива. И сегодня волнуюсь, желаю, ergoживу. Что

ж, снег снегом, а выбора нет. Я сняла трубку и набрала номер. Виталина выехала из своего Малого Левшинского нам навстречу.

Мы уселись в ее скромной подержанной иномарке. «Форд-скорпио», для одинокой дамы великоват, но в целом практичен, а главное, бандитского внимания не привлекает. Ники, обмотанный под пальтишком серым козьим платком (температура к утру так и не опустилась ниже 37), Батон, громыхающий стальным намордником по стеклам «форда» (желание бдительного охранника и телохранителя видеть, куда везут хозяев, было удовлетворено, и собака заняла место на сиденье у окна), Алексей с саперной лопаткой и шампурами, я – без особых примет. Виталина, невыспавшаяся и взволнованная, последней заняла место за рулем, как и подобает капитану судна, выходящего в открытое море судьбы. Аквилон резвился вовсю, но «форду», длинному и обтекаемому, как акула, даже упрямый северный ветер был нипочем.

По Садовому выехали на Тверскую, пронеслись по Ленинградке – о серьезных пробках в те времена москвичи и не думали, – и вот мы на Волоколамке, ухабистой, как путь из варяг в греки. Мы доехали до перекрестка с небольшим кирпичным зданием – 11–12-м батальоном ДПС – и Виталина повернула налево, судя по указателю, – к Звенигороду. «Странно, – подумала я. – Ведь заброшенный судьбой и строительными бригадами Виталинин коттедж, по ее рассказам, стоит где-то по дороге к нам, то есть к Троицкой, а значит, от развилки направо». Но промолчала: хозяйке видней. Вот начались взгорья и спуски. Шоссе то вздымалось к небесам, то ниспадало в долины бывших оврагов. Значит, мы почти на въезде в Звенигород. Ники спит, Батон устал отслеживать маршрут и уронил голову на лапы, свесив с сиденья тяжелую морду в стальном забрале, Алексей дремлет, приклонив лысину с только затянувшейся язвой мне на плечо. «Язва по форме точно повторяет озеро Лобнор на карте Центральной Азии», – с удивлением замечаю я.

Это могло бы быть последним, что я заметила в жизни.

Визг тормозов, скрежет челюстей двух столкнувшихся капотов, звон и град разбитого стекла – всего этого никто из нас мог бы уже и не слышать. Если бы Виталина заснула не совсем.

Но она погрузилась в сон целиком. Вся. Так, что даже ее ступня в резиновом сапоге поднялась над педалью газа, и скорость упала как раз к тому мгновенью, когда, не заметив знака «Уступи дорогу», заботливо укрытого, как принято на наших дорогах, от взгляда водителей в зарослях придорожных растений, она наехала на белый «жигуль». Тот тоже успел притормозить, так что от удара у «форда-скорпио» только вылетело стекло со

стороны Батона да автомобиль приобрел саркастическую усмешку, как будто акула заметила невинную и беспечную жертву.

«Хорошо, что я усадила всех назад», – подумала я эгоистично, видя, что Виталина невредима, проснулась, слегка ударившись лбом о переднее зеркало, и, потирая несильно ушибленную о руль коленку, выходит навстречу разъяренному водителю «жигуля».

– Дамочка, блин, куда смотришь, твою мать? – орал он, сжав кулаки и надвигаясь на сонно-спокойную Виту. – ДПС вызываем? Или миром?

Гнев звенигородского обывателя был сыгран по системе Брехта, а не Станиславского, с должным отстранением от подлинной эмоции. И хорошо рассчитан: схема ДТП совместными усилиями была составлена, деньги за чуть помятый капот отданы на месте, царапина на лбу звенигородца залеплена пластырем, и мы двинулись к батальону 11–12-му регистрировать происшествие.

– Вита, – все-таки спросила я, кутая Ники в козий платок поверх шапки (Аквилон, пользуясь разбитым окном, проник в теплое нутро «форда»), – а почему ты в Звенигород въехала? Где твоя дача-то бывшая?

– Ах, – отвечала легкомысленная женщина, – я и забыла. То есть не то чтобы забыла. Не забыла, конечно. Просто задумалась. Задумалась – ну и повернула не туда. Понимаешь?

Батальон 11–12-й готовил нам серьезную встречу. «Жигуль», как ни в чем не повинная жертва владелицы иномарки, был отпущен милиционерами незамедлительно. А вот сама иномарка вызвала самые серьезные сомнения. В воздухе витало нечто настолько неприятное, что мы – и Алексей как мужчина, и Ники как больное дитя, и я как почти профессор, – словом, все, кроме Батона, поднялись следом за виновницей ДТП по крутым ступеням туда, где высоко над перекрестком, словно ястребы в гнезде, восседали блюстители порядка на дорогах.

– А «фордик»-то ваш в угоне числится, сударыня, – не отрывая глаз от голубого экрана компьютера, возгласил милиционер. – В угоне, понятно?

– Как? – ахнули мы – дитя, почти профессор, мужчина и женщина.

– А вот так.

– Сколько? – неожиданно хладнокровно произнесла моя подруга.

Наступила совсем уж неприятная пауза. Милиционер смотрел на экран и молчал. Молчали и мы. На пустынном перекрестке не

было ни одной машины, кроме нашего криво оскаленного «форда». Мягкий, влажный снег, как вата, поглощал даже писк синиц. Стояла тишина.

И тут раздался звук. Неожиданный, ни с чем не сообразный и очень громкий. Рядом, прямо у входа в батальон, во всю мощь своего дикого горла завыл волк.

Милиционер подскочил на вертящемся стуле, спрыгнул с него и распахнул дверь. За его спиной собрались другие батальонщики. Вой превратился в стон, заунывной кривой опустился вниз, чтобы тут же вновь взмыть вверх – крещендо.

– Ой, какая собачка! – заголосил вдруг дежурный тонким женским голосом. – Собаченька ты моя! Азиатик! Азиатище ты мой дорогой! Ой, какая собачка-то у вас!

И, птицей слетев со ступеней, строгий постовой поспешил к «форду». Батон, высунув в разбитое окно свою громадную голову и подняв к серому неласковому небу морду в стальной сетке, продолжал выть.

Милиционер почтительно остановился на должном расстоянии. Мы подошли ближе. Батон смолк и попытался протиснуть в окно передние лапы и грудь.

– Место! – мужественно и небрежно произнес

Алексей. – Место, Батоша! Собака послушалась, прижала уши и заскулила.

– Он у меня туркмен, – бросил Алексей, не оборачиваясь. – Из Ашхабада. От победителя всетуркменских боев. Акгуш – слышали, конечно.

Милиционер кивал, выражая свое восхищение стоном и мычанием. Наконец он обрел дар речи. Это выразилось в том, что мы были немедленно и безвозмездно отпущены, приглашены в случае чего заезжать и снабжены парой сарделек для потомка победителя боев.

Только теперь мне ясно, что и нам выпало жить в романтическую эпоху. С нее и начался Период мутаций. Эпоха перемен, как называет наше время мой сын.

А тогда его отправили домой. Пока Батон заглатывал сардельки, а намордник лежал рядом, на перекресток вырулила «Нива» по имени Нюшка. Она легко узнаваема по цвету – только в пионерлагерях и столовках социализма с человеческим лицом (как, впрочем, и с нечеловеческим) бывал такой. Это особый цвет особого напитка под названием «кофе с молоком». Вместе с социализмом исчезли лица, исчез и напиток. Но цвет остался. Нюшкой называл свою машину Алексеев брат. Он же наш дачный сосед. Остановился поздороваться, разглядеть новую ухмылку «форда-скорпио», узнать, какова наша дальнейшая судьба. О ней

мы молчали. Доедем до Истры, там дела по страховке. А Ники отвези, пожалуйста, домой, если не в напряг. То есть если тебе не в лом. А то у него температура поднимается. Ники, крест-накрест обвязанный серым платком, затянутым за спиной узлом, как во времена войн и бедствий, бледный, словно выпавший снег, так и сидел в «фордескорпио». Брату, тоже Николаю, дали ключи от квартиры, я поцеловала свое дитя в горячий лоб, Нюшка вздрогнула, мгновенно приняла с места, понеслась к Москве, разбрызгивая мутную снежную кашу, и исчезла из виду.

Мы сели в «форд» напряженные и растерянные. Виталина, сдвинув брови и, я подозреваю, сжав зубы, тронулась в нужном направлении. Ехали молча. Алексей поглаживал Батона, я смотрела в окно. Наконец «форд» притормозил, свернул на боковую дорогу шириной в одну бетонную плиту и вскоре остановился на обочине, почти под навесом темных еловых веток.

– Достаточно безопасно? – спросила Вита каким-то бесцветным голосом. – А то я могу и в лес въехать. Тут ровно.

– Давай лучше в лес, – ответили мы хором. – Спокойней будет.

Машину поставили так, чтобы с дороги не было видно. Белый низкий «форд» снежным пятном светлел в прогале черных стволов.

Батон, освобожденный от поводка и стальных вериг на морде, с облегчением отряхнулся и забегал кругами. Алексей с саперной лопаткой дал нам с Виталиной по шампуру. Очень быстро мы нашли выворот – упавшую ель с поднятыми к серому небу корнями. А потом еще один, и еще… Ураган сделал место неузнаваемым. Деревья лежали, как воины, павшие на поле битвы. Мы разошлись и уже не видели друг друга за стволами и кустами подроста.

– А! – вскрикнула Вита. – Идите! Ко мне! Сюда, скорей! Алексей! Лопату!

Спотыкаясь о корни, скользя по свежему снегу и старой траве, мы побежали. Виталина стояла, воздев руку, как ветвь. Но не просто так: рука ее держалась за ветку. За ветку елки.

– Смотрите! – проговорила она. Голос дрожал. Она указала на ветку другой рукой. И рука дрожала. Дрожала и ветка, на которой блестело серебристое колечко фольги.

Она отпустила ветку, нашарила в кармане куртки пачку своих тонких безвредных сигарет и не без труда закурила. Желтое пламя зажигалки трепетало, и колеблющийся конец белой «палочки здоровья» никак не мог с ним соприкоснуться.

Затянувшись наконец, Виталина вонзила шампур прямо себе под ноги, чуть не попав в сапог. Стальное острие вошло в снег,

как в масло, до самого крючка на рукоятке. Виталина бросила сигарету и стала тыкать шампуром в землю вокруг себя с отчаянной яростью убийцы. Результат был тот же. И вдруг…

– Копай тут! – бросила она Алексею. – Тут!!!

И еще несколько раз погрузила острие в ровный, усыпанный серой хвоей, свободный от снега квадратик. Он был и вправду не больше детского носового платочка. Шампур входил только до половины. Мне показалось, что я услышала лязг.

Алексей расчехлил саперную лопатку и опустился на колени. Шапку он снял и бросил рядом, прямо в снег. Видно было, что ему жарко. Батон подошел, опустил голову, понюхал шапку, потом землю. Мы с Виталиной замерли.

Уже на третий раз клинок ударился о стекло. Этот звук расслышали все.

– Осторожней! – Виталина упала на колени рядом с Алексеем и протянула руки к лопатке. Он послушно передал ей инструмент. Его лысина покраснела, и сверху мне было видно, как очертания озера Лобнор проступают темным пятном под тонкой кожей.

У меня сильно билось сердце. Перед глазами стоял Ники в сером козьем платке. Я вспомнила, что он так и не выучил таблицу умножения. А это ему так нужно… Бедный, бедный мальчик. Его нужно серьезно обследовать. И лечить. Если бы были деньги… Боже мой, если бы там оказались деньги…

Виталина вынула из земли трехлитровую банку. В ней оказалось зимнее гнездо уховерток, много хвои, несколько горстей серой земли, легкой и тонкой, как прах, четыре мелких камешка, белая толстая личинка с рыжей головой и перемычками на восковом теле, свернувшаяся во сне колечком, и более ничего.

Мы встали, торопливо отряхивая колени. Нам было куда спешить – задержка на посту ГАИ отняла драгоценные часы короткого дня предзимья.

До темноты мы перерыли вокруг все. И все истыкали шампурами. Другой банки не было.

– Нет, – говорила Виталина, выжимая газ на пути в Москву. – Это все-таки не та. Крышки рядом нет. Я же ее крышкой закатала, как компот. Допустим, он выкопал банку, вынул деньги… Нет, глупо. Триста тысяч долларов так просто не вынешь. Я помню, как трудно их было засунуть. Потом что, он с собой консервный нож привез? Мы же вот не взяли… Впрочем, может, у него на перочинном лезвие есть… Нет, банка не та. Любой взял бы ее целиком, как есть, чтобы побыстрей, опасно все-таки: вдруг кто заметил и следит… А уж дома…

Я вспомнила почему-то прилавок в универмаге на Усачевке. В

доме, на котором еще несколькими годами раньше, когда лицо социализма было нечеловеческим, можно было прочитать вывеску: «ПРОМТОВАРЫ». Даже теперь, в романтический период Эпохи перемен, здесь можно купить все, от тканей до кофемолки и шпилек. На этом прилавке мирно лежат крышки для банок, полиэтиленовые и жестяные, странное приспособление с черной ручкой для закатывания домашних консервов, щетки и проволочные мочалки для мытья посуды, затычки для ванн, с цепочкой, хозяйственные ножи, пакетики синьки, черно-желтое мыло – хозяйственное. Лежит здесь и тот предмет, который вызвал в моей памяти эту картину: желтая деревянная ручка со стальной насадкой из двух толстых изогнутых лезвий – одно подлиннее, другое покороче. На ценнике под ним надпись: «БАНКОВСКРЫВАТЕЛЬ». Рядом находился штопор с такой же деревянной ручкой, а под ним надпись: «ПРОБКОИЗВЛЕКАТЕЛЬ».

– Да, – сказал Алексей. – Банка не та. Это какая-то совсем другая банка.

Наступила тишина. Было слышно только, как сладко посапывает Батон, нагулявшийся за день. И все понимали: денег нам не найти. Клада не будет. Все.

– Это он, – с горечью произнесла наконец Вита, выразив то, о чем каждый из нас уже подумал. – Это он, конечно. Боб. Какая же я дура! Какая дура!! Он вырыл ее сразу же, как зарыл. Отвез меня домой, вернулся и вырыл. А мне сказал, что едет на работу. Да, я помню. Он тогда уезжал. И шофера вызывал, снова. Нет, ну надо же быть такой дурой!!! Я же знала, *что* для него деньги. Как я могла думать, что он бросит такую сумму. Мелочь для него, конечно, но тем более. Он скорей миллион потеряет, чем десять баксов. Думал, наверно, что я туда понесусь на следующее утро, одна. Вот и решил опередить. Спохватился. А я до сих пор не спохватилась. Не дни прошли, а год. Даже больше. Идиотка.

– Ну, – утешали мы, – зато ты доверчивый и вообще хороший человек. Прямой. Открытый. Великодушный. Это ведь важнее, правда? И без денег обойдемся.

«Обойдемся, – думала я. – Конечно, обойдемся. Оленья ферма, понятно, не состоится. Ну, и слава богу.

Туда ей и дорога. Хорошо бы Погодин вместо нас никого не нашел. Устроил бы там что-нибудь еще. Или вообще ничего бы не устроил. Это самое лучшее. Пусть так и течет по кремнистым камням тот чистый ручей, токуют тетерева на вырубах, ходят неслышно между стеблями тростника и бурьяна серо-желтые звери с прозрачными янтарными глазами… Но что будет с нами? На что лечить мужа и сына от лобнорской заразы? На что кормить их всех, включая Батона? Думай, милая. Сегодня думай,

сейчас. Как там Ники с температурой? Что делать? Думай».

К тому моменту, когда мы распрощались с Виталиной на Кольце, у Смоленской, и ее «форд-скорпио», взывая к жестянщикам жалостно-кривой усмешкой, отплыл от бортика, чтобы перестроиться в левый ряд для разворота на Малый Левшинский, я все придумала. План спасения, по крайней мере на обозримую перспективу, был готов.

Но на организацию необходимого ушел еще ровно год. Насушенные этой осенью сухари и заквашенная вовремя капуста помогли нам продержаться до лета.

Небо не оставило нас. Весной, приехав на дачу, мы пошли через поле к Истре. Через то поле, что еще не было частным владением и вокруг которого не вилась, как колючая змея, серебристая проволока. Кто-то – новый ли фермер, старый ли колхоз деревни Санниково – не только все вспахал и – как это сказать: взборонил? Нет, наверное, пробороновил поле. И что-то там, в глубине плодородной, хоть и сероватой, земли истринской поймы, скрывалось. Что-то было посажено. Что-то росло. Пока оно не выросло, мы ели щавелевый суп. Но вскоре из земли показалась темная, шершавая поросль. Это была *картошка* . Ею – начиная с коричневых горошин ранним летом и кончая крупными бугристыми клубнями осенью – мы пропитались до начала октября. И, конечно, разной дачной травой, огурцами, кабачками и ягодами.

Комментарий и повествование биографа (четвертая идея спасения)

На этом файл кончился. Продолжения я не нашел, потому беру его на себя.

Я смотрел из окна. Из-под Бородинского моста, казалось, прямо у меня под ногами, текла к Воробьевым горам Москва-река. Вода в гранитных берегах лежала тяжело, словно олово, которое я плавил недавно, отливая в ложке блесну на щуку в тщетной надежде хоть однажды поймать большую рыбу в Истре.

Холодный день. Но погожий. Направо, за пологой аркой моста метро, над серыми быками моста Калининского, возвышалось то страшное, что осталось после штурма Белого дома. Белым он был на три нижние четверти, а выше – черным. Да и белая часть посерела, а все верхние этажи чернели, как сажа. Они и были в саже. Я помню, как весело вилось, выплескиваясь из окон, оранжевое пламя, как резво оно бушевало, охватывая легкомысленную башенку с российским триколором.

Ведь всего две недели назад я точно так же стоял у окна и смотрел, как мой отец пружинистым шагом путешественника уходит по Бородинскому мосту все дальше и дальше, как его фигурка под гнетом громадного рюкзака исчезает между другими муравьями на площади, под простертыми крылами черных орлов на башне Киевского вокзала. Он уезжал в Монголию.

– Что это вертолеты кружат? – спросила его профессор, когда мы пили чай перед расставанием.

– А, – отвечал путешественник, уже отмытый в ванной и переодетый в чистое. – Не бери в голову. Они теперь все время так.

– Послушай, тебе не кажется, что стреляют? – снова спросила мать, когда мы присели на дорожку.

Мы разом, как полагается, встали, отец подошел к окну, выглянул и повернулся к двери.

– Ерунда какая, – торопливо проговорил он, целуя меня на прощанье. – Не выдумывай. Вечно тебе всякая чушь мерещится.

И дверь за ним захлопнулась. С набережной явственно доносился треск очередей. Зазвонил телефон.

– Объявлено чрезвычайное положение, – голосом старого гриба, расплывающегося в лужу слизи, поведала учительница математики, подруга той злобной карлицы, что в начальных классах била меня головой о доску. – Занятий не будет.

Но отец, пригибаясь под рюкзаком и не оглядывась, все же

добрался до метро. Во всяком случае, назад он тогда не вернулся. Вернулся как смог – с полдороги, через неделю, и как раз поспел к выкапыванью банки.

– Так, – сказала профессор, – ты мне поможешь складывать вещи.

Я отошел от окна и оглядел пустую комнату. Не то чтобы пустую – вдоль стен громоздились связки книг и картонные коробки с пожитками. Одиноко чернело фортепьяно – старинный немецкий инструмент. Сколько и каких переездов довелось ему видеть за полторы сотни лет? Пока я не выучился играть на нем «Green sleeves» [23] ?

Грузовое такси с грузчиками заказано было на сегодня. Мы переезжали на новую квартиру. Вернее, на старую новую квартиру. Новую для нас. Старую для отцова друга. Он сдал нам ее, она у него оказалась лишняя.

Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые… Вот мы с профессором, например. Но еще счастливей тот, у кого в роковые минуты оказывается лишняя квартира. То есть такая, в которой некому жить. Ее можно сдать. Это главный капитал москвича – квартира. Свою лишнюю отцов друг сдал нам, а мы сдали нашу нелишнюю, но трехкомнатную и в центре, какой-то фирме. Жить в ней должен был швейцарец. Он хотел бегать трусцой по набережной. Я представил, как он лавирует между танками на мостах и БМП под мостами. Подразумевался и евроремонт – как же швейцарцу без него. За счет фирмы. Это сулило двойную выгоду: на разницу в квартплате мы втроем вполне могли бы жить, а вернуться нам предстояло года через три, когда все, конечно, наладится, в преображенное по европейским стандартам жилище. Это придумал профессор. Выигрыш был и в немедленности спасенья: деньги за первый квартал нам уже выплатили, стоило только заикнуться.

На самом деле все уже было упаковано, даже книги, так что оставались последние мелочи. Всю мебель мы выкинули – теперь я знаю, что родные мне вещи никто бы и не назвал мебелью.

В дверь позвонили грузчики. Началась новая старая жизнь – преподавательская работа и писание книг. То, что нам положено, – сказала профессор. – Хватит уже. Предприниматели из нас никакие.

Но эта положенная нам жизнь и работа должна была оплачиваться нами же – жизнью в чужом доме, опустевшем после смерти неизвестных нам чужих стариков. Почему, я тогда не понял.

Когда все поместилось в кузов и сзади захлопнули борт, из крайней коробки от удара выскочила серебряная столовая ложка.

Она подпрыгнула вверх, перевернулась в прозрачном осеннем воздухе и, блеснув, со звоном упала на асфальт. Она не хотела уезжать отсюда. Профессор свалила все в коробки так поспешно, так горестно-небрежно, что этот незаметный бунт, этот побег удался.

Грузовик тяжело тронулся, сдал назад, вырулил из-под ясеней, на голых ветвях которых крутились под ветром крылатки семян, проехал по упавшим и уже побуревшим листьям и увез нас куда-то.

Документ Word 2 (примечание биографа: «спасение или погибель?» – так я озаглавил бы этот файл)

Я вышла из ворот больницы и остановилась. Горло, взрезанное месяц назад прохладной старческой рукой – призрачно-белой, но сохранившей наработанную десятками лет точность движений, этой щедрой рукой настоящего врача – горло мое все еще ныло. Но красный камень был снова на своем месте – во впадине между ключицами, и тепло поднималось от него, и боль стихала.

– Дорогая, – вспомнился мне спокойный и очень тихий голос профессора перед операцией, – дорогая, что же это они с вами сделали? Ведь еще полчаса… Да, дорогая. Двадцать – тридцать минут – вот сколько вам остается. Потом отек горла. И все. Пойдемте.

И голос, и движения были неторопливы.

– Какие у вас глаза… Сколько страдания… Если бы не глаза…

Операция началась, и я так и не узнала, что бы произошло, если бы не глаза.

– Они лечили вас от ангины, – сказал он после, когда я уже лишена была дара речи, и надолго. Я кивнула.

– А там зрел абсцесс. Целую неделю протянули, пока вы не начали задыхаться. Даже антибиотики не кололи, а?

Я снова кивнула. Ушла невыносимая боль, от которой я неделю не могла глотать даже собственную слюну, металась, стонала и наконец замерла в изнеможении. Тогда-то меня и отвезли в больницу. На машине поликлиники. Теперь горло только саднило, но говорить запретили.

– Да, вот вам наша поликлиника. Специальная, для научных работников. Во всей красе. Я иногда думаю, – продолжал неторопливый тихий голос профессора медицины, – я даже думаю иногда: а вдруг это не случайно? Какой должен быть терапевт, чтобы допустить до этого? Да не может быть, вы слышите, не может быть такого терапевта! Его просто не может су-ще-ство-вать. Не просто не должно – не мо-жет!

Я молча смотрела на старого хирурга, с наслаждением слушала его грассирующую московскую речь – какой голос! Какая грация тонов! Какие чистые гласные! Спокойствие, достоинство, уважение – да, уважение ко мне, обреченной, страдающей и им спасенной. Я подумала об арбатском Учителе. Они далеко не

ровесники – мой заметно старше. Но это люди одной крови. Одной культуры. Профессора, а не профессорье.

Весь следующий месяц мы встречались ежедневно: 2–3 минуты осмотра. Радость этих минут освещала весь день. Я готова была поселиться в этой больнице.

Но Ники, дом – новый старый дом, работа – новая старая работа – ждали. Сил становилось все больше, и захотелось жить.

И вот я на свободе. Домой придется добираться одной – муж опять в экспедиции, Ники в школе. Сил все-таки еще мало. Пришлось прислониться к белому столбу с облезлым сероватым шаром наверху. Я вспомнила эти ворота. Сюда, в измайловскую больницу для научных работников, я приезжала маленькой девочкой – навещать бабушку-профессора. Мы гуляли по парку, по лиственничным аллеям, по дорожкам вокруг клумб. Цвели пионы. Пионы – белые, розовые, черно-красные, траурные, – наполняли своим запахом комнату нашего старого дома у моста, большую из двух маленьких, когда на дубовом столе стоял там бабушкин гроб.

Я прикрыла веки. Точнее, они сами опустились. В больнице, на узкой железной койке, под жидким и слишком жарким больничным одеялом, мне снились сны. Чаще всего такой.

Вот ветер, но холод осеннего дня впервые так странно тревожит меня. Забыто рекой унесенное лето, и вместо реки – лишь гранит парапета: река, как глазница слепая, пуста, но вот я стою под крылом у моста. Я, кажется, вовсе на свете одна – как осень прозрачна, как осень бледна. И вот, подчиняясь неведомой воле, я прочь ухожу из последней юдоли, и издали слышу свой голос: «Пока! Прощайте, родные: мой мост и река!»

Иногда, реже, но постоянно, приходил другой сон. Вот что было в нем.

Сегодня вниз иду по переулку под мост. И мертвым звуком гулко звучат шаги. Река бурлит за гранью гранита. Ветра нет. И вечер странен. Уж к горлу, прямо к горлу подступает ночная черная, чернильная вода. Откуда? Ведь не март, и снег не тает. Но выпал снег – такая вот беда. Такая тьма. Но почему? Сверкают глазами смраднозевые машины, везде огни, и будто нет причины реке так корчиться, как будто бы терзает ее в ночи собак бездомных стая. Такая жизнь – схватив, не отпускает…

Ночью боль усиливалась, становилось душно, и я металась в жару под влажным, серым бельем, сбрасывая жесткое, как доска, вигоневое одеяло. И снилась первая любовь. Июнь. Грозы. И грезились слова, слова, слова…

Что за ураган в предместье пыльном листья рвет, сирень сбивает градом? Даже в скудной жизни час обильный упадает

ревом водопада. Но не баржи стонут под мостами, и не поезд дальний отвечает – это время жадными устами нашу жизнь, как реку, поглощает… Непрестанный гул в крови и жажда, жарких кровель раскаленный полог… Все вернется, ночью, не однажды – сон и стон, и отзвук стона долог…

И раз, только раз мне была во сне дарована встреча. Вот такая. Как в темном, прозрачном, тягучем меду, я медленно рядом с тобою бреду. По красным аллеям осеннего парка медовый закат разливается ярко… О, сладкая нега неспешной беседы! Надмирная радость, крылами победы зовущая в дали, взвихряя потоки ревущего времени в страстные строки… Мы видимся редко, и только во сне. Вполжизни, вполголоса и не вполне живем наяву, возвращаясь друг к другу в единственной точке заветного круга…

Я очнулась, оглянулась в последний раз на ворота больницы и неверными шагами пошла вдоль по улице, по серому холодному тротуару, наступая на листья – нежные бледные пальцы ясеней и изъеденные ржавчиной сердца тополей. Денег на такси не было. А где метро, я не знала. Спрашивать было больно, но пришлось. Метро – подземный путь к неродному дому – разверзлось. Только бы дотянуть. Только бы доехать. И вот я уже в теплом вагоне, его качает, и я сижу. Только не заснуть. И я стала смотреть на людей. Они на меня не смотрели. Никто. Веки все тяжелели.

– Девушка, вам плохо? – услышала я сквозь туман слабости. Мужской голос, глубокий, сострадательный. Страдающий?

– Я не девушка, я профессор, – ответила я механически, как привыкла отвечать, чтобы избавиться от ненужных знакомств. Профессором я стала неприлично рано: в самом начале «перестройки» где-то в самых верхах возникла идея, что нужно радикально омолодить вузовские кадры. Старые, а особенно – почти не старые, стремительно вымирали. Чтобы побыстрей наделать новых профессоров, ввели докторантуру. Туда принимали с тридцати, я написала работу, защитилась, стала доктором наук, и прошедшей весной получила красно-коричневую книжечку с золотыми буквами – аттестат профессора.

– У вас бред. Бедняжка. И я почувствовала прикосновение теплой руки ко лбу.

– Что с вами? Лоб совсем холодный. А я-то думал, жар. Наркотики? Что?

– Я из больницы. После операции на горле.

– Разрешите, я вам помогу. Провожу до дома. Вам куда?

– На Смоленскую, – сказала я. – Ой, нет. Я ошиблась. Теперь нет. Теперь на «Университет», а потом на троллейбусе. Простите,

мне говорить больно.

– Молчите, молчите пока. Вот выйдем из метро на «Университете», тогда и скажете, куда дальше. Но вы уверены, что не путаете?

Я кивнула. И глаза снова закрылись.

Следующий раз сознание прояснилось, когда холодный, вечно бесприютный ветер юго-запада крутанул пыль у выхода. Тот, кто шел рядом со мной и нес мою сумку с больничными вещами – кружка, ложечка, мыльница, больничная одежда, – усадил меня на лавку у стены здания метро, круглого, как тюбетейка. Мы посидели молча, и, держась за его локоть, я двинулась к троллейбусной остановке. Ветер все крутил и крутил пыль, а теперь еще и листья. Они сухо царапали серый асфальт. Троллейбус запел и поплыл вниз по реке Ломоносовского проспекта, мимо серых бастионов знания – химфака, физфака, наконец мимо биофака – мистической воронки, втягивающей в себя любителей природы, как муравьиный лев – мелких насекомых, скользящих по предательским сыпучим песчинкам вниз, вниз… Алексея она уже поглотила, а теперь и Ники, мой единственный, был обречен зоологии…

– Нам пора, постарайтесь встать, – и меня подняли с сиденья, провели к лязгнувшей троллейбусной двери, сняли со ступеней.

– Ну, здесь я вас не оставлю, – сказал голос. – Меня зовут Михаил. А вас? Очень приятно. Давайте дойдем до вашего дома. Я тут рядом живу, на Мосфильмовской. Вы только не бойтесь. Я не буду вас убивать и грабить. Просто у вас такие глаза… простите, вы меня могли понять неверно. Я женат, нормален, и вообще я не к тому. Вот смешно: хочешь помочь человеку, а приходится оправдываться.

Я помотала головой, потом покивала. Мы прошли через скверик у китайского посольства, мимо круглого пруда, где молодые кряквы стряхивали с пестрых крыльев свинцовые брызги, через арку довольно скучного дома и оказались во дворах. Там в три ряда стояли корпуса серых кирпичных восьмиэтажек, из которых мне предстояло выбрать один – тот, в котором на последнем этаже, под крышей, было теперь временное наше пристанище. Убежище. Стация переживания, как на языке своей зоологии сказал бы Алексеев дед. По-моему, он сам и придумал этот термин, когда изучал чуму в песках Азии. Назвал так те места, где грызуны спасаются и выживают во времена резкого падения своей численности при колебаниях оной. То есть во время бедствий. Мора. Стации переживания… Красиво. Драматично.

С выбором корпуса, как всегда, возникли проблемы. Я и

здоровая путала серые дома, вечно плутая от одного к другому. Но, ориентируясь на номера, мы все же подошли к нужному замызганному подъезду. Все-таки самое неприятное – запах. К этому привыкнуть невозможно. Внутри, в полутьме, косо висели на петлях дверцы почтовых ящиков. В нашем ничего не было. Алексей из Коста-Рики ничего не прислал. А может, Ники вынул? Он жил один, на оставленные взрослыми деньги, ходил в школу, время от времени я звонила ему из больницы, но приезжать самому не велела. Как ни странно, теперь болеть он стал реже. Алексей тоже окреп. И уехал в Коста-Рику, кого-то там изучать. Кажется, кустарниковую собаку. Что ж, и такая на свете есть.

– Что у вас дома? – спросил Михаил. – Не подумайте, что я напрашиваюсь на чашку кофе. – Он улыбнулся и посмотрел мне в глаза. – Вы ведь не думаете?

Лампочка на лестничной клетке вдруг ожила: моргнула и тускло засветилась.

Я помотала головой. Мне было больно. И горько. Вот передо мной нормальный человек. Нет, не нормальный. Какое там! Милый. Воспитанный. Сильный. Крупнокрасивый. Яркий. Лучистые глаза. Выразительный рот. Похож на идеального американца: свежий и сильный мужчина-мальчик. Но при этом заботливый, как-то просто, тепло заботливый. Может, он и вообще не человек. Ангел… Архангел? Не бросит свою жену в больнице. А я… Ну вот. Слезы. От слабости. Раньше ведь я не плакала. Не помню уж, когда это со мною было.

– Можно я вас провожу до квартиры? Вам не нужна помощь? Вы ведь месяц дома не были, а возвращаетесь одна. Значит, встретить некому. Что с вами вообще происходит?

Мы вошли в лифт. Скрипя и охая, с хриплыми стонами, он поднял нас наверх. Я отперла дверь, и Батон чуть не сбил меня с ног. На всякий случай надела ему намордник. Наконец, когда пес успокоился и улегся на месте – коврике в крохотном коридоре, мы смогли войти. Не раздеваясь, сели на табуретки у крохотного стола в крохотной кухне. Это была малогабаритная квартира. Не настоящая хрущевка, но вроде. Построена году в шестидесятом.

Квартира… Сейчас жить в ней было невозможно. Восьмилетний Ники не справился с хозяйством. Все в собачьей шерсти – азиат как раз линял, и клочья отпадающего волоса висели у него по бокам и на гачах, как у волка. Посуда, поверхности шкафов, столов и пола, совмещенный сортир, белье, холодильник – все основы жизни нуждались во мне. В моих силах. А их не было.

Заботливый чужой муж помог мне раздеться, напоил чаем, уложил на диван и пошел в магазин. Сквозь сон я слышала шум

пылесоса, звяканье ложек и вилок, стук кастрюль, звон чашек и тарелок. Перед глазами появилась картинка на обложке маминой детской книжки: «Федорино горе». Федора – здоровенная краснорукая бабища в красной же косынке на низком лбу, повязанной узлом на затылке, на одной стороне обложки плачет, отмахиваясь от тараканов (насекомые смеются), на другой – улыбается, окруженная смеющейся и сияющей посудой (тараканов и след простыл).

Я проснулась, когда вернулся из школы Ники. Пообедали, Ники сел делать уроки, а мы обменялись телефонами, и я заперла дверь. Вечером с собакой гуляли мы с Ники, вдвоем.

Утром позвонили из издательства – напомнить, что срок сдачи рукописи заказанного мне учебника – первого за 76 лет учебника по риторике для школы – истекает к новому году. Оставалось два месяца на все про все, включая машинистку. Конь еще не валялся в этом учебнике. А может, на этом? Не знаю.

Ники был уже в школе. Протягивая к телефону руку – не настолько сильную, чтобы удержать на поводке Батона, но вполне способную нажимать на клавиши компьютера и тем более поднять трубку, я уже знала, кто звонит. Ведь больше было некому.

Он поднялся ко мне, и мы погуляли с собакой. Я объяснила про учебник и что с сегодняшнего дня у меня одиночное заточение.

Жизнь протекала так: я писала утром, днем и вечером. Утром с Батоном гуляли мы с Ники, вечером – мы с Михаилом. Горло заживало, а мы разговаривали не умолкая. Спорили. Потом я снова писала – до ночи. Особенно легко мне дался раздел «Искусство спора».

Через месяц, когда силы мои были на исходе, появился Алексей из джунглей Амазонии. Кажется, Коста-Рика в Амазонии. А может, и нет. У меня собственная ментальная географическая карта, и она отнюдь не во всем совпадает с той, что висит на стене в комнате Ники. Гулять с Батоном по вечерам стал Алексей. И по утрам тоже.

Этот месяц я писала утром, днем, вечером и ночью. Последние две недели потребовали водки. Утром и днем я писала, потом шла в магазин, готовила обед, немного ела, выпивала полстакана водки и писала снова.

В эти два месяца я жила так, как не жила никогда после. Я помнила все, что знала. Я помнила всю свою жизнь, от рожденья до смерти. Мне не нужно было смотреть на небо, чтобы видеть звезды, – ведь я непрестанно разговаривала с моим арбатским Учителем, чей прах давно покоился на Ваганькове, под серыми

ветвями кленов и под прахом кленовых листьев, с этих ветвей за семь лет опавших. И я разговаривала с Михаилом. Нет, не наяву. Эти реальные беседы прекратились, как и встречи. Но я вызывала его к себе в комнату своей волей, усаживала в кресло и говорила, о чем хотела. А иногда даже о том, о чем не хотела. Вовсе не хотела. Вряд ли и он подозревал об этом. Нет. Нет, конечно.

И вот настал час победы. Наступил рассвет. Мутный зимний свет чуть брезжил, когда я погасила настольную лампу. Рукопись была готова. Все спали.

Потирая ноющую поясницу, я подошла к окну. Что-то белое, как привидение или узкий сугроб наметенного за ночь снега, с перил балкона смотрело прямо мне в лицо желтыми светящимися глазами с черными центрами крупных зрачков. Полярная сова не шевелилась. И не моргала. Я замерла за стеклом напротив, одной рукой вцепившись в холодный подоконник, другой – защищая свой камень от горящих глаз птицы.

Призрак Севера мягко взмахнул громадными крыльями, и они унесли его в сереющее небо.

Аквилон, аквилон, ветер с полюса, зачем ты прислал ко мне своего вестника? Почто устремил полет его сюда, в город, над крышами серых восьмиэтажек, над утлыми и жалкими антеннами человеческих трущоб? Почто направил его к моему окну и устремил мне в сердце взгляд его неподвижных глаз в этот миг – миг моего торжества, моей победы, моего ликования?

Я опустила усталую голову и побрела к кровати. Через полчаса нужно было будить Ники в школу. Алексея давно уже не было – он разыскивал в Туве красных волков, исчезнувших в тех далеких горах еще в незапамятные времена.

Неделю или две я провела в каком-то полузабытьи. Все это время падал и падал мягкий прозрачный снег – медленно, не спеша, безмятежно. Зима давала мне отдых. И все короче становился день.

Однажды, когда Ники вышел уже в утреннюю тьму, отделявшую его от школьных кабинетов и коридоров, освещенных люминесцентными лампами, когда я вернулась домой после прогулки с Батоном, а за окном побелело, зазвонил телефон. Я стряхивала редкие снежинки с воротника дубленки, с широкой спины собаки, и подходить не торопилась. Зачем? Чтобы услышать, что заболел кто-нибудь из кафедральных коллег и нужно нестись в институт заменять его на занятиях? Или что рукопись моего учебника ни к черту не годится? Но звонки не оборвались, и особая тишина, которая наступает в пустом доме снежным утром, так и не наступала. Я сняла трубку. Телефон в этой квартире, полученной в шестидесятом году молодыми тогда,

а теперь уже мертвыми родителями Алексеева друга, был сделан из тяжелого черного вещества, название которого забылось. И трубка весила как гантель.

– Профессор? Девушка-профессор? – сказал Михаил. – Ты не хочешь сегодня погулять? Съездим ко мне на дачу. Снег нужно с крыши сбросить. Нет, лучше без собаки.

Перед встречей я вышла в магазин, чтобы оставить Ники что-нибудь на обед. Боже мой. Но ведь я не шла. Во всяком случае, ноги мои не касались ни обледеневших ступеней, ни темнеющих между сугробами тропок, протоптанных к магазинам. Пакет с продуктами был невесомым. Да что там – его немалый вес устремлялся ввысь, как воздушный шар. Я вспомнила Шагала. Вот оно откуда. А я и не знала. Дожила до тридцати трех лет – и не знала.

В это утро я почувствовала наконец, что день прибавляется. Что… мерцает мир, и мириады миракул радужного света дрожат опаловой плеядой вокруг любого силуэта. И льда шагреневая кожа сжимается и отступает, и ветер так неосторожен, что о весне напоминает – сухой асфальт шершав и нежен… невольно ждешь прилета чаек, и день так ласково бесснежен, что о зиме уже скучаешь…

Холодало. После электрички мы вдвоем шли через поле. Небо вдруг прояснилось яркой синевой, снег искрился, на изломах сугробов голубели тонкие тени. Каждый шаг отзывался веселым скрипом, и мои красные замшевые сапожки ловко и твердо ступали по крахмальной скатерти неширокой дороги. Машин, казалось, еще не изобрели.

– Нет, ты объясни, что ты хочешь сказать? – настаивал он. – Я не понимаю. Ерунда какая-то. Ну что такое апельсины? При чем тут апельсины?

– Вот представь, – отвечала я. – Представь, что человек приходит в магазин купить апельсины. Ну, берет сетку. (Тогда апельсины, картошку и прочее упаковывали в разноцветные плетенки из синтетических волокон, и плоды природы, плотно прижавшись друг к другу, смотрели сквозь сети как печальные пленники.) Ну и все как обычно. Он даже и не взглянет пристально.

– А ты? В чем тут пример твоей… исключительности? Своеобразия? Ты-то чем отличаешься?

– Я… Ну, для меня это всегда новые апельсины. И даже вообще не апельсины. Нечто неизвестное. Неведомое. Я будто в первый раз это вижу. И смотрю так, будто вижу в первый раз. И чувствую запах.

– Ну и я чувствую, подумаешь… Апельсины, они, знаешь,

ароматные.

– Нет, я не умею объяснить. Но я давно заметила… Ну, что со мной что-то не так. Я не лучше других и не хуже. Надеюсь, не хуже. Это не о том. Это вовсе не вопрос оценки, понимаешь? Я этим не хвастаюсь, просто хочу объяснить. Мне кажется, тебе нужно об этом знать. Или не нужно, не знаю. Может, даже наверное, я говорю больше для себя. Я вообще думаю, только когда го ворю. Или когда пишу, это все равно. В общем, я все вижу не совсем так, как другие.

– Конечно, каждый видит по-своему. Люди, знаешь, разные. Не одна ты такая… Такая…

– Одна. Одна такая. Именно потому что я тоже человек. Имею право отличаться от других и отличаюсь. Я просто хотела объяснить, чем именно. Как мне это представляется.

– Ну-ну!

– Ну и вот. Для меня это не совсем апельсины. Я вижу их свет. Их… душу. А! Вот оно. Я вижу их идею. Idea, ἰδέα. Так сказал бы мой арбатский Учитель. Я вижу идею зрительно, как каркас или скелет, ну вот как эту рябину. На ней ни листьев, ни ягод. Но я знаю – это она. По стволу и рисунку ветвей.

– Милое дело! Ты соображаешь, что говоришь? Какой у апельсина каркас? И тем более скелет!

– А вот один мой ученик сказал так, правда, не об апельсине, а о динозавре. Он сказал: динозавр – это на самом деле апельсин, а душа его – это косточки внутри апельсина. Здорово, правда?

– Глупость какая!

– Нет, серьезно. Каркас – в смысле рисунок сущностных признаков. У каждой вещи – свой.

– Сущностных?

– Ну да. Аристотель это говорил, то ли в конце «Первой метафизики», то ли в начале «Второй», не помню. Что у всякой вещи есть присущее и привходящее.

– Например?

– Например, вот я профессор. У любого профессора сущностные признаки, без которых он вовсе и не профессор, – это какие? А правда, какие? Не аттестат же?

– Ну, ты сама знаешь. Докторская степень. Ученики. Лекционные курсы. Монографии.

– Да, но у теперешних профессоров все это есть, а вот арбатский Профессор называл их почему-то «профессорье». Он-то был настоящий. Любовь нужна. Filia. *Филия* . Страстная привязанность к своему предмету. Страстный напряженный интерес. Редко это теперь. Ну, так или иначе, мы назвали сущностные признаки, из них *филия* главный. Вокруг все

остальные в определенном порядке. Вот и каркас.

– А привходящие?

– Те, что могут быть или не быть, а профессор все равно остается.

– Влюбленный профессор?

– Ну… да. Девушка-профессор…Так. Но вот что важно. Я ведь не только умом понимаю: вот есть у апельсина такой признак, он главный, а вот и другие признаки, и все это идея апельсина. Дело в том, что я эту идею вижу глазами – зрительно вижу, вот как тебя. Я вижу идею в ее облике. Облик называется eikon – *эйкон* – εἰκο-ν. Отсюда слово икона. А, вот что я вижу. Для этого у греков есть особое слово. Я вижу *эйдос. Эйдос* , εἶδος – это идея плюс ее зрительный облик. Получается: умозрение. Умо-зрение.

– Боже!

– Да. И вот я смотрю сквозь сетку на апельсины, и они светятся, внутри огонь, будто горит свеча. Но я еще чувствую запах – знаешь, как бывает, когда сожмешь оранжевую корку и брызнет эфирное масло… И этот вкус…

– Ну и что, у тебя так каждый раз? Умозрительная треска? Сосиски?

– Нет, знаешь ли, треска – мороженая, вся в льдистых иглах, бесформенная, даже без головы и без цвета, в полиэтилене… а тем более сосиски – это уж артефакты. Какая у них идея? Хотя и с ними бывает. «Сосиски с капустой я очень люблю, люблю, люблю, лю-лю-лю»… По-моему, это какой-то немецкий марш. Или это из «Девушки моей мечты?»

– Вот уж не знаю. Знаю только, что для сосисок придется вернуться в Москву. У меня только чай на даче.

Но я не чувствовала никакого желания есть. Я бы не смогла проглотить сейчас ни кусочка самой вкусной, самой жирной немецкой колбаски. Наверное, это тоже признак любви. Сущностный признак, то есть присущий. Голод был, и очень сильный, но он не распространялся на пищу физическую. Я умирала от голода. И мои красные сапожки на самом деле не касались снега на дороге. А снег – свежий, с голубыми тенями – почему-то хрустел. И над ним витал чудесный запах зеленых яблок.

Дорога кончилась у калитки в старом штакетнике. Через него перевешивались черные тонкие ветки шиповника, спиреи, бересклета, укрытые пуховыми подушками. Холодало, и я похлопывала вышитыми замшевыми варежками. В моем детстве такие назывались голицами. Ники этого слова уже не знает.

Крыльцо старой дачи скрипнуло, запела и дверь. В узких и высоких комнатах свет был уже синим. Дрова разгорелись быстро,

прозрачные капли смолы трещали, сгорая теплым и тонким дымом.

У печки на табуретке было тепло, но он грел мои руки в своих, присев на корточки. С портрета на стене – старинного, в овальной раме – смотрел вниз голубоглазый предок. А может, это была дама? Я помню только глаза. Да, чуть выпуклые глаза предка были как тени на снегу. И еще помню, что разговор не затихал ни на минуту, будто любая пауза могла разрушить весь этот хрупкий, сложный, бесценный мир.

И особенно хорошо я помню то чувство. Чувство изгоя, чужака, отверженного. Мне в этот мир не попасть. Я навсегда останусь на дороге – там мое место. На дороге домой – нет, не домой, ведь своего подлинного дома у меня уже не было. Мой в этом мире – только красный сердолик на серебряной цепочке…

На обратном пути мне было горько и тягостно, и разговор даже затихал временами. Ведь бояться было уже нечего. Все пропало. Прошло. Время скользнуло мимо, унеслось вдаль через снежные поля, скрылось там, где катился к синему лесу апельсин солнца.

Дома оказалось, что одна голица потерялась. Тут я и расплакалась. Из-за варежки, конечно. Где я теперь найду такие – ведь те, черные, расшитые розами, были бабушкины. Исчезла частица моего мира – незабываемая, невосполнимая. А вот его мир остался целым. Это было несправедливо. И я никак не могла унять слезы. Ники утешал, потом сам расплакался, и уже я утешала его, а потом мы вместе пошли выводить Батона.

За учебник дали аванс. До гонорара было еще далеко, но вдруг, неожиданно, все равно наступила иная жизнь. Непонятно почему, но книги стали писаться одна за другой, быстро и радостно, и мне ничего не оставалось, как приветствовать их. И способствовать их появлению. Казалось, это вовсе не я их пишу, а кто-то водит моей рукой, чьи-то мысли стремятся на волю, к людям, на свет божий, на белый лист – а я только медиум, передатчик. Или вестник.

Следующая после учебника книга, вторая в моей жизни, родилась так. Еще до выхода в свет учебника на моей кафедре возникло недовольство. Внезапно оказалось, что лучше мне преподавать не на филфаке, а историкам. Курс, который мне предстояло читать, назвали «Культура речи учителя». Об этом предмете я знала немногое. Учителей видела только в школе. Собственной. И еще видела ту учительницу, которая била Ники затылком о доску, чтобы он лучше запомнил таблицу умножения. Но начинался новый семестр, день разгорался все раньше и раньше, и весна света была уже близко. Мои лекции на втором курсе были

поставлены на 8.30 утра, по субботам.

Впервые я вошла в большую лекционную аудиторию нового здания педуниверситета на юго-западе на заре. Амфитеатр круто спускался к сцене. За моей спиной оказалась доска. Я провела по ней принесенным с собой куском мела. Белый брусок не оставил на изрытой временем коричневой поверхности ни следа. Я положила его на стол. Тот покачнулся. Пока я совершала все эти подготовительные действия, в пространстве стали скапливаться студенты. Это были молодые сильные люди. Они жаждали развлечения или, по крайней мере, дельной науки. По выступу стены, высоко над ними, неспешно прошла кошка. Посидела, умываясь, и спрыгнула в недра огромного рояля. Рояль стоял на сцене рядом со мной, крышка его была давно оторвана, и внутренность служила большой урной. Оттуда торчали струны, но кошка ловко приземлилась на пружинистую груду мусора.

Пора было начинать. Гладиатору рано или поздно приходится выходить на арену. Я подняла руку к горлу, коснулась своего камня и сделала шаг вперед.

– Я прочту вам курс риторики, – сказала я громко. – Мало кто знает, что это такое. А я – знаю. Риторика – это я.

Раздался одобрительный свист – уверенный и громкий. Этот звук пронзил мое сердце. Мне показалось, что первая лекция удалась.

Но уже в 8.30 второй субботы я услышала следующее:

– Вот вы все правильно говорите. Интересно даже. Но… Искры нет. Нет искры. Зажигание не работает. Вы нам лучше расскажите, как ОНИ обманывают. Как ОНИ нас обманывают. Вы газеты читаете? Телик смотрите хоть когда?

Я обещала. Обещания надо выполнять, – гласит основной принцип римского права. И я отдавала дни анализу газетных текстов газет и телевизионной пропаганды. А ночью писала об этом лекции. В результате появилась новая дисциплина – сравнительно-историческая риторика. И сама собой написалась книга – курс тех самых лекций. Я читала их сильным молодым людям, по субботам к 8.30 наполнявшим амфитеатр, чтобы посмотреть, как я – единственный гладиатор – вела бой с собой же под их свист и крики. Да, слушала еще кошка. Скоро кошек стало больше, появилась и бездомная собака, ранней весной нашедшая тепло среди нас. Временами она даже играла, таская по сцене куски картонных коробок.

И самое главное – от лекции к лекции студенты все прибывали. А книга показалась интересной, моментально была опубликована и принесла еще денег. На гонорар мы купили в костромской деревне, в местах, куда не заходил даже Иван

Сусанин, кирпича и леса, чтобы подвести под наш дом новый фундамент. Сам дом был оплачен гонораром за книгу о кошках. В те времена издатели еще не успели опомниться и платили авторам, как в Советском Союзе, – много и честно.

Книги следовали друг за другом, и все складывалось. Зато разладилось в институте, на кафедре. Слишком много книг. Слишком серьезный учебник. А автор один. Не по-товарищески как-то. До тех пор мне и в голову не приходило, что если человек пишет книгу, то по неписаному советскому закону он обязан тащить за собой весь коллектив. Что у него должны быть соавторы. Какие соавторы, – наивно удивлялась я, – ведь это я не спала ночами, это я, шатаясь от усталости, читала лекции, это я думала, думала, думала… Это я отказывалась от кино и гостей, от приятного и бесполезного, это я наполняла высоким напряжением каждую минуту уходящих – улетавших дней… Какие соавторы? Тетки, которые не жалели времени, чтобы покормить своих детей вкусненьким, сделать на зиму икру из синеньких, спешили домой, чтобы не пропустить сериал, а в метро читали белые книжечки с яркой картинкой на обложке: Он (на карих глазах слезы) обнимает Ее (синие глаза полузакрыты отстрасти)? Но работать на кафедре становилось невозможно.

И, как всегда в ключевые мгновения моей жизни, зазвонил телефон. Кто же на этот раз – архангел или Мефистофель? Кто бы то ни был, а ждать себя долго он не заставил.

– Пора тебе, деточка, к нам, – услышала я знакомый с детства голос высокой персоны. Самой высокой, с которой наша семья поддерживала отношения. Точнее, конечно, наоборот. Еще недавно персона совсем высокая, ныне ректор коммерческого университета – первого, несколькими годами ранее – советско-американского. То есть, конечно, американо-советского. А теперь – просто первого коммерческого университета в Москве.

Пора, пора. Ты у нас по совместительству уже поработала. Пора и насовсем. Приходи ко мне в университет, поговорим. Жду.

И я пошла. Все ослепляло: по-прежнему, но и как-то по-новому – туалеты, лестницы, стены, на стенах – портреты Основателей. Ведь я могу принять решение – и стану не просто приходящим, приблудным лектором – а блестящим профессором этого блестящего вуза. Вершины власти сияли здесь, как Джомолунгма. Сверкали автомобили и подъезд, мерцали глаза студенток, водопадами лились и искрились их длинные белые и черные волосы, обработанные лучшими шампунями и кондиционерами.

Но как я – та самая, что привыкла читать лекции бездомным собакам и кошкам, а заодно мальчишкам в свитерах, драных на

локтях, девчонкам, которые в весенних сумерках синели от голода, – как я осмелюсь учить чему-то этих белозубых повелителей жизни?

И я согласилась. Все, в общем, было понятно. Благодеяние в виде космической по моим земным меркам зарплаты предлагалось не в знак старой семейной дружбы и не просто так. Просто так в этом блистательном мире заоблачных высот ничего не бывает. Я уже была профессором, а профессора – штатные, не совместители – нужны были здесь для министерских формальностей. В минимальном количестве, но нужны. Какой университет без профессора? Смешно! И вот, чтобы в министерстве не рассмеялись, а дали лицензию на образовательную деятельность, а позже и аккредитацию, подтвердив университетский статус заведения с блистательными туалетами, я и понадобилась.

Но я согласилась. И когда я впервые очутилась у кассы и взяла в руки обещанные деньги, мне все казалось, что это недоразумение, зарплату придется вернуть, а вот мне вернуться домой уже не придется. Достоевский какой-то. «Бедные люди». Но все оказалось не так.

И я стала читать лекции в маленьких комфортабельных комнатах, и студентки слушали меня, раскинувшись в низких и мягких креслах, а их сияющие волосы свисали чуть не до полу, перекинутые через велюровые спинки. Девушки чирикали и ворковали, нежно смеялись, отвечая волшебным трелям первых мобильных телефонов и время от времени ругались матом, а я – тосковала.

Я тосковала до боли. До слез. Тосковала о нескладных мальчиках в слишком коротких брюках – горячих спорщиках, остроумных, серьезных и знающих, об их подругах – гордых, смешных и верных, в вытертых дешевых джинсах и вязанных на спицах полосатых шарфах… О той весне, первой и единственной весне моего преподавательского счастья… Но… Облака легли на траву, по реке поплыли ивы…Время вешнее лукаво, быстроного, несчастливо, как беспутная девчонка, та, гордячка, щеголиха, что смеется слишком звонко, только плачет очень тихо… Тосковала я о лестницах, где курила со своими студентами и пила горячий кофе из термоса, о холодных аудиториях с поломанными стульями. И особенно часто тосковала о той, большой, амфитеатром, в которой некогда состоялся ранним утром седьмого февраля мой риторический дебют, а через неделю, на следующей лекции, четырнадцатого, в день святого Валентина, мне на сцену уже бросали самодельные яркие валентинки, как римляне кидали два тысячелетия назад лавровые ветви

гладиаторам – за мужество. Да, тосковала об этом самом дне, когда прозвучали слова об искре. Когда сработало зажигание. И все зажглось.

Но вернуться было, как всегда, невозможно. «Смерть мы привыкли видеть впереди, а ведь большая часть ее у нас за плечами», – поучал умник Сенека своего младшего друга Луцилия. Вот и эта часть жизни отошла туда – за плечи, к смерти.

И мне не хватало ветра… Упругого, теплого ветра начала лета, начала жизни… Я еще помнила это: ветер, и вот уж разрыв в облаках, вихрь растревоженных веток… снова качает июнь на руках, в море горячего света – юных, стремящихся в горнюю высь, чтоб взапуски со стрижами с криком ловить непокорную мысль в чистых небесных скрижалях…

Впереди же лежала пустыня безопасного, вполне обеспеченного бытия. И снова я паковала вещи – как мало их было, однако! Операция со съемом-сдачей квартир была уже не нужна. Можно было отправляться в родной дом над мостом и поутру смотреть из окна на реку, на ворон – зимой, на чаек – весной и осенью, на стрижей – летом, а вечерами гулять с Батоном по набережной. И смотреть на небо. А там… Пламенный жар померанца, льдистая зелень шартреза, пылкость испанского танца, шелковый шлейф полонеза… Там на закате безмолвном, небо, стрижами играя, жизнь мою пишет условно знаками горнего рая…

Но как-то зимним утром в моем кабинете – в коммерческом университете у меня был в те времена собственный кабинет с офисной мебелью, кабинет декана факультета, ведь деканом была я, – зазвонил телефон. Видно, наступил очередной ключевой момент моей жизни. И я почувствовала это. Как? Не знаю. Звонок был самый обычный.

– Александра Александровна? – спросил спокойный и звучный голос.

– Да, я слушаю вас.

– Это беспокоит Сергей Сергеич из ФСБ. Вы не могли бы нам помочь?

– Простите, – сказала я быстро. – У меня через пять минут пара. Это значит – лекция. Я сейчас должна сосредоточиться. Прошу вас, позвоните через полтора часа.

– Хорошо, спасибо, – ответил Сергей Сергеич из ФСБ, и в трубке раздались короткие гудки.

Никакой лекции у меня не было, и полтора часа я посвятила обдумыванию ответа. Как отказаться? В том, что нужно отказаться, сомнений у меня не было. Ни малейших. Но и в голове ничего не было. Я сидела в своем черном кожаном кресле,

в функции которого, как каждого достойного кресла руководителя, входило легкое покачивание вперед-назад, и качалась. Качалась, поглаживая бороздки знаков на гладкой поверхности теплого камня у горла. Наконец мой взгляд сфокусировался на заголовке свежей «Независимой газеты». Там значилось: «Журналистика в МГУ: профессионалы – практикам». Но ведь и я руководила факультетом журналистики. Потому и качалась в кресле, что была деканом журналистики в коммерческом университете. Я взяла газету и всмотрелась пристальней. Это было точно то, что требовалось.

С легким сердцем я подняла трубку.

– Сергей Сергеич? – уточнила я, и голос зазвенел серебром. – Я ведь только преподаватель, а не ученый. Так что вопросы атрибуции текстов мне практически мало знакомы.

– Значит, вы не хотите нам помочь? – Реплика была настолько традиционной, что сам Сергей Сергеич не удержался и весело хмыкнул.

– Хотела бы, но не могу.

– Значит, не хотите. – Интонация на этот раз была утвердительной, и хмыканья я не услышала. Как и веселья.

– Отчего же? Я могу рекомендовать вам тех, кто может. И захочет.

– Да уж сделайте милость.

– Запишите телефон. Это специалисты с факультета журналистики МГУ. Лучше не бывает. – И я продиктовала то, что нашла в «Независимой», будто от себя.

– Значит, все-таки не хотите. – И он снова хмыкнул, чем ситуация и разрешилась. Как показало время, навсегда.

После я набралась однажды храбрости и спросила у своего ректора – Мефистофеля – в том, что это был именно Мефисто, сомневаться уже не приходилось:

– Простите мне, но хотелось бы знать… Если найдете нужным ответить, конечно… Вы ведь хорошо знакомы… с работой служб безопасности…

Наступила пауза.

– Поверь мне, девочка, – сказал он бархатным голосом, будто перед ним сидела Маргарита, а сам он был Фауст. – Поверь мне: за деньги я для них никогда ничего не делал.

Слова «за деньги» выделены были курсивом.

– Конечно, конечно, – сказала я поспешно. – Я так и думала. За деньги, конечно, ничего… Но зато все – за власть. За образ жизни. Деньги? Какая чепуха.

И еще один был звонок, которому не суждено было изменить мою жизнь. Звонок с Джомолунгмы. Или, по крайней мере, с

Казбека.

– Александра Александровна, дорогая, можно я к вам приеду? Сегодня? Сейчас? Я прочитала все, что вы написали!

– Очень сомнительно. Зачем это вам? Кто вы такая?

– Я доверенное лицо и помощник депутата N. Его нужно научить говорить.

– А зачем? Он ведь и так депутат.

– Ну, Александра Александровна, ну, милая, ну, зачем вы так? Он очень, очень, очень хороший человек. Поверьте мне.

Голос другой, а фраза та же: поверь мне, девочка, поверь… Мефистофель устами Фауста перед невинной Маргаритой… Несчастной – но невинной ли?

– Да я верю, верю. Но, извините, не совсем понимаю…

– Ну, он у нас заикается немножко… И, знаете, такой стеснительный, такой стеснительный…

– Это депутат-то? N? Не верю.

– Нет, вы поверите, когда поближе с ним познакомитесь. Это золотой человек, поверьте, поверьте. У него сейчас такой трудный период… Ну, можно я к вам приеду?

– Будьте добры, постарайтесь все же сказать, что вам конкретно нужно.

– Хорошо. Мы – я от его лица – предлагаем вести его предвыборную кампанию – ну, в части всего, что связано с публичными текстами. Писать, готовить, сопровождать…

И снова мне пришлось прибегнуть к уже отработанной тактике.

– К сожалению, мне придется отказаться. Я не практик, а преподаватель. Хуже – даже профессор. Теоретик. И я не выполняю работу по частным заказам. Иначе мне придется бросить любимую работу, бросить студентов, аспирантов… Ну, вы понимаете? Сломать всю жизнь.

Мое хныканье про любимую работу возымело успех. В обществе до сих пор распространено поверье, что учителя и преподаватели любят свою работу. Иначе зачем же делают ее за такие деньги?

Почему я снова предпочла горным хребтам долины – нет, ущелья этой псевдоуниверситетской жизни? Не знаю. Каким-то страшным холодом веяло на меня с высот власти, и я, подобно горьковскому пингвину (с ударением на первом слоге, что всегда меня поражало: громадный Горький – и рядом маленький пингвин в черном атласном фраке и белоснежной манишке), – я вновь спрятала тело в своем ущелье. Глупо? Робко? Возможно. Но тело было вовсе не жирное.

Так и текла обеспеченная, размеренная, безрадостная жизнь.

Безрадостная для меня. Ники и Алексей не скучали. Особенно Ники. Или особенно – Алексей?

Продолжение биографа

Мой родной дом – это дача. Там я всегда был в безопасности. Там под прозрачным стеклом весенней лужи я впервые увидел тритона. Там не было учителей, школы, неволи. Но дача – это отец. Точнее, дача – это прадед, его дом. Гнездо, им свитое, – нет, скорее нора, им выкопанная у корней гигантской ели и двух старых сосен. Коренастый, низкорослый, упрямый, это мой прадед, декан биофака, предводитель зоологических ратей, глава хищных и травоядных, крылатых и ползучих, насупив кустистые черные брови, рыл нору для своей семьи – и вырыл. Вот уж седьмой десяток пошел, как обитают в ней отцовские родичи.

А у моего профессора дом был только в Москве. На берегу реки, у моста. Над мостом. Под крышей каменной громады – высоко, как гнездо стрижа. Но мать всегда хотела на волю. Из города. Гонораров хватило только на деревенский дом в глухой деревне отдаленной северо-восточной губернии. Там, где загнездились уже другие профессора, получившие за свои книги кое-какие деньги, чтобы передать их в дрожащие от водки руки потомков умерших бабушек – единственных обитательниц черных падающих изб в опустевших селениях родины.

Она выбрала дом высоко над рекой – прежде судоходной, широкой, не чета Москве-реке, а ныне дикой, непроходимым лесом заросшей по берегам. И дом был высокий, светлый, и венцы его из десятиметровых сосен, посеревшие снаружи от дождей и северного ветра, внутри розовели и все еще способны были заплакать душистой янтарной слезой. Это был дом для нее. Без сомненья. На гонорар за «Русского Сократа» – так она назвала курс лекций, прочитанных на истфаке педа, – назвала в честь своего арбатского мудреца, дом поставили на новый фундамент: помню, как выкатывали из-под сруба старые венцы, лиственничные, в два моих обхвата, черные, как тело водяного или лешего, век продержавшие дом, но уже ненадежные, косо осевшие… Как подвозили на стареньком тракторе белый кирпич и ставили сруб на столбы… Как радовалась мать этому гнезду – первому собственному, своему… Как чинили баню, очищали чердак и бревенчатый двор, а под ним – хлев, овчарню, свинарник и стойло…

У дома мы посадили три сосенки. Двадцать лет я там не был. И мать не была. Собирается каждый год – да некому с ней поехать. А одной, без машины – куда? Одна она и дом не отопрет. Сосенки были тогда чуть выше моего колена.

Мы ходили в гости – километров за шесть-семь, в соседние

деревни, к знакомым. К коллегам отца – у матери там никого не было. В окрестностях селились биологи: в унженских комариных лесах, напротив бывшего Унжлага, основали стационар академического института, где работал отец, и возник новый лагерь. Ну, не лагерь, конечно, – скорее выселки. Поселение профессоров, доцентов, младших и старших научных сотрудников. Тех, у кого денег не хватало на подмосковную жизнь.

Они появлялись на берегах Унжи весной, с перелетными птицами, профессора – из Москвы, пернатые – с юга. Летели на север, к гнездовьям. Птицы выводили и к осени поднимали на крыло птенцов, ученые растили детей – выпаивали молоком, выкармливали лесной ягодой и грибами – и к осени поднимали на крыло новые статьи, а кто и книги.

Дорога от нашего дома спускалась вниз, к Унже, и вела сначала по берегу, через ручей и овраг. В сумерках от оврага доносился взлай лисы – звонкий и тоскливый, как случайный выстрел. Через дорогу, уже внизу, у реки, в это же время перелетала ястребиная сова. Сирин. Ее некрупное серое тело веретеном пронизывало тонкую, сперва еле заметную, кисею тумана над заливным лугом. И мне удавалось разглядеть длинный полосатый хвост.

По другую сторону оврага дорога уходила вверх, через луга соседней деревни Никитино, и взбиралась на пологие холмы, к бывшей барской усадьбе, от которой осталась лишь лиственничная аллея. Там, наверху, появлялись избы. Дорога между ними становилась песчаной и ровной. Идти было легко, и я знал, что в ряду заколоченных домов скоро будут попадаться обитаемые. Обитатели – отцовы друзья и знакомые – позовут, напоят: меня – чаем, родителей – водкой. Словом, угостят. Или, как принято было говорить, подадут.

Не все дома одинаково меня привлекали. Во многих крылась опасность: родители заговорятся, а мне хозяин или хозяйка будут тыкать в нос выпотрошенными мышами, набитыми пожелтевшей серой ватой, или дадут рассматривать безжизненные тела убитых птиц с погасшим оперением и дырочками на голове, из которых вместо черных живых глаз смотрела все та же страшная серая вата.

Больше всего мне нравилось заходить к профессору Баринову. Его Коля и Соня – мои сверстники, красивые, умные, здоровые. Румянец во всю круглую щеку, брови соболиные, и глаза блестят. Веселые. Добрые. Пока родители разговаривали за водкой, можно было, напившись чаю с оладьями или пряниками, болтать и играть во дворе, под столетними липами, или на

сеновале.

Но на сеновал сразу могли и не пустить. Приходилось подождать, пока профессор Баринов закончит работу. Урок, заданный себе на день. Допишет дневную норму.

Дверь на сеновал, завешенная марлей, до тех пор была наглухо затворена, а на дворе кричать было не велено. Но однажды я заглянул украдкой в окно, затянутое противокомариной сеткой.

Профессор Баринов за компьютером восседал в старинном возке. Дисплей возвышался на козлах, вместо кучера, а Баринов с клавиатурой занимал в глубине возка место седока. Круглая лысая голова его была опущена, и некоторое время он сидел неподвижно.

Возок был предметом особой гордости профессора. Найденный после покупки дома в углу бревенчатого двора, заваленный сеном и заставленный шестами, рогатинами, вилами и деревянными граблями, он был столь совершенен, что мог бы стать экспонатом Исторического музея. Мать водила меня туда однажды на выставку карет и саней, так вот бариновский возок был не хуже. Черный лаковый, расписанный розами, гирляндами роз – нежнейше кремовых, насыщенно сливочных и тускло-золотых, с тонкими золотыми каемками на крутых боках, возок, верно, скользил когда-то по белому снегу, как черный лебедь. Гордая и в забвении, нетленная и в небытии красота русской деревенской жизни, мечта о несбывшемся прошлом – возок, будто ладья Харона, увлекал тень профессора Баринова по темным водам времени.

Профессор поднял голову, и глаза наши встретились, разделенные противокомариной кисеей, словно туманом над холодной свинцовой рекой. Глаза его сияли мне с того берега.

Баринов тяжело поднялся, неловко вылез из возка и, пригласив меня за собой жестом, направился к двери. Все снова приняло обычный вид.

– Ну это, – обратился он ко мне и к родителям, распахивая дверь, путаясь в марлевой завесе и улыбаясь счастливой улыбкой человека, уставшего за день от любимой работы.

– Ну это? А? Родители кивнули.

– Ну вы это? Понимаете? А?

Родители снова кивнули. Все это означало: а не выпить ли нам, друзья мои, после рабочего дня по рюмочке? Выпить, конечно.

Баринов, разминая затекшие в возке ноги, подошел к срубу колодца, опустил в него руку и что-то нащупал.

Потянул, и скоро на свет явилась привязанная за горлышко

бутылка «Пшеничной», охлажденная в темных глубинах колодезной воды.

За столом, под малосольные огурчики и окорочка Буша, взрослые говорили тосты. Баринов, которому блистательная письменная речь дана была от Бога, устно выражался в основном с помощью междометий, кряхтения и покашливания. Но я все-таки понял, что он хотел сказать. Или мне кажется, что понял.

– Люблю я все это, – говорил он. – Люблю, несмотря ни на что. Вот пишу наконец монографию о социальном поведении. Общую такую работу. Люблю и счастлив. И денег никаких мне за это не надо. Была бы возможность работать, больше ничего. Да что там! За это мы сами платить должны. А не нам. Я вот готов и сам платить.

Интересно, чем? – подумал я и посмотрел на родителей. Они были задумчивы. По-моему, в глазах у матери был вопрос. Именно этот. А может быть, это был вовсе не вопрос. А горечь. Но она молчала, и рюмка ее была пуста. Баринов снова налил, и она выпила. И не сказала ни слова.

Она-то платит, – понял я. И платит не за себя. За нас с отцом. Платит сполна. Давно. И молча.

Документ Word 3

Да, это был замечательный день. Чудесный день и печальный вечер…

Мы вышли к Баринову, в соседнюю деревню, когда сияние дневного солнца легло косыми долгими лучами над голубой кудрявой шкурой лесов, когда протянуло светило к земле свои теплые руки и над долиной согретой реки Унжи легли синие тени. На спуске к реке ястребиная сова пролетела над дорогой, белой от тонкой пыли, пронесла свой полосатый серо-белый хвост от одной шершавой сиреневой ольхи к другой.

Земля отдавала тепло, и каждый камень светился в своем незримом лучевом нимбе. А вот листья и травы уже темнели и холодели. Когда мы поднялись по косогору вверх к лиственничной аллее Никитина, Ники побежал к почерневшему колодцу, Алексей заглянул в прохладную темную крону яблони, перевесившей свои ветви через ветхий штакетник, – вдруг да подарит яблочком, может, и не дичком, – а я, переводя дыхание, остановилась и оглянулась.

Далеко внизу за белыми плесами Унжи синие леса овечьим руном мягко лежали на покатых плечах далеких холмов. Там некогда был Унжлаг, и до сих пор, говорят, можно было дойти до остатков скрытых в лесах лагерей. Все истлело, но страшные вместилища смертных мук по-прежнему ощеривались клубками проржавевшей колючки и дышали смрадом преисподней. С высокого берега деревни Никитино ничего этого не было видно. Сторожевые вышки давно сгнили и рухнули в мягкие мхи, поросли осокой и брусникой, морошкой и клюквой, а издалека прекрасная земля казалась благословенно нетронутой и по-прежнему свободной.

Свобода. Свобода и даль. Даль и полет – какой восторг. Какое страдание.

Я повернулась к дороге. Ники уже напился из колодезя, Алексей доедал яблоко. Мы двинулись дальше, минуя опустевшие избы, и скоро уже входили под тень цветущих лип над низким обширным домом Баринова. Хозяин был занят, и, пока дети играли, мы посидели на крылечке с женой его Леной, обсуждая проблемы палеонтологии мышевидных грызунов и вероятность завоза очередной партии окорочков в лавку соседней деревни со странным именем Халбуж.

За рюмкой водки просветленный успешным писанием Баринов был благодушен. И взялся, конечно, за любимую тему. Профессорский набор идей о перестройке и науке был обкатан,

как пестрые голыши в русле прозрачного ручья на дне оврага, и столь же прост. Научная работа есть роскошь, никому, кроме самих ученых, в сущности не нужная. Им же необходима для получения единственно доступного для этих чудаков кайфа. Вывод: за что им платить? За удовольствие?

Точка зрения жены отличалась: нужны хоть минимальные средства на семью. Иначе ученые перестанут воспроизводить сами себя.

– И не надо, – говорил Баринов. – Зачем воспроизводить себя? Такие же ученые, чудаки то есть, могут рождаться и в богатых семьях. А? Не могут разве? За них будут платить родственники. Понимаете, нет? Ну. Наука пойдет вперед семимильными шагами. Куда ей еще идти? Назад, что ли? Ну это… Таким вот образом. Понимаете, да? Хоть вот Погодина возьмем. Его спросите: откуда брать деньги на науку. Так. Вот. Ну и это… Он скажет: у богатеньких. И, кстати, сам берет. Слыхали, что ль? В клубе «Сафари», например. Подвизается там. Туда, в клуб этот гребаный, все шишки входят, ротшильды со всего мира. Мужик ведь что? Как до власти доберется – непременно сразу толстеть – и на охоту. На крупного зверя. Компенсация такая. А скорее – гормональное что-то. Э-э-э… Власть и гормоны – вещи неразделимые. Как гений и злодейство… Ой, что-то я, кажется, того… Ну, понимаете? А? Александра, ты понимаешь? Ну это, в общем. Того.

Я вспомнила о Погодине и несбывшемся проекте оленьей фермы. Вспомнила сына академика, острым красным языком оживлявшего бледные до синевы губы. Вспомнила, что и у тех двоих были свои камешки– окатыши, все о том же. Ну конечно, каждый мучительно нуждается в апологии. Не только Сократ. Ведь, как известно всем, кто открывал первую страницу учебника логики, человек смертен. Сократ человек. Вывод: Сократ смертен. Как и мы…

Погодинская апология была такая. Нужен начальный капитал. Без него никуда. Сперва для своего дела – чтоб основать. После – разбогатеть или, по крайней мере, «твердо стать на ноги». (Его, Погодина, выражение.)А уж тогда и заниматься наукой. На дивиденды. Вот разбогатею – и наукой займусь. Чего там. Сейчас все быстро. Не отстану. Не успею отстать (забавное сочетание слов, кстати).

И тут, под жужжащими в липах пчелами, в облаках медового ветерка, тонкий писк комаров звенел и звенел – и, наконец, добился. Вызвонил слово. Не слово даже, а целый термин: *подмена цели* . Так в риторической аргументации называется одна уловка. Уловка – это если по искушенности. Как у сына

академика. Она же – ошибка. Это если по недомыслию, как у Погодина. Подмена цели – это когда цель прячут за средством. Деньги лишь средство, а становятся целью. И вот тут-то Мефистофель и улыбается. Ага! И почему бы не улыбнуться? Можно и расхохотаться даже. Ведь до подлинной цели – науки – Погодину уже не добраться. То есть это если по-крупному. По-серьезному. Если не просто какая-то диссертация, пусть и докторская. Это ведь не наука еще. А вот если дело настоящее… Так для этого поезд уйдет. Навсегда.

– Ну это, а? – продолжал Баринов. – За науку! Хрен с ними, с деньгами. Появятся откуда-нибудь. Приплывут как миленькие.

Жена его Лена выпила и печально потупилась. «Да, – думала я про себя. – Вот Баринов – это да. Прямая мысль. Прямой стиль. Прямая жизнь».

Да, что-то прямое и чистое, безыскусное и безнадежное было в наклоне головы жены его Лены. «То же, что и в моей странной жизни», – поняла я и поставила на край струганого стола пустую рюмку.

Часть 4 Противное (Contraria)

От биографа

Настала наконец пора приступить к следующей части хрии – нашего рассуждения о любви и, конечно, о времени – той, в которой уготовано место для доказательства от противного.

Если бы все сложилось не так… Если б осуществилось другое… Что, если б профессор отступился? Ослабев, не смог бы держать удар? И Логос оставил бы его, отлетел в самые трудные годы? Вернулся к арбатскому мудрецу, прижался крыльями к родному, черному залоснившемуся пиджаку, поистраченному от вечности… Это вполне могло случиться, например, когда Профессор обедал, роняя на черный узкий галстук то бледную нить квашеной капусты, то яркую полоску сырой морковки, сдобренной постным маслом, а в темную комнату проникал тусклый свет арбатского двора, отбеленный свежевыпавшим снегом и оживляющий проблески золота на корешках старинных фолиантов, хранящих письмена древних… Что, если б…

Говорят ведь, что даже ангел-хранитель покидает многих и многих крещеных. Вот человек подумал о себе… А что тут такого? Почему нет? О себе не подумаешь – кто о тебе подумает? И мысль привела к поступку – на благо себе, любимому. Вот и еще раз, и снова… Вот отрешился он от принципа добра, от любви, от Бога – называйте как хотите… И вот уж позабыл о благе общем, а радеет все о себе и своих детках, и хорошо еще, если о них. Ангел-хранитель отворачивается все чаще и чаще… Вот предал – сначала неизвестного кого, незнакомого даже… Но вот уж и друга, и брата, и жену, и ребенка – любимых, близких, любящих… Нелепых? Быть может. Глупых? Возможно. Скучных? Конечно… За столько-то лет кто не наскучит? Их, слабых, их, страдающих, их, так долго теплом своих несовершенных сердец согревавших его в несчастьях, в заботах, – предал. А предав, и вовсе забыл. Отвернулся. Сами виноваты. Надоели. Ругают. Мешают. И вот тогда-то ангел, упорству предателя ужаснувшись, отлетает. Безмолвно, неслышно… Навеки.

Но я помню, как Виталинин миллионер, давно, еще когда приглашал нас в гости и был Виталининым мужем, сказал матери: «А ты молодец, удар держишь». Мы сидели за круглым столом в кухне, только что превращенной в роскошную столовую, Боб щедро разливал кому виски, кому коньяк, а мне Виталина бухнула на тарелку целую гору оливье и все подкладывала пирожки, крошечные, словно рыбки, – да, в этой квартире был и аквариум, причем морской. Чудо! Рыбы-ангелы сновали только так, розовая актиния трепетала голубоватыми щупальцами…

Миллионер Боб сказал это с удивлением. «Удар держишь»! И как я гордился ею тогда…

Да, мать была верна. Тем, кто ей предан, тем, кто слаб, – всегда, без условий. Безусловно верна. Безусловно преданна. Верность и преданность – вот ее главное. Сама она. Как сказал бы Аристотель, присущее – не привходящее. Верна, щедра и жертвенна. Логос это оценил. На языке уголовников – по фене – «осознал». И оценил достойно. Книги писались будто бы сами. Помню – не раз она удивлялась: сажусь за стол – и словно кто рукой моей водит. Откуда что берется?

И я решил: подожду. Подожду еще. И не дай бог, чтобы настало время…

Вот уж семнадцать лет – как летит оно! – семнадцать лет я жду. Думаю, взвешиваю, решаю. Пришла пора или нет? Открыться и открыть – или предоставить все богам: пусть меж колен вращает и вращает свое веретено Ананке (я нашел ее имя в черной коленкоровой тетради: А νάνκη– неизбежность), пусть крутит и крутит она мировую ось и вершит события, а дочери ее Мойры пусть плетут нити человеческих судеб: плетут, чтоб порвать их однажды…

Нет, вот порвать я не дам. Лишь только возникнет угроза порванной быть одной нити – да, вы угадали, той самой, – тут я откроюсь. И банку открою. И все, что в ней тайно сокрыто, все разом отдам ради жизни. Ради спасения одной только жизни – ее одной, моей верной, моей преданной. Моего профессора. Моей матери.

Семнадцать… Сейчас мне уже двадцать восемь. Старость подступает неумолимо. Не за горами тридцатник. Давно ли все это было… мои одиннадцать лет. А кажется – только вчера…

Семнадцать лет назад (воспоминания биографа)

Я слышал, как шмякнулась крыса. Сквозь дрему я слышал и топот лап – прямо к моей кровати, где, за день уставший, я скрывался от холода жизни под красным ватным одеялом. Край его дернулся, когда грызун проскакал под кровать и зацепил острым когтем ветхий сатин, от бытийственной стужи хранивший три поколенья семьи. Тут я проснулся.

И понял: нет, не сон это был. Голоса наяву все звучали. Говорили про банку, где-то зарытую в землю. Я вспомнил коттеджный поселок. Туда Виталина брала меня как-то: мы с нею дружили в те годы. Странная дружба мальчишки и брошенной мужем матроны. Впрочем, не важно: талую воду сбирали отличные лужи в чахлом леске, что тогда у ограды теснился.

Я ради тритонов с ней и ездил. Или мне так казалось? Да нет, чего там. Просто она тогда очень страдала. Из-за предательства. А эта боль горше всех, теперь-то я знаю. Знаете, у Луговского есть один стишок… Современные стихи я никогда не читаю, только то, что до Петрарки. И, конечно, китайцев. Ли Бо. Бо Дзюй И… Но эта серая ободранная книжка буквально на меня упала – свалилась с полки. У нас на даче стеллажи, и много, но и поколений профессоров прошло до меня немало, и каждый собрал свою библиотеку, так что книги не влезают. Не помещаются. Есть чему падать на головы внукам и правнукам. Книжка упала, я взял ее в руки, взглянул на страницу – а там… Навсегда запомнил, а почему – не знаю. Вот что там было, на этой желтой странице, дерево для которой было срублено лет за шестьдесят перед тем, как я, одиннадцатилетний, прочел: «…Что все прощала я, но не прощала//Предательства и горечи его,//Что это грех последний и бесплодный»…

И она, Виталина, оказалась из тех женщин, кто от страданий добреет. Вытирает слезы и с каждой пролитой слезой добреет. И особенно – с каждой непролитой, проглоченной, сдавливающей горло горем, как рывок рабского ошейника, как перехват веревки. Я понял это.

Виталина была добра ко мне. Впервые я чувствовал, что такое доброта постороннего человека. Зоя Павловна – моя первая наставница вне семьи, старушенция, в чьи болезненно пухлые руки мать так доверчиво меня передала, била меня головой о доску на глазах у всего класса. Другие учителя, в новой школе, рядом с новым временным домом, да и одноклассники, все-таки

были враждебны. Мир, мой теплый мир, по-прежнему был мал и тесен, как воробьиное гнездо под жестяным скатом нашего окна. Но доброту Виталины я вбирал всем существом, как росток впитывает воду. И мир преобразился. Он стал широким, необъятно просторным, светлым. Все в нем: деревья, улицы, люди, вещи – будто золотилось теплым и тихим сиянием, как на картинах старых мастеров.

Виталина спасла меня. Я узнал, что такое доброта – не материнская, не отцовская, а – доброта к чужому. К не своему. Доброта к миру. И, полюбив, я стал узнавать ее всюду. И мне понравилось самому быть добрым. Так рождались основы моей жизни. Возможности счастья. Напрасно все так уверены, что дело только в семье. Я твердо знаю: нужен еще человек, хоть один человек – не родной, не слишком близкий, чужой, чуждой плоти. Да, пожалуй, так. Чем дальше, тем лучше даже. Добрый человек.

Как это странно все же. Виталину настигло горе, а мне повезло. Виталина страдала – а я узнавал от нее то, без чего не бывает счастья. И не поверите – ей нравились тритоны. Мы с ней весь тот лесок исходили. Помню, как она, неподвижная, вглядывалась, замерев, в глубины весенних луж. Сначала – молча. Ее завораживало и успокаивало прерывистое круженье водомерок по черной воде: будто иглами их длинные тела простегивали шелковую гладь. Потом она начала задавать вопросы. На поверхность поднимались все новые твари – прекрасные и чудовищные, нежные и хищные, и я называл их своей подруге, и под унылыми ветвями печальных елей звучала гордая линнеевская латынь. А я чувствовал себя как демиург, дающий имена тварному миру новорожденной вселенной.

Я запомнил тот самый выворот – корни упавшей елки воздеты к пологу леса, словно узловатые тощие руки, желтые, как у старухи, под ними – неглубокая пещерка: слой серой подзолистой почвы, под ним рыжеватый песок.

И конечно, я нашел это место. Сразу. Серебряная полоска фольги на ветке блеснула мне прямо в глаза, стоило выйти к вывороту. Я и не сомневался. Но обрадовался, как молодая сорока, чуть было не застрекотал от волнения. Подпрыгнул, побежал, споткнулся. Veni. Vidi. Vici. Так я подумал, падая на сухую гладкую хвою. И вспомнил латинян: «Трудно сказать короче, чем Цезарь, и пространней, чем Цицерон». Так они выражали мысли, эти язычники, – сильные, изощренные в своей наивности. Тело, тело, тело…

Искать не пришлось. Банка сама далась в руки, чуть не выпрыгнула из-под тонкого слоя подзола мне навстречу. Будто ждала.

«Странно, – подумал я. – Откуда она узнала, кто и когда за ней придет? Но узнала ведь, иначе зачем бы чуть высунула из-под серой хвои проржавевшую жестяную крышку именно там, где оказалась моя ладонь, когда я упал навзничь? Высунула ровно настолько, чтобы рука, плашмя ложась на землю, смела хвою и ударилась об острый шершавый край? Можно, конечно, объяснить это тем, что земля просто выдавила трехлитровку к поверхности. Так оно и бывает, если закопать не слишком глубоко. Но почему я упал? И упал именно там? Она ждала меня. И я пришел».

Накануне мы вернулись в Москву к вечеру. Розы были укрыты. Виталина подвезла нас с матерью на машине. У меня мучительно саднило горло, желёзки распухли – и те, что под челюстью, и те, что на затылке, у основания шеи. Но во мне уже пробудился берсерк.

Это у меня тоже от матери. Логос, слово-любовь, – от эллинов, через арбатского мудреца, а вот откуда яростный порыв к цели, рывок, перед которым уступает боль и чувство самосохранения, дикий напор и устремленность – неведомо. От викинга, породившего кого-то из череды предков, сокрытого в безднах времен, воина-берсерка, мухоморами вводившего себя в транс перед битвой… Но нам с моим профессором такая внешняя дрянь ни к чему. Они у нас внутри, эти мухоморы.

Я сказал матери, что по математике важная контрольная. Температура, а идти надо. А то совсем отстану. Она вышла из дома вместе со мной, по пути заставляя меня повторять, сколько же, наконец, будет семью восемь. Я двинулся к школе, она – к метро, на лекции. Из-за сигаретного ларька я видел, как она вспрыгивает в троллейбус – легко, как девочка, да ведь и была она тогда всего лет на пять старше меня сегодняшнего. Пропустил парочку следующих усатиков для верности и влез в третий. На электричку успел задолго до будничного перерыва, а до поселка добрался на попутке: «Подвезите, дяденька, дневник забыл».

Вот и все. Банка округлила школьный рюкзачок, но уже тогда он был у меня весьма и весьма объемист. Читал я много, и не учебники носил в нем в школу, а чаще – книги возил на дачу и с дачи. «Физическая география Европы», «Монголия и Кам», «Определитель земноводных и пресмыкающихся», тома Брэма… Увесистая литература, в общем.

На попутке же добрался до поста ГАИ, там, где сворот с бетонки к нам, в Троицкое. И – по бетонке пешком. Не шел – летел. Мухоморы пели внутри. Поединок окончился легкой и заслуженной победой.

Но вот и калитка. Напротив – овраг. Прозрачные ветви

печально поникшего бересклета с фиолетово-рыжими яркими плодиками, оголившиеся осинки, орешник, за коричневые атласные стебли которого цепляются два-три желтых листа – вся эта предзимняя поросль ничего уже скрыть от посторонних глаз не могла. Порыв ветра – и вот последние бледные листья взмыли вверх и, кружась, опустились.

Я пробрался к своему любимому месту – бугристому стволу упавшей березы. Давно не стекал по бокам ее прозрачный сок весны, сок юности, сок зрелости. Давно в ветвях ее, протянутых к солнцу, не звучал голос иволги. Сколько уж весен не набухали ее сережки, а по осени сколько уж лет не разлетались, кружась, рыжие крохотные птички семян. Но из тех, что упали когда-то на землю, сколько проросло молодых березок! Вон стоят частоколом – не продерешься…

Я бережно снял рюкзак, прислонил к стволу, сел. Вспомнил, как мелькнул передо мной когда-то хорек черной молнией – летом, в цветущих, пышно голубоватых травах, но однажды, только однажды… Задумался.

Что же мне делать? Зачем, почему и что понесло меня вперед, прежде взрослых, не сказавшись? Банка теперь у меня. Ногой я тронул рюкзак. Твердая округлость под темно-синей тканью подтвердила: да. Все правда. Она там, внутри. Банка с чужими деньгами.

Конечно, отдать Виталине. Это же ее деньги. Как же я мог… Даже не вздумай подумать, как говорит иногда мой профессор, охваченный тревогой воспитания. Не вздумай даже подумать! А я вот вздумал. И что теперь?

А теперь вздумал – так подумай. Подумай хорошенько.

Отдам Виталине. Она обрадуется, отгрохает новый коттедж, не лучше прежнего, но уже у нас, в Троицком, а условленную часть отдаст матери. Та призовет Погодина. Начнется эта страшная оленья ферма. Выращивать оленей и забивать на мясо. Олень-цветок… Их будут резать, как свиней, и сдирать шкуры – прекрасные оленьи одежды, экзотические, как орхидеи, все будто в солнечных пятнах на осенней листве… Нет, ни за что. И ведь отговорить невозможно. А если деньги попадут к Погодину… Или хоть не к нему – к другому… Мать не слишком практична – прямо как настоящий профессор. Отец… его непрактичности на троих профессоров хватит. Сами дело не откроют. Я уже тогда знал, что предприниматели из моих родителей – никакие. Чего-то в них для этого не хватает. Даже у матери, при ее даре берсерка. Нет, тут нужно другое. И никакие мухоморы внутри не помогут. Видал я настоящих предпринимателей – родителей одноклассников. Они даже в школе рулить пытаются. Подруливают на

«мерседесах», как к себе на фирму, – и давай командовать. А мои… Да чего там…

Так или иначе, но денег этих уже не увидишь. Пропадут, как не было. Я снова потрогал ногой банку. Горло саднило. Вдруг навалилась усталость, накрыла плечи тяжестью, как то красное ватное одеяло. Думай. Пора. А то домой вовремя не доедешь. Или вообще сил не хватит – что тогда?

Вдоль ствола, прямо под ногами, шаркнула полевка. Прошелестела опавшая листва. Зазвенела стайка синиц на тонких березовых прядях.

Так. Сосредоточься. Представь, что решаешь задачу. Контрольная у тебя сегодня или нет? Ну, давай. Дано: Виталина. Деньги у нее и без банки есть – купила участок и собирается строить. Банка в расчет не входила. Значит, на нормальный дом хватит. И на жизнь. «Умножая богатство, умножаешь заботы» – вспомнилось мне изречение римлян. Что ж, вышло так, что от лишних забот я могу Виталину избавить. Счастья у нее с деньгами не прибавится. Лучше буду почаще ходить с ней смотреть на тритонов. Весна в Троицком: новые лужи, новые мечты… Замечательно.

Еще: родители. Им деньги в руки давать вообще запрещается. Это понятно и обсуждению не подлежит.

Вывод: банка остается скрытой. Продолжает свое тайное бытие. Тайное для всех, но не для меня… И если придет час… Если что с профессором… с отцом… с Виталиной, наконец… Вдруг операция, дорогое лечение… По телевизору вон каждый день деньги собирают – в основном для детей, правда… Но говорят: в США, в Швейцарии… В Штатах, кажется, можно вылечить все. И быстро. Были бы деньги. Теперь деньги есть. Вот она, банка.

Дополнительный вопрос: куда девать? Закопать снова? Крышка очень уж ржавая… Прохудится.

Через две минуты я отпирал наш сарай. Набор для закатывания консервов. То, чем с такой легкостью пользовалась Виталина. Сколько часов своей быстротечной жизни провела она, моя спасительница, склонившись над банками? Маринадами? Огурцами и помидорами? Клубникой и малиной? Грибами, наконец?

Но матери моей все это не давалось. Точнее, она не делала даже попыток. Удавалось-то ей все, стоило только захотеть. Набор, подаренный практичной и хозяйственной подругой, нашелся не сразу, где-то под ящиком с обрывками проволочек и стопкой цветочных горшков, надтреснутых и щербатых. Ни разу не использованный, он так и поблескивал сквозь промасленную

бумагу тусклой жестью крышек, упакованных, словно длинные колбасы, а сама рукоять с насадкой для закатывания хранила еще на себе тонкий слой смазки. Я вынул одну новую крышку, а потом, не выходя из полутемного сарая, аккуратно вскрыл банку. Проржавленный жестяной диск положил в кармашек рюкзака – выбросить по дороге. Прочитал нехитрую инструкцию, разлепив и расправив слежавшиеся от сырости страницы, и сделал все, как требовалось. Восстановил status quo.Запер сарай. И с рюкзаком за спиной спустился к ручью, к березе.

Вставать со ствола не хотелось, но сумерки предзимья уже подступали. Времени до электрички оставалось в обрез. Тяжело было взбираться по противоположному склону оврага. Круто. Очень круто.

Но вот я здесь, у ограды новых кирпичных коттеджей. Новыми их называли потому только, что никто никогда в них не жил. А построили их давно – лет пять, а то и шесть назад. Но хозяин уехал. Взрослые говорили – сбежал в Штаты, наделав здесь, на родине, таких каких-то дел, что его достали и за океаном. Убили. А коттеджи, краснокирпичные, с арочными подъездами и датскими окнами на высоких крутых крышах, со стрельчатыми сводами и башенками, так и остались. Их тоже убили. Так и стояли они, никому не нужные, мертвые, а внутри, в каминных залах без внутренней отделки, по размерам вполне сравнимых с нефами небольшого готического храма, гнездились дрозды и трясогузки, полевые воробьи и дикие голуби.

Теперь я думаю: можно ли было представить тогда, семнадцать лет назад, что никто так и не станет новым владельцем этой земли, уже тогда проросшей тонкими прутиками березок, робкими и пушистыми молодыми сосенками, костром, овсяницей и мятликом? И что хозяин у красных коттеджей с тех пор и навсегда один, и имя ему – время… И только его легкая стопа, под которой крошится бетон и мрамор, коснется этих ступеней, под его дыханием потемнеют и постепенно, незаметно соскользнут с крутых готических крыш тяжелые выгнутые черепицы, перекосятся двери, помутнеют стекла… Но как-то я это тогда почувствовал. Так оно и вышло.

Из рюкзака я вынул и расчехлил отцову саперную лопатку и стал копать слева от ступеней главного входа в дом с арочной галереей – если бы мне выбирать, я взял бы, конечно, именно его. Очень уж он мне нравился. Эта галерея – просто идеальное место для содержания тритонов. Легко установить подходящую температуру и освещение. И зимой, и летом.

Выкопал ямку, как Буратино на Поле Чудес, осторожно поставил в нее банку крышкой вниз – почему-то мне показалось,

что так безопасней для крышки, – засыпал, утоптал, присыпал опавшими листьями и сухой травой. Очень тщательно протер лопатку носовым платком, зачехлил, убрал в ранец. Проскользнул между черными чугунными прутьями ограды с шарами наверху белых столбов – такие ограды я видел только в зоопарке да в МГУ на Ленинских горах. Там они вокруг биофака, куда я ходил в кружок на кафедру зоологии позвоночных.

Через пятнадцать минут зеленая электричка, добрая, как милая толстая гусеница, приветливо свистнув, приняла меня в свое теплое нутро. Еще через полтора часа я был дома. Батон вежливо поднялся мне навстречу и, раскрыв в улыбке широченную пасть, потянулся, припав на передние лапы и помахивая обрубком хвоста с султаном длинной шерсти. Я успел раздеться и сунуть лопатку на место в стенной шкаф (носовой платок со следами земли, которым ее протирал, я выкинул еще на станции, под перрон – урн тогда еще на подмосковных платформах не водилось).

Вошла мать, как всегда, после лекций и семинаров взбудораженная, счастливо-усталая, взяла на поводок Батона и повела в скверик у китайского посольства. Я смотрел с восьмого этажа: вечерняя тьма просвечена голубовато-белыми пятнами фонарей, профессор в длинном светлом пальто и огромная серая собака. Снежная королева в сопровождении волка. Пусть гуляет спокойно. Ей больше не о чем волноваться. Я все сделал сам, один, и сделал правильно. И добавлю от себя сегодняшнего, в этот миг я ощутил, как говорит Парменид, *бестрепетное сердце совершенно округлой истины.*

Я часто вспоминал эту картину – она до сих пор так и стоит у меня перед глазами: женщина и собака, Снежная Королева со своим волком… И мальчик смотрит сквозь холодное стекло. И когда вспоминал, что-то все время силилось всплыть на поверхность сознания – и поднялось наконец однажды. Уж слишком он хотел ее защитить, этот мальчик. И стекло было слишком холодным. И осколок попал ему в глаз…

Странно, не так ли? Мой профессор: горячее сердца не бывает – само пламя, сам жар эллинского солнца… Да и Логос: слово-любовь, согретое его лучами, веющее южным Адриатическим зефиром, само – тысяча солнц… И вдруг – аквилон, ветер Севера, ледяная мозаика, кристаллы холода… Волк и Снежная Королева… Белая Ведьма… Ужас и тьма Арктики… Да и правильно ли я сделал? Как насчет *совершенно округлой мысли и бестрепетного ее сердца* ? Мое-то с тех пор нет-нет да и затрепещет…

Нет. Не могу разгадать. Снова и снова склоняюсь над ледяной

мозаикой – никак мне ее не сложить. Не хватает куска, одного, только одного… Не нашла пока меня моя девочка, моя детская любовь, женщина моей жизни, моя Герда. И осколок, холодный осколок стекла в глазу жжет, леденит – и злит, мучит, терзает. Но я знаю: она меня уже ищет. Так, знаю почему-то. Не надеюсь – уверен. Придет, замерзшая, еле живая от холода, коченеющая, – протянет руку, положит на место тот самый прозрачный кусок призрачного целого, теплом своих слез вытает осколок, придаст всему смысл. Не верить этому
– что ж, тогда и жить не стоит. Эта мысль дает мне простор в тесноте моей скорби.

Документ Word 4

А если бы я отшатнулась – в слабости страха или, напротив, в негодовании сильного человека, оскорбленного и униженного? Разве стояла бы я здесь, у полукруглого входа в метро «Чистые пруды» – странно, не могу вспомнить, как на самом деле выглядит этот вход, но мне почему-то кажется, что там арка. Похожая на ту, что на Кропоткинской. Или такая же. Или та же.

Но я стояла. Как всегда, одна. Упругий, сильный ветер конца марта развевал длинные концы моего зеленого платка, но не утешал даже цвет шелка – яркий, свежий и тоже сильный. Не слабее ветра.

В этом месте, под аркой, подлинной или воображаемой, я могла уже позволить себе слабость. И я плакала – отчаянно, навзрыд, безутешно. Довзаболи, как говорят у нас на Севере, – от души, от моей неповоротливой, как у прустовского Свана, снова не успевшей увернуться от разящего острия обиды, раненой души. Раненой недостойным, а потому уязвленной опасно.

Тонкая сигаретка плясала на ветру в моих ледяных пальцах, слезы жгли глаза и щеки, высокие каблуки коричневых ботинок – лучших, какие у меня были, то есть единственных, – звонко стучали о равнодушный асфальт, когда я переминалась с ноги на ногу в напрасных попытках себя успокоить.

За что? Почему именно я? За что мне все это? Сколько еще терпеть?

«Долго, – отвечала я сама себе, – ведь приезжала-то просить деньги на организацию факультета для коммерческого университета, которому сознательно продалась. Отдалась за деньги. Сама просила – денег же. И получила. Живи теперь, что ж плакать-то? Трать деньги. Организуй. Расходуй. Радуйся». И слезы хлынули снова. Все только начинается, и терпеть придется всегда.

Ветер холодил лоб и щеки, тонкая ментоловая сигаретка понемногу успокаивала.

«Нет, – вспоминала я, – нет, какие ковры! Цвета английской парковой розы, кремово-белые, с ворсом тяжелым и плотным, высоким, как давно не стриженный газон. А серебряный судок с осетриной – рыба была тоже цвета розы, только чайной, со слезой на лепестках. На крышке судка трепетали серебряными крылышками блестящие путти: вот эти пухлые младенцы подлетают к вам и толстыми пальчиками подносят дары морей.

А весь особняк в Колпачном переулке – бывший оплот комсомола, вытеснивший кого-то из бывших и сам вытесненный – новыми, денежно-политическими, будущими!

Ах, чтоб и вам тоже стать бывшими, ci-devant – прокляла я Люцифера, к которому только что ходила на поклон. Поклонилась – ну, хоть не поклонялась, как побуждал меня пославший к нему Мефистофель. Что-то у меня с именами не вяжется. Люцифер, Мефистофель – один персонаж… Одна персона!»

– Тебе нравится L? Нет, ну скажи, понравился тебе L? Мой ученик, между прочим. Ну, ты знаешь. Что я тебе-то буду объяснять. А вспомнить – приятно. Да и шеф его – тоже мой. Бывший. Ученик то есть. Ты с шефом еще не знакома. С самим S! Ну, может, и познакомишься еще, чем черт не шутит? Если дело пойдет. Значит, понравился. Ну и отлично. Давай теперь, деточка, работать. Главное сделали. Деньги переведут, пиши бумаги. Готовь документы на подпись Весь пакет.

Эту краткую напутственную речь Мефистофель произнес уже на следующий день, когда, выплакав на Чистых прудах все слезы (по крайней мере, так мне казалось, но запас был, как выяснилось дома, исчерпан вовсе не до конца), я поднялась в ректорский кабинет бывшего российско-американского университета, вытеснившего бывшую Высшую партшколу – ci-devant! – и села напротив него за кофейный столик под напольными часами высотой с Биг-Бен. Часы мелодично пробили два. Секретарша, милая скромная девчушка с хваткой ротвейлера, принесла поднос с коньяком и кофе.

– Может, тебе виски, девочка? – спросил Мефистофель небрежно.

Я знала, что следует предпочесть виски, что и сделала. Как просто бывает доставить человеку удовольствие. В окно, сквозь жалюзи, только вошедшие тогда в офисную жизнь, лилось весеннее солнце – щедрое, для меня слишком щедрое. Солнце каких-то других, незнакомых мне и счастливых людей. А может быть, знакомых и богатых. Темно-рыжий напиток в стакане золотился, в широком луче толпились веселые равнодушные пылинки.

– Ну, как вы с ним поговорили? Рассказывай. Только кратко. Все самое главное. Учебник свой подарила? Надписать не забыла? Сколько ты у него пробыла? Минут пятнадцать?

– Да где-то так примерно. Минут пятнадцать. Да. – Такой ответ я сочла уместным. Вряд ли Мефистофелю станет известно, что не пятнадцать. И не минут. А два часа с лишком.

Нет, мы только разговаривали. Вернее, меня допрашивали. Беседа строилась как с коронованной особой: вопрос (со стороны особы) – ответ (с моей).

Если быть точной, Люцифер, первый зам и сподвижник своего

патрона S, его серый кардинал, а потому сильнейший своей закрытостью и мудро довольствующийся властью реальной, допрашивал вовсе не меня. Я как таковая его не интересовала. Ему было важно выяснить мнение моей тени. Или, что то же, мнение тени, в которой пугливо укрывалось тогда мое «я», то есть социальной роли. Мою социальную роль он определил, я думаю, так: «старорежимный интеллектуал, бывший поборник народного просвещения, рабочая лошадь вузовского образования с высшей квалификацией – профессор». И не ошибся. Все было правильно.

Узкая, как цапля, секретарша с черной гривой жестких блестящих волос, отчетливо переступая идеальными ногами и вынося коленки поочередно крест-накрест – дефиле для подиума – открыла передо мной дверь и объявила: такая-то из такого-то университета, профессор.

К моменту, когда прозвучала из ее серебристых губ эта фраза, я была в ярости. В бессильной злобе на себя. В отчаянье. Как я могу так волноваться? Почему не научилась до сих пор верному взгляду на мир? Почему будущая встреча с властью заставляет мои ладони потеть, а сердце биться, как перед экзаменом? Кто он такой, этот L? Моложе меня лет на пятнадцать – мальчишка, в сущности. В соавторстве с S написал одну тонкую книжку. С одной-единственной мыслью: деньги – это все. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Точнее: лучше быть богатым, чем бедным. Подумаешь, открытие! О том, что люди гибнут за металл, мы знаем давно. Он не из тех, кто гибнет. Но ведь он и не человек. Люцифер. Да, и еще написал учебник по пиару. Чуть ли не первый в нашей стране, а может, и первый. Ну и что? Пиар – дитя риторики, жалкая жертва позднего аборта престарелой матери: ей – две с половиной тысячи лет, ему – от силы сто семьдесят. Пиарчик. Крошка Цахес такой, черненький, хотя насаждается мысль, что в основном белый. И не фея Розабельверде, а сам Люцифер поглаживает его в нужные моменты по безобразной голове.

Да и кому быть подлинным автором учебника по пиару, как не ему, кто «вечно хочет зла, но сотворяет благо»? Ну, это дудки. Никакого блага он не сотворил, просто сумел обольстить даже Гёте, куда уж там было Булгакову удержаться. Не сотворил, потому что вообще ничего сотворить не может. Даже пиара. Цахеса даже. Учебник – может. Списать. Скомпилировать. Погладить по головке и пустить гулять по белу свету. Тоже мне, светоносец! Не зря дали ему имя самой таинственной, самой двусмысленной звезды – Венеры… Двусмысленной, двуликой, двуименной: Утренняя звезда! Ей же имя – звезда Вечерняя… Кометой пронеслась по черному небу моей памяти фраза

философа Витгенштейна: «Невозможно заменить “Вечернюю звезду” на “Утреннюю” в предложении “Пастух ложится спать, завидя «Вечернюю звезду»”: эти выражения имеют разный смысл, но предмет, который они называют, один и тот же – звезда Венера»… Так ученый немец рассуждал о значении и смысле, о великой тайне именования предметов мира… Утренняя звезда… Денница по-русски. Венера, любовь… Любовь земная и любовь небесная… Люцифер, принесший нам свет пиара, просветитель из тьмы, пророк личной воли, именованный Венерой. Что ж, скольжение смыслов и подмена понятий – испытанные приемы пиара и пропаганды.

Ах, да ведь он и так уже çi-devant – бывший: падший ангел, упавшая звезда, грянувшая с небес в глубины ледяной тверди. Проклятье мое напрасно. Все свершилось!

Секретарша колыхнулась в своем высоком кресле, и черный плащ ее волос на миг открыл резкий профиль. «Но мои влажные ладони… Мое трепещущее сердце… Нет, какое же я ничтожество, вот и Логос меня покинул, отлетел с омерзением, увидев мое смятение перед жестким лицом власти – преступной, денежной, циничной!»

Так думала я, еще сидя в приемной, на бархатном диване, украдкой вытирая платком потные ладони и – волнуясь. Что поделаешь. Нервы. Просить вообще противно. Но почему я так завелась? Сердце колотится, вся дрожу… Власть. Вот она, разлита вокруг. Вот ее ядовитые испарения, ее циничная сила. Логос, где ты? Легко же ты меня покидаешь. Меня, дрожащую тварь с потными ладонями…

Но тут секретарша пригласила меня войти. Вернее, просто посмотрела на меня наконец – впервые за полчаса, что я провела перед ней в приемной.

В проеме двери открылся зал. Задняя его стена терялась в солнечно-туманной дымке, так что пространство казалось безграничным. Как в горах.

Я ступила своими коричневыми ботинками на персиковый ковер, и высокие каблуки потонули в нем, утратив от этого всю свою звонкую и беспечную силу.

Передо мной простирался стол для заседаний, блестящий, как плавательный бассейн.

На столе сидел L – на самом краю, нога на ногу, легкий и угловатый, как хищная птица, готовый и мгновенно соскользнуть, и сидеть так бесконечно. Спокойный. Одной рукой он опирался на стол, другой сделал мне знак садиться.

– Хотите сок? Я могу предложить свежевыжатый, апельсиновый. Сам всегда пью. И только его. Не хотите?

Я не отказалась. Осетрина и другие компоненты здорового образа жизни олигархов появились позже, по ходу беседы.

И села в торце стола, поближе к двери. Положила ладони на стол (жест «открытая рука», как рекомендует мудрость пиара, а на самом деле – чтобы он знал, что я об этом приеме знаю).

Послушно отвечая на вопросы, я поняла, что от меня требуется. Деньги дадут. Иметь своих выкормышей – акул пера, взращенных на свежих кусках плоти раздираемой на части страны, на крови, алой соленой крови, ежедневно каплющей с олигархических клыков, – иметь таких не просто хорошо. Необходимо. Для пиара, понятно. Нужно же в этой стране формировать благоприятную информационную среду. Общественное мнение.

Я подарила учебник. Он полистал, кивнул, сказал, что до завтра прочитает.

Я подняла брови. И зря. Прочитал ведь! Назавтра же это и выяснилось, когда я в ректорской машине повезла к нему на подпись пакет документов, подготовленный с помощью скромной ротвейлерной девочки – секретарши Мефисто.

Он тоже поднял брови, и допрос продолжался. Я делала все по правилам: отвечая, смотрела в глаза. Прерывание зрительного контакта – переключение ролей в беседе. Он задавал следующий вопрос, уточнял и все чаще переходил к монологам.

– Образование у нас никуда не годится, – говорил Люцифер. – Совершенно оторвано от жизни. Люди ничего не умеют. Не приспособлены к жизни.

– К какой? – спросила я.

– Что к какой?

– К какой жизни?

– К профессиональной, вот к какой.

– Чтобы уметь, надо знать, – сказала я.

– Не умеют простейших вещей, – продолжал он. – В программах одна теория. То ли дело в Штатах. Нам нужен американский образец. Практика, практика и еще раз практика. Никакой теории. Кейс-обучение. Пример из практики – разбор – пример для выполнения. Очень просто. Вот и у вас так должно быть. На факультете журналистики. Вы будете деканом, согласен. Если Мефистофель рекомендует. И учебник ваш мне понравился. Составите программы – покажете мне. И никакой теории, уж будьте добры.

– У нас госстандарты, – взмолилась я. – Чтобы лицензию получить, нужна, например, теория журналистики. Так дисциплина называется. И много другого. Философия, как у всех. Логика. История журналистики. История литературы… – О

риторике я и заикнуться не посмела.

– А вы программы по стандарту составляйте, а учите не по стандарту. Кому она нужна, эта философия? История тем более.

– Для аргументации хотя бы, – сказала я. – Для того, чтобы убеждать. Для пиара. И пропаганды, между прочим. Литературные аналогии, исторические – распространеннейший тип доводов в журналистике. Без него никуда. В рекламе даже.

– Риторику введите, – приказал Люцифер. – Я ваш учебник еще почитаю, пока листал, вижу – почти пиар. Пусть будет. Пиара побольше. Все остальное – к черту. Одна практика, помните, одна практика.

– Но ведь они сразу в газете работать будут. Это и есть практика.

– А тогда можно вообще только газету и оставить, – улыбнулся он. – Так и сделаем. Нечего зря время тратить. В аудиториях штаны просиживать. А программы напишите. В министерстве пройдет, мы устроим. Получите вы свою лицензию. Скажите, а вы действительно считаете, что все это нужно?

– Что все?

– Ну, вы понимаете. Теория. История с географией…

– Считаю.

– А у вас дети есть?

– Есть, – сказала я и впервые за эти часы вспомнила о Ники. Странно, что забыла. Ведь для него я тут и мучилась, для него и его отца. Что бы он сказал, если б сидел здесь, за блестящим столом, и слушал, как клекочет об образовании эта крупная хищная птица? Какой свет знания несет на своих черных крыльях?

В этот момент внесли осетрину. Жаль все-таки, что Ники тут нет.

– А чем они занимаются?

– Тритонами, – чуть было не сорвалось с моих пересохших губ, но я вовремя одумалась. Вряд ли Люцифер вообще знает, что это такое. Кто это такие.

– Лягушками, – ответила я.

– ЧЕМ??? – не спросил он, нет, – вскричал в возмущении.

– Лягушками, – повторила я внешне спокойно. Было ясно: он ждал, что я отвечу как всякий, до меня входивший в эту дверь и удостоенный сидеть за этим столом: юриспруденцией, экономикой, медициной… Журналистикой, наконец.

– ЗАЧЕМ??? – снова воскликнул он.

– А потому что это ИНТЕРЕСНО, – сказала я.

Люцифер почувствовал, что некая грань преодолена, и услышал в моем зазвеневшем голосе вызов.

– Интересно? – повторил он с издевкой. Но и с недоумением.

Он был озадачен. – Интересно?

– Ну да, интересно. Просто интересно, и все.

– Но… Так же нельзя. Что они будут делать, когда вырастут? На паперти стоять с протянутой рукой?

– Конечно. Именно. Это у нас называется – наукой заниматься.

– Но ведь у нас это бесполезно, – сказал он, успокоившись. – Наукой стоит только в Штатах заниматься.

– Ну… Наверное, – сказала я. – У нас сейчас, наверное, и правда бесполезно. Но что значит – полезно? Вы что имеете в виду?

– Да в общем-то ничего. Лягушками одинаково бесполезно. Что в Штатах, что у нас. Один черт. Вот вы говорите – интересно. Это ведь что? Так, удовлетворение собственных потребностей. Потому за это и не платят ничего.

– А вот, – начала я вкрадчиво, – вот, скажем, Фарадей. Он, думаете, почему изучал химическое действие тока? А потому, что им владела общая идея – чисто философская, между прочим. О единстве сил природы. И открыл электромагнитную индукцию. И эта самая индукция стала основой всей электротехники. А делал он все это не ради пользы. Ему лампочка Ильича даже померещиться не могла. Ему просто было ИНТЕРЕСНО. А все это я знаю, потому что училась в советской школе. Физику учила. Хотя для практической жизни, тем более для моей профессиональной, физика совершенно бесполезна. А вот вас переспорила. Не знала бы – не смогла. Вот.

– Ну, до свидания, – сказал Люцифер. – Спасибо, что уделили мне столько вашего драгоценного времени. Оторвали от изучения того, что вам интересно. Вы интересная женщина, между прочим. Вам это известно? Из школьного курса физики, я полагаю? Или из вузовской философии?

– Ну да, – согласилась я. – Из диамата, истмата и политэкономии: капитализма и социализма. У меня только за социализм четверка, а так все пятерки.

Не сомневаюсь, профессор, – ухмыльнулся Люцифер на прощанье. – Могли бы и не говорить. Это само себя видит, как сказал бы француз. Монтескье какой-нибудь. Но я ведь не менее галантен, правда?

От биографа

Если бы в год, когда мне исполнилось 16, не тигр был властителем мира… Но это именно он, великолепный махараджа джунглей в ярчайшем полосатом атласе, занес тогда над нами свою когтистую лапу. Тигриной лапе, которая легко ломает позвоночный столб быка, ничего не стоит чуть искривить земную ось или, по крайней мере, наклонить ее так, чтобы все понеслось и закрутилось в вихре нежданных событий.

Если бы небесный тигр не внушил коту, обыкновенному, хотя и очень крупному соседскому коту, ощущения своего могущества под защитой своего полосатого покровителя, разве посмел бы этот усатый зверюга проникнуть на наш дачный участок и разгуливать там поутру? Разве утратил бы он на рассвете майского дня страх перед Батоном – ужас, впитанный с детства и крепший в нем, ничтожном котенке, пока он взрастал за сеткой забора, глядя на свирепого пса, охранявшего наши владения? Разве забыл бы, выходя на поиски гнезд с беспомощными голыми птенчиками или теплыми насиженными яйцами, что Батон никогда не дремлет? Разве стал бы недвижно супротив врага в свой смертный час, выгнув спину и яростно шипя, вместо того чтобы бежать во всю прыть и найти себе спасительное укрытие?

В ранний час цветущего мая мой воскресный сон на дачной веранде был внезапно прерван.

– Мальчика убили! – кричала в отчаянье соседка Любка. – Мальчик! Мальчик! Мальчика убили!

Я распахнул дверь на крыльцо. За забором, закрыв лицо руками, рыдала Любка. В этот год она сдала дачу на все лето, кипенно-белым цветом был одет терн и вишни, стояла настоящая жара, и семья даченанимателей с двухлетним мальчишкой переехала из города уже на майские праздники.

– Батон мальчика убил! – услышал я снова. Нет, это был не сон.

Ничего страшнее со мной, кажется, еще не случалось. Я боялся взглянуть с крыльца туда, куда было обращено Любкино заплаканное красное лицо – на заросли бузины и крапивы у сарая, а потому тупо смотрел прямо перед собой, на калитку, ведущую к соседям, и на Любку. Она причитала. Я стоял в оцепенении. Пахло свежей смятой травой, выпустившей зеленый сок, пахло цветами и солнцем.

– Коля, – закричала, всхлипывая, Любка, отняв от красного лица руки и увидев меня на крыльце, – Коля, иди, посмотри, может, жив еще? Мальчик мой! Мальчик! Сколько раз я его от

забора отгоняла, пока котенком был, думала, понял, вырос ведь! Котик мой любимый! Пролез-таки… Вот здесь, в этом месте пролез, под калиткой! Коля, Коленька! Беги скорей, я ведь к вам зайти не могу, Батон не пустит… Дай его мне, моего котика, живого или… – И она снова закрыла лицо руками, раскачиваясь под ветвями цветущей яблони.

Мир обрел прежние, привычные, чудесные очертания. Вся красота его вновь вернулась, обрушившись на меня теплым водопадом майского ливня. Зловещая ядовито-зеленая буйная крапива и темная, вонючая бузина ада преобразились.

Ноги еще плохо слушались меня, когда я спускался с крыльца и шел к этим уже не страшным зарослям.

Там, опустив голову к земле и стараясь просунуть нос в щель под сараем, стоял Батон. Не оборачиваясь, он приветствовал меня: султан на обрубке хвоста плавно покачивался.

– Люб, – сказал я, подходя к калитке, – он под сарай заполз. Как достать, не знаю. У нас там досок полно и всякого хлама. Может, выживет. Я Батона запру пока, а ты посмотри, хорошо?

К вечеру Мальчик так и не выполз. Под сараем было тихо. Запертый в доме Батон был спокоен. Под глазом его недолго кровоточила крохотная ранка.

Когда первое горе утихло, Любка сказала только: «Ну, делать нечего. Кошки это кошки, собаки – собаки. Так мир устроен. Ничего, Коленька. Не волнуйся. Забудем. Мы ведь соседи. Да и вообще… Чего уж тут». Как поразила меня эта тихая, печальная формула смирения!

Через пару дней появился запах. Ужасный, невыносимый, тошнотворный. Над сараем, вокруг него и особенно в нем жужжали и носились черные тучи мух. Делать было и впрямь нечего – залежи некогда полезных вещей, скопленных отцом под строением, не позволяли вытащить труп. Так наш сарай стал мавзолеем кота.

Еще через неделю мы почувствовали, что цветет нагретый солнцем шиповник. Потом сладким дурманом дохнула жимолость. Еще позже в воздухе разлился аромат жасмина и поглотил все запахи разом. Все было забыто.

Мой профессор ездил на зачеты и экзамены с дачи в Москву. Я готовился к выпускным – в школу меня отправили, когда мне было шесть, вот и настало время: выпускаться – и сразу же поступать. На биофак. В МГУ, конечно. На факультет, которым четырнадцать лет правил прадед. На кафедру, которой руководил он четверть века бессменно. Прадед – основатель дачи, демиург семейной вселенной. На даче же я и готовился – ко всему сразу. Ко всей моей жизни.

Отец был в экспедиции. Снова где-то в Туве. А может, на Алтае, не припомню. В общем, его, как всегда, не было. Мать в свободные от университета дни (какой уж это был у нее университет! Название одно) красила дачу. Изнутри – окна, двери, полы, а на первом этаже, в прадедовой норе, вырытой им собственноручно лопатой под корнями ели и выложенной кирпичом, – еще и белила оштукатуренные стены. Я помогал двигать мебель, остальное она делала сама. Даже краски сама покупала и возила на тележке из Истры.

Запах масла, скипидара и уайт-спирита перебивал по ночам даже левкои и душистый табак. Профессор делал и эту свою работу с привычным тщанием, но и с порывом, с неистовством сражающегося берсерка, всегда допоздна, иногда чуть не до рассвета. Да ведь первые песни зарянок звучали в четыре, а небо светлело на востоке и того раньше.

Документ Word 5

Держа кисти в одной руке, а пакет с пустыми банками из-под сурика – в другой, я пошла к сараю. Там, сидя на высоком пороге, я завершала свой дневной – нет, скорее, ночной труд. Мыла кисти растворителем, оттирала постным маслом пятна и брызги краски с кожи. Этот заход был особенно тяжким – но ведь и последним! Больше на даче красить было нечего.

Но тоска не прошла. Ее удавалось отогнать только работой. Помогала именно работа физическая. Невыносимая. Невыполнимая. С тоской можно было справиться только таким напряжением сил, чтоб в голове ничего не оставалось. Ни мысли, ни слова.

В то лето Логос меня покинул. Казалось, все книги написаны, дальнейшая жизнь не обязательна. Все сделала. Можно умереть. Вспоминался предсмертный стон арбатского мудреца: «Ничего не сделал. Ничего не успел сделать!» Так, прощаясь с жизнью, горевал мой Учитель, автор множества толстых томов, бесчисленных печатных листов и бесконечности мыслей. И было тогда моему Профессору 95 лет. Мне сейчас 38. Вот как.

Ники… разве что Ники. Да, конечно. Что за дурацкие мысли. Ребенок не выращен, не поступлен. Но как тяжело…

Сидя на шероховатой доске порога, в проеме двери, из тьмы сарая распахнутой в цветущий сад, я медленно оттирала одну кисть за другой, бросая в мешок испачканную краской ветошь, и – не думала, а так – плыла по реке, по ночной, тихой реке моего сознания, замутненного ядовитыми парами едких атрибутов маляра.

Я знала, что на самом-то деле я не плыву. Не плыву и по жизни. Это кажется только. Нет, не плыву – тону. И вспомнилось из детства: на берегу теплой и темной реки Подмосковья спасали тонущего мальчика.

«Держись, держись, выплывай, – кричал кто-то из взрослых. – Держись, двигайся! Сейчас помощь, вон дядя к тебе поплыл, уже подплывает! Держись, держись на поверхности! Старайся!»

«А мне то-о-о-нется, – доносился ответный стон. – Мне то-о-нется!»

Вот и я чувствовала: тонется мне. Тонется.

Но тряхнула головой, отгоняя тоску, как муху (а ведьбыстро они пропали!), и сложила в ведерко отмытые кисти. Даже ночью не отступала жара. Было душно.

Внезапно спину охолодил леденящий ток воздуха. Будто северный ветер пронесся там, за мной, в глубине, из конца в

конец сарая. Я обернулась так резко, что ведерко со стуком опрокинулось.

И я увидела. Через весь сарай, из угла в угол, пронеслось что-то вытянутое, полупрозрачное, будто сгусток тумана, голубоватое, чуть светящееся… Это был кот, только неясно-расплывчатый, неочерченный, вытянувший лапы и хвост в стремительном полете под крышей… Привидение кота. Призрак. Вот что это такое.

Я вскочила в ужасе и, оторопев, всматривалась во тьму сарая. Она оставалась непроницаемо-черной. Не знаю, сколько времени я так простояла.

Утром, выспавшись, я вернулась и подобрала ведерко и кисти. Пока я раскладывала все нужное на полках сарая и складывала все ненужное в полиэтиленовый мешок, на выброс, меня не покидало чувство, что я не одна.

Накормив Ники завтраком, я налила в блюдце молока и снова направилась к мавзолею кота.

– Мам, ты куда? Это кому? Ежам или белкам?

Задвинув блюдце в ту самую щель, где исчез, чтобы умереть, Мальчик, я вновь села за стол под желтым абажуром рядом с Ники, налила нам с ним по чашке крепкого чаю и все рассказала.

Он разбудил меня ночью.

– Мам, просыпайся. Пойдем, мам. Он снова там. Летает. Я видел дважды. Два раза пролетел, представляешь? – Ники весь дрожал от возбуждения. Или от страха?

Мне не очень хотелось идти. Я пошла. Но мы ничего не увидели.

Однако потом призрак кота являлся нам постоянно, стоило только захотеть. Проснуться перед рассветом – а светало все раньше, – сесть на порог открытой двери сарая лицом в сад и подождать – недолго. Через пару недель все прекратилось.

Но только несколько лет спустя, входя в сарай, я внезапно почувствовала, что теперь я там одна.

Документ Word 6

Ах, если бы время так не летело… «Но чтоб уйти, мелькнув, как тигр легки», – сказал Франческо Божественный о мгновеньях счастья. Неправда! Время тоски так же мимолетно. И даже стремительней – вот уж его, как тигра в зарослях, и впрямь не замечаешь. А ведь выслеживает тебя полосатый зверь времени осторожно, беспощадно, и по следу идет неуклонно, ни на миг не отрывая от земли тяжелую голову.

Если бы дети не росли так же быстро, так же неуловимо, как уходит любовь… Ники, маленький Ники только успел родиться – и вот ему уже шестнадцать, и военкомат шлет одну повестку за другой. Чтобы выполнить когда-нибудь свой гражданский долг, Ники призывался на медкомиссию. Без этого документы в МГУ сдать было невозможно. Пришлось оторвать время от подготовки к экзаменам и ехать в Москву.

Обследование длилось полдня и закончилось многообещающе.

– Такому мальчику в армии, конечно, не место, – сказал невропатолог, косо поглядывая на выписки из медкарты, свидетельствующие о нескольких сотрясениях мозга. И на бледного Ники. Для военкомата ребенок выглядел на все сто – краше в гроб кладут. И веселее. – Выписываю ему направление в районный психдиспансер. Пусть посмотрят. И заключение напишут.

На прием к районному психиатру мы попали вечером. Сидеть под дверью кабинета пришлось почти час. Все это время в кабинете шла интереснейшая беседа. Пациентке, судя по голосу, было лет за восемьдесят. Чтобы быть услышанным, врачу приходилось орать, так что до нас доносилось каждое слово.

– Что беспокоит? – гаркнул психиатр.

– Он, милый, он и беспокоит. Все время беспокоит, что ни день. К вечеру особенно.

– Кто он?

– Ну он. Он, тот же, что и всегда. Он не меняется.

– Как беспокоит? Каким образом?

– Да самым обычным образом и беспокоит. Своим.

– А какой у него образ-то?

– Черный такой, жуткий. Волосатый. Ну, все как всегда. Пугает меня. Вечером, как фонарь под окном зажгут, вот как сейчас, так и пугает.

– И как же пугает?

– Сядет на фонарь верхом, ногами зацепится, а руками

своими черными меня призывает. Так и манит к себе, так и манит.

– А если занавески задернуть и на фонарь не смотреть? Пробовали?

– Нет, милый. Зачем закрывать завесы-то? Ведь я его тогда не увижу.

Дальше пошло препирательство. Врач предлагал задвигать в комнате шторы загодя, пока некто черный еще не уселся на столб зажженного фонаря. Пациентка отказывалась, выдвигая все новые и новые доводы, нередко весьма остроумные. Вообще на кон она явно переигрывала врача находчивостью, изворотливостью и логикой.

Ники сидел в оцепенении и иногда взглядывал на меня. В глазах его читался непреодолимый ужас. Я видела, что подлинный, не наигранный страх овладел всем его существом. Я взяла его за руку. Она была ледяная и влажная. Разговор продолжался, и Ники перестал смотреть на меня. Уставился в угол и сидел так – сгорбленный, неподвижный.

Наконец дверь открылась, и старуха, выплыв из нее, прошествовала мимо нас. Она оказалась неожиданно маленькой. Под руку ее вела какая-то женщина. Мы поднялись и медленно вошли в кабинет – словно переступили порог преисподней. Ники еле передвигал ноги.

Врач, сухощавый и мрачный высокий человек с бесцветным лицом, указал нам на стулья у окна, очень далеко от стола. Теперь я поняла, почему он так орал во время беседы со старухой.

– Ну что, молодой человек, как спите? – начал он. Ники ответил, что его мучают кошмары. Каждую ночь просыпается с криком.

Я с удивлением взглянула на него. Видно было, что он решил сделать все возможное и невозможное, чтобы в армию не попасть.

Вопросы следовали довольно быстро, и Ники, белый как мел, отвечал не глядя на врача, в том же темпе.

– Слышишь что-нибудь необычное?

– Что значит «необычное»?

– Ну, такое, чего нет? Например, кажется тебе, что у тебя за спиной голоса, обернешься – а там и нет никого. Бывает?

– Бывает, – с готовностью согласился Ники.

– А в голове?

– И в голове тоже. Бывает. Часто.

– А не видится ли тебе чего необычного?

– Видится.

– Ну, расскажи, расскажи, что видишь. Не стесняйся. Это у всех бывает. Ники замолк.

– У нас на даче по ночам я вижу привидение. Регулярно, – сказал он уверенно.

– Неужели? Как интересно! Привидение! Какое?

– Ну, это, знаете ли, призрак. Призрак кота.

– ЧЕГО?

– Ну, кота наш пес убил, тот залез под сарай и там сдох. А теперь если ночью пойти в сарай, то там пролетает призрак. Привидение кота.

– А ты откуда знаешь, что кота?

– Ну он же похож… Кот и есть. Только такой расплывчатый, туманный. Проносится под потолком, как пуля. И ветер холодный дует. Как из холодильника тянет.

– Спасибо, достаточно. Выйди, мальчик, подожди в коридоре.

Ники неожиданно бодрым шагом направился к выходу.

– Дверь за собой закрой, – напутствовал врач. И обернулся ко мне. – Ну, что вам сказать. Сами видите, вы мать. Зрительные и слуховые галлюцинации. И все остальное тоже. Ребенок серьезно болен. Нуждается в немедленном лечении. Промедление смерти подобно. Я не шучу. Тут не до шуток. Я сейчас выписываю лекарство, слабенькое для начала. Последите недельку, как пойдет. Потом снова ко мне. Будем лечить здесь, в дневном стационаре. Это пока.

– А диагноз? – прошептала я.

– Диагноз очень страшный. Вплоть до потери ребенка. Лучше пока не называть.

– Но вы понимаете, доктор, он же все наврал.

– Не-е-ет, дорогая моя, – процедил с удовольствием врач. – Так не наврешь. Давно я такого не слышал.

– Я серьезно, – настаивала я. – Конечно, мы будем очень признательны, если… Ну, вы понимаете… Нам ведь нужно заключение для военкомата, и сейчас же. Иначе документы не примут в вуз.

– В вуз! – расхохотался врач. – Ему сейчас не в вуз надо. Как бы до стационара не дошло. Но вообще-то дойдет, – успокоил он меня, – дойдет, непременно.

– Доктор, я все же прошу вас понять… Ну, у нас семья такая… Мы ученые, книги пишем… Шутки у нас такие бывают… необычные.

Наконец врач взглянул и на меня с интересом.

– Необычные? Шутки необычные? Семья особенная? Психиатрические заболевания у родственников до третьего колена?

Я не стала отвечать, взяла рецепт и вышла. Ники сидел в коридоре и снова смотрел в угол. Мы вышли в летний московский

вечер. Нежный ветерок доносил с набережной запах реки, из сквера – цветущих каштанов. Мы молча шли рядом. Я не знала, что и сказать. А главное – не знала, что думать. Вдруг все действительно так, как сказал этот изверг. Ну и что, что Ники наврал. Но ведь в военкомате он выполнял тест, по результатам которого нас отправили в диспансер…

Утром, дав Ники на всякий случай четверть таблетки вместо предписанной целой, я пошла на экзамен. Через час в аудиторию вбежала лаборантка.

– Извините, профессор, вас к телефону. Срочно. Из дома.

– Приезжай немедленно, – это был голос Алексея. Он только что вернулся из поездки. – Бросай там все и приезжай. Что у тебя с ребенком? Его трясет, он смеется… Я боюсь. Что ты с ним вчера сделала? Что ты ему давала?

Когда я вошла, Ники сидел на кухне, у стола, на своем месте. Сидел нога на ногу. Смотрел он в стену, одна нога непрерывно дергалась, взлетая чуть не выше стола.

– Что с тобой, милый? – тихо спросила я.

– Мамочка, что они со мной сделают? – И он заплакал. И сразу же засмеялся. Стал бормотать какую-то чушь, из которой мне стало ясно одно: он волнуется из-за какого-то пособия для экзамена по математике.

Под руку я вывела сына на улицу, и мы пошли по Садовой в книжный у метро «Парк культуры». Купили учебник. Вернулись домой. Ники вел себя как пьяный. Жаловался, что нестерпимо болит голова. Понемногу дрожь утихла. Я напоила его бульоном – есть он не мог – и уложила в кровать.

Проснулся он к вечеру следующего дня – нормальный.

Всю ночь мы, пара несчастных родителей сумасшедшего сына, просидели у его постели. Мы поверили врачу. Но лекарство почему-то давать больше не стали.

– Шизофрения? – гадал Алексей. – Маниакально-депрессивный? Будем надеяться, что психопатия. Это полегче и, кажется, как-то лечится. Только бы психопатия…

Утром, пока Ники спал, мы обзвонили всю Москву. И нашли наконец. Нас предупредили, что врач в преклонном возрасте, но это не должно нас смущать: лучшего специалиста в городе нет.

На следующий день я еле уговорила сына сесть в такси и ехать на прием. Он был испуган – смертельно.

– Мамочка, не надо, только не надо. Оставьте меня. Все хорошо, только не трогайте меня. Я не могу разговаривать. Я не смогу отвечать на эти вопросы. Я просто больше НЕ МО-ГУ!

Но мы поехали. «Шизофрения? Маниакально-депрессивный? Только бы психопатия, – все вертелись каруселью в моей бедной

голове эти три болезни. – Только бы психопатия…»

Открылась белая дверь с золотой табличкой, на которой промелькнуло слово «профессор», и навстречу нам вышла маленькая сухая женщина. Ее темное плоское лицо, покрытое мелкими тонкими морщинками, светилось изнутри. Узкие черные глаза искрились, губы, почти съеденные возрастом, невозмутимо и приветливо улыбались.

Мы провели с нею два с половиной часа. И не заметили этого.

– Что ж, молодой человек. Я как специалист обещаю вам большое будущее в науке. Может быть, очень большое. Жаль, что вы не пойдете к нам, в медицину. Без вас она много потеряет. Ну, тритоны так тритоны – воля ваша. Но для высоких достижений, к которым вы, безусловно, способны, нужно нечто весьма простое, но неукоснительно выполняемое. Режим сна, отдыха и работы – это для вас главное. Перед сном, по крайней мере, час не заниматься. Гулять. Чтоб легче было заснуть – на время экзаменов – вот вам. – Она открыла ящик стола и протянула Ники коробочку тазепама. – Полтаблетки за двадцать минут до сна. Теплое молоко. Вот и все. Успехов вам, юноша.

Денег она не взяла. Мы вышли на улицу просветленно-спокойные. «Господи, – повторяла я, – спасибо Тебе, что есть такие люди. Спокойные, мудрые, знающие. Сильные непобедимой силой добра и правды. Как давно не видела я таких людей. С тех пор как ушел из моей жизни, а потом и из мира арбатский Профессор. С тех пор как, прижав руку к красному камню у горла – оперированного, все еще саднящего горла – благодарила старого Профессора-хирурга».

Непостижимым образом районный психиатр не проявил более никакого интереса к тяжело больному юноше, который нуждался в срочном лечении. Так нуждался, что промедление было смерти подобно и грозило нам, родителям, потерей сына.

Заключение, по просьбе Алексея, еще раз посетившего диспансер уже без Ники, было написано, направлено в военкомат и не содержало никакого психиатрического диагноза. По линии неврологии найдено было некоторое нарушение мозгового кровообращения, и комиссия постановила: годен к нестроевой.

Документ Word 7

Если бы время не кружило свое колесо еще быстрее, чем белка в клетке: бешеный бег, спиц не видно, и скрипит, визжит разогнанный обруч! Наш паровоз вперед летит – а все на одном месте! А казалось, и остановки не будет, разве только в коммуне. Да вот и она. Опять она – коммуна.

Если бы только собрание преподавателей и сотрудников коммерческого университета не готовилось с такой поспешной значительностью! Если бы не вызывал к себе руководителей подразделений и кафедр возбужденный Мефистофель и не наставлял бы их таким тихим бархатно-стальным голосом: присутствовать обязаны все сотрудники – явку обеспечить стопроцентную!

Если бы ректор Мефисто не был так необычайно взволнован, то не забыл бы, конечно, вовремя предложить виски первому проректору и своему возможному преемнику – огромному и розовому, как кряжистая сосна над балтийскими дюнами, Альгису Смильчайтису, сыну бывшего партийного босса всей Литвы и Жмуди. И выпили бы они перед собранием вдвоем: вовремя и в должном количестве.

И Альгис в своем лучшем костюме, сером, как море его родины, и при галстуке, голубом, в цвет собственных глаз, вошел бы вместе с ректором, как полагается – заранее, и занял бы свое законное место одесную Мефистофеля, который сам сидел одесную высокого Гостя. И не ввалился бы тогда сын прибрежных дюн в зал уже после речи Гостя, когда тот отвечал на робкие вопросы коллектива. Ответы на домашние заготовки ректора и остальных проректоров были даны Гостем в первую очередь – снисходительно, с подобающей назидательной небрежностью.

Я села как могла дальше. Коллектив моего факультета журналистики призван был сыграть особую роль. Продемонстрировать, что влиятельные московские и даже российские СМИ не просто представлены в зале лучшими силами, но все эти лучшие – свои. Наши. Что они – друзья, преподаватели или выкормыши коммерческого университета. Как и Гость. Выпускник. А теперь и Друг. Еще бы ему не быть другом: ведь только этот университет он и смог закончить. Два или три предыдущих – нет. Не смог.

Но я села подальше. Я тут была вообще ни при чем. Как всегда. Профессора в такой игре не пляшут. Они здесь просто не в кассу. Профессора – несколько штук – нужны для штата, чтоб обеспечить министерству минимальную возможность дать

университету лицензию. Это я успела узнать, как и то, что декан декану рознь. Я – декан-девочка, на весь университет одна такая. Другие деканы – большие, взрослые. Их показывают по телевизору, они наследуют власть по семейной линии. Они, кстати, тоже профессора. Но какие-то другие. Им и сидеть впереди, так, чтобы взгляд Гостя, упав на знакомые лица, остановился. А Гость – удовлетворился.

– Потребности всего населения этой страны мы обеспечить не сможем, – завершал Гость свою мысль, ответствуя самому лучшему студенту, будущему юристу Амиру Бабиеву. – Это страна бедная. Бедная страна. Поймите вы это, наконец. Ни бесплатного образования для всех желающих, ни бесплатной медицины, ни всякой там помощи – пусть и не рассчитывают. В бедной стране живем. В бед-ной. А бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Правильно?

Аудитория одобрительно зашумела – очень сдержанно, с облегчением. Напряженная процедура клонилась к концу.

В этот момент и ввалился Альгис. Последние слова Гостя донеслись до его слуха, когда он приближался к открытой двери зала. Лицо сына жмудских болот, и без того красное, стало малиновым, как солнце, опускающееся в воды Балтики. Такой закат предвещает ветер. Случился шторм.

– А остальным, кто платить не может, им-то что делать? – неожиданно загремел бас Альгиса, давно и привычно ощущавшего себя будущим ректором. Почему вдруг взыграла в его могучем теле народная правда, малой толики которой никогда я в Альгисе не замечала? Виски, все он. Или оно. А может, коньяк. Одно из двух. Правда, и водке здоровяк был не чужд. Так что возможно и третье. Но на самом деле, скорее, четвертое. Всетаки Альгис был сыном не только дюн и болот, но и литовского коммуниста.

Наступила звенящая тишина. Даже телевизионщики не шуршали проводами. Все замерли. Руководство в президиуме разом потупилось. Мефисто испепеляюще взглянул на своего преемника и сделал знак – не Альгису, нет. Тем, кому нужно. Ответа балт уже не услышал. Зато услышала аудитория. И журналисты.

– А, этим… Остальным… Таким придется умирать, что же еще? – громко и ясно промолвил наконец Гость. – Обеспечить всех мы не сможем. Кто выживет, тот выживет. Вот так. Все.

Собрание кончилось. Карьера Альгиса тоже. На следующее утро приказом таинственного Президента университета (видели его редко: он был гораздо выше – или ниже? – чем Мефисто, и многие знали только его имя: Велиар Ариманович), так вот: его

приказом литовец избудущего ректора превратился в бывшего проректора. Çi-devant. Дважды çi-devant, бывший: коммунист и бывший проректор.

Если бы не маркиз де Сад! Если бы не смятенный и мятущийся дух французской революции – запах крови, крови и страха, крови и семени… Запах преисподней. Что еще, как не зло явленное, зло торжествующее смогло бы расшевелить холодного, расчетливого отпрыска партийной московской номенклатуры, пробудить от томительного подросткового сна, привести на поприще литературоведения, раскинуть перед его вялым взглядом сокровища бесовских прелестей, сорвав покровы нудной морали, да еще впиться в его холодную губу шпанской мухой порока?

Донасьен Альфонс Франсуа де Сад – терзающий, но и страдающий – отдал за текст своей жизни все, что имел. А имел он многое. Больше, чем партийный отпрыск, выращенный в теплице подмосковных дач и столичных квартир, как огурец в целлофане. И заплатил маркиз за отринутую мораль щедро – душою, кровью, свободой.

Мог ли подумать сей страстный развратник, наивный и холодный теоретик зла, что спустя несколько еще более кровавых революций настанет черед революции обескровленной? Такой, что вознесет еще выше cidevant, бывших и без того высоко? Что некто столь же пресыщенный, но бесстрастный, некто леденее, чем мороженая рыба по имени «ледяная», подвергнет научному анализу текст его горячей и страшной жизни, и отогреется, и задвигается, и заживет призрачной жизнью, и возжелает литературной славы, и тоже напишет текст – чужой, де-садовской кровью? И своей не заплатит ни капли? Да и кто принял бы такую плату? Нужна Сатане хлорированная вода из морозильника! Как же! Таким он дает все даром, ведь с них и взять нечего. Нет у них ничего. Но за старанье – награда.

Не успел университет очнуться от приезда Гостя, не успели затихнуть шепотки в коридорах и кабинетах, как – ах! Опять собрание. На этот раз – актовая лекция. Всем обязательно быть. Как-то уже не так обязательно, но все-таки. Потому что – наука. Нет, извините, культура. Ради науки не стали бы собирать в самой большой аудитории бывшей Высшей партшколы студентов всех курсов и всех факультетов. Всех преподавателей и, конечно, деканов. Особенно и непременно – всех журналистов. Ради науки – нет. Но ради культуры, имя которой – успех, имя которому – власть, – это можно. И нужно. Необходимо просто.

Вот она, культура в университете. Актовая лекция нового заведующего новой кафедры – кафедры мировой литературы.

Специально созданной Приказом Президента Велиара в то самое утро, что оказалось роковым для сына Литвы и Жмуди.

Ряды амфитеатра шумели. Студенты обнимали студенток. Но чаще – студентки студентов. Те, кто не мог достаточно сблизиться, переговаривались по мобильникам. В партере степенно рассаживались преподаватели. Оборачивались к своим воспитанникам, сценически шикали. Телевизионщики переставляли треноги и, как всегда, опутывали все проводами. Специальный интерес к лекции проявлял канал «Культура». Недаром.

Наконец характерной походкой дипломата, расслабив мышцы рук от локтя – кисти свободно покачиваются в такт шагам, – чуть наклонив набок крупную голову с благородной сединой, только что уложенной у парикмахера, вошел Мефисто. Остановился у центра стола президиума, обвел педагогическим взглядом аудиторию. Шум и звон мобильников не утихли. Студенты перекликались, как перелетные птицы, присевшие отдохнуть: где ты? Ты здесь? Я тут! Ты откуда?

Из Шарм-эль-Шейха? Ну, клево! А я из Венеции. Круто!

Преподаватели зашипели громче, ректор внушительным бархатным голосом сказал несколько дисциплинирующих слов. Шум приутих, и Мефисто, указав обок себя места проректорам, приступил к делу.

– Коллеги! – Обращение прозвучало необычно. Деловая весомость его тона приподнималась на крыльях мечты и вот воспарила романтическим пафосом к тяжелой, как в Большом театре, люстре.

«Надо же так уметь! – невольно восхитилась я. – Одно короткое слово – и столько сказано!»

– Коллеги, – повторил Мефисто с завораживающей таинственностью, переходящей в ликование. – Сегодня мне выпала честь представить вам нашу новую звезду. Я счастлив, что сегодня с уверенностью могу назвать ее нашей. В Университете (ректор всегда называл свое детище с большой буквы) дал согласие работать известнейший писатель, крупный ученый-литературовед, ведущий хорошо знакомой вам программы телеканала «Культура». Отныне он заведует у нас кафедрой мировой литературы. Это новая кафедра. Она создана для того, чтобы вы, мои дорогие, стали не только блестяще подготовленными профессионалами – юристами, экономистами, лингвистами, – но и людьми высокой культуры, людьми поистине интеллигентными. К сожалению, наш писатель чуть запаздывает – Ректор с надеждой покосился на дверь, но, ничего там не обнаружив, продолжал: – Вдумайтесь, что такое Университет! Это

слово происходит от латинского «универсум» – «вселенная» («Вот дает! – подумала я. – За справку не далее как вчера угостил меня порцией виски»). Вот и наш Университет, almamater, станет поистине вселенной, с сияющими высота ми успеха (знакомо, но неплохо! – решила я) и с долинами, где трудятся в поте лица, ежедневно и ежечасно, разбивая киркой гранит науки! Только человек, универсально (подчеркнул голосом) образованный может стать настоящим специалистом и с гордостью носить звание выпускника нашего Университета. Культура нужна как воздух. Воздух нашей университетской вселенной – это культура. Важнейшая часть мировой культуры – литература. Вы станете не только бизнес-элитой, ведь наш Университет – элитарное учебное заведение. Вы не только научитесь здесь игре в бридж, этикету и верховой езде, но и с достоинством пронесете стяг гуманитарной элиты нового общества. Итак…

Тут Мефисто прервался. Не в первый раз, впрочем. Это на бумаге выходит гладко, а на самом деле ректор постоянно вынужден был призывать к порядку невоспитанных воспитанников «универсума». Речь была для них сложновата, и недисциплинированное внимание будущей гуманитарной элиты быстро рассеивалось. Они щипали друг друга, вскрикивали, мирно переругивались матом, целовались.

Дверь наконец открылась. К столу неуверенной походкой, сутулясь и озираясь, стал продвигаться худенький серый человек в зеленоватом свитере, вытянутом на локтях и мешком свисающем до колен.

– Коллеги! – возгласил Мефисто. – Приветствуем заведующего кафедрой всемирной литературы, известного российского писателя Романа Еремеева! Вам слово, Роман Вениаминыч, – с облегчением заключил он и сел – отдохнуть.

Начал писатель тихо и невнятно. Студенты расшумелись, и ректор, снова встав, обвел ряды грозным взором. Так ему и пришлось то стоять, то прохаживаться по залу, устремляясь туда, где шумели сильнее. Но слышно было все равно плохо.

– За двести лет своего пути русская литература не сделала ни одного верного шага, – донеслось наконец до меня.

Я решила, что ослышалась, и, воспользовавшись беспорядком в зале, пересела ближе – пред ясные очи лектора.

– Ни единого, – продолжал он, глядя в пространство, как ледяная рыба из полиэтиленового пакета в морозилке. – Сразу пошла не туда.

– А куда надо было? – крикнул кто-то с галерки.

– Куда она пошла? Туда? Или не туда? – уточнила старательная девушка с блоком писчей бумаги в яркой обложке,

куда паркеровской ручкой записывала лекцию. Поля были заранее отчеркнуты зеленым фломастером.

– Она пошла по ложному пути, – печально и тихо проговорил литературовед. – И вот уже двести лет с него не сворачивает.

«Ничего себе! – удивилась я. – Значит, не ослышалась. Ну, двести так двести. Но ведь двадцать первый век на носу. Впрочем, что ж? “Таковы пути всех, свершающих беззаконие, – нечестием губят душу свою”, – в веке одиннадцатом говорит автор “Сказания о Борисе и Глебе”. Тысяча лет выходит, а не двести».

– Ложность этого пути нашей литературы очевидна. Причина ее – в стремлении морализировать. Поучать то есть. Навязывать людям христианские представления о добре. В школе это называют «гуманизм русской литературы». Вот что ее погубило.

– Кого? – спросила меня старательная девушка. Я отмахнулась. Лекция становилась интересной.

– Толстой недопонял, – зазвучало далее. – Тургенев ошибся. Чехов недоучел…

Все это напоминало учебники тридцатых годов. Позже так не писали. И не говорили. Аудитория, что называется, «врубилась». Наступила напряженная тишина.

Человек в свитере приободрился. Выпрямился, одернул подол своей вязаной одежды и похвалил Достоевского. Сдержанно, с оговорками, но – похвалил.

– Единственный из русских писателей, кто уловил разлитое во вселенной зло, кто признал его силу, кто почувствовал и описал власть зла над душой и телом, его победу над так называемым добром, от проповеди которого всех уже просто тошнило, – это Федор Михайлович Достоевский, – аттестовал носитель гуманитарной культуры автора «Братьев Карамазовых», одного из всех русских писателей удостоив назвать по имени и отчеству. Прочие обошлись и так.

Сила негодования на «неправильную» литературу еще более распрямила фигурку лектора. Он еще свободней расправил узкие плечи и перешел к главному.

– Хватит насаждать мораль! Русские фашисты жгут книги моих друзей. Жгут на площади. Мы, писатели нового поколения, протестуем против этого символического акта – аутодафе Книги! Долой русский фашизм! Он не пройдет!

Раздались аплодисменты и неизменный свист.

– Долой! – кричали студенты с облегчением.

– Поблагодарим Романа Вениаминыча за блестящую лекцию, – встал Мефисто. – А теперь, дорогие друзья, ваши вопросы. Прошу! – И ректор, улыбаясь, развел руки, как бы раскрывая залу объятия.

Тут-то и случился новый скандал. Уже второй за неделю.

С места медленно поднялся лучший студент Амир Бабиев, в черной коже с блестящими заклепками и цепями. Когда говорил Амир, все молчали. Зал, уже рванувший было на выход, стих.

– Так что, по-вашему, добра нет? Так вас надо понимать? – спросил он, как всегда, прямо. Но слишком неожиданно. Как, впрочем, и Альгис, автор прошлого скандала.

Писатель схватился за подол свитера и дернул вниз.

– Не в этом дело. – Голос его упал, и дальше я не расслышала.

– В этом, – настойчиво и громко сказал Амир и выплюнул жвачку. – Есть добро или нет? Вы-то как считаете?

– Ну, у христиан принято считать, что есть…

– Что, только у христиан разве? – удивился Амир Бабиев. – А вы сами-то кто, христианин?

– Я – да, – быстро ответил литератор. – Я христианин, да.

«Ты комсомолец? – Да! – Давай не расставаться никогда!» – вспомнилась мне строка из песни моих детских лет. Пожалуй, и его лет тоже.

– Ну, так как? – настаивал лучший студент элитарного «универсума». – Книги жечь нельзя, согласен. Это зло. Но почему нельзя, если добра нет? А зло есть? Выходит, можно и книги жечь? Все можно?

– Дело в том, молодой человек, – приосанился писатель, – что творческий человек свободен. И он должен быть свободен до конца… до мозга костей, я бы сказал.

– Для этого мозги нужно иметь. По крайней мере в костях, – парировал Амир.

– Наши студенты любят обсуждать сложные философские вопросы, – пришел на помощь Мефистофель. – И мы рады этому. Вот она, подлинно творческая атмосфера нашего Университета. Надеюсь, Амир, на семинарах, в личных беседах с нашим новым коллегой, замечательным писателем и ученым, вы получите возможность поговорить о главном. А сейчас поблагодарим нашего лектора.

И, приобняв сутулые плечи, обтянутые зеленоватым вязаным покровом, ректор повлек звезду к выходу. А потом – я знала куда. К себе в кабинет, на рюмочку коньяку. Или стаканчик виски.

«Как можно ошибаться в людях. Не судите, да не судимы будете, – размышляла я, направляясь в противоположное крыло здания, в свой журналистский деканат. Каков Амир! Или добро и в самом деле существует, что прорывается на свет столь же неумолимо, как нежные ростки молодой травы ломают серую кору асфальта? Если так, то есть и Бог… А ведь я усомнилась…

Усомнилась…»

И я отперла ключом свой пустой кабинет, села в роскошное вертящееся кресло – «кресло руководителя», как этот предмет назывался в магазине офисной мебели, – и выпила рюмочку коньяку. Одна. С облегчением. Стало тепло. И светло где-то внутри. Наверное, там, где душа. За окном сгущалась тьма ноябрьского вечера.

В дверь робко постучали. Вошла незнакомая девушка, весьма привлекательная, с потоком струящихся золотых кудрей до попы и бархатными карими глазами.

Нежным лепечущим голосом она назвала меня по имени и отчеству.

– Да, это я. Чем я могу вам помочь?

– Э-э-э, – замялась девушка, – меня зовут Ксюша. Я – ну, как бы это сказать… Я как бы помощник Романа Вениаминыча… Я вообще-то с телевидения. А теперь еще буду типа лаборант, или методист, как у вас это называется… Ну, на этой кафедре, короче.

– Да, Ксюша?

– Так вот мне ректор посоветовал как бы от Романа Вениаминыча к вам сходить и все узнать.

– Что – все?

– А я и сама не знаю. Ну, все, что полагается. Романа Вениаминыча заведующим кафедры назначили, и он меня послал… типа спросить… как это… ну, что для этого делать надо?

– Заведовать, – сказала я. – Заведовать. Больше от него никто ничего не потребует. Так и передайте: надо заведовать. Хорошо?

– Как, и все? – Она широко раскрыла свои шоколадные глаза и помахала в воздухе ресницами.

– Все, Ксюша.

– Ну, извините… – протянула она и тут же приободрилась: – Но если что, я к вам еще зайду, вы не против?

– Пожалуйста, Ксюша, конечно, заходите, – ответила я с легким сердцем. Я знала: вряд ли хоть раз доведется мне впредь наблюдать этот симулякр телемира, прелестный, как девочка-цветок из анимэ.

Больше она не приходила. Исчезла.

Если бы не психология… Если бы не замечательная эта наука, разве созвали бы заседание Ученого совета, разве прозвучал бы на нем доклад бывшего зама бывшего министра просвещения, прогрессивного педагога и ученого-психолога, многотомные труды которого я давно заметила за стеклом в кабинете Мефистофеля – толстые книги, одетые в толстую красную кожу с золотым тиснением, так, как некогда издавались собрания

сочинения классиков марксизма-ленинизма? В нашем коммерческом «универсуме» этот молодой, совсем молодой и очень веселый человек был профессором, конечно, но особенно важным, потому что главной его кормушкой по-прежнему оставалось министерство.

Если бы не скинхеды… Если бы не бесчинства фашиствующих бритоголовых чернорубашечников в российских городах, разве возник бы президентский проект по внедрению толерантности в сознание россиянина, разве разрабатывались бы психологически обоснованные программы по развитию толерантности на всех уровнях образования – от детского сада до вуза включительно? И главное – разве на реализацию этих программ выделены бы были столь значительные бюджетные средства?

– Привет, Валюша, дорогая, тебе грант не нужен? По толерантности? А то у меня есть. Хочешь – бери! – разносился по коридору баритон бывшего замминистра перед заседанием.

И сам доклад был веселым, энергичным и, соответственно, очень коротким. Профессор быстро объяснил, что такое толерантность, как нам всем ее не хватает, какие ужасы сулит ее отсутствие и какие выгоды – стремление к ней.

Выходило – надо быть толерантным. Чем толерантней, тем выгодней.

Мефисто отдал приказ факультетам: ввести толерантность в учебный план как обязательную дисциплину. А лекции сделать общими, для всех сразу. И читать будет наш главный психолог, самый толерантный человек в вузе. А может, в этой стране. Глава толерантности в министерстве. Ее доверенное лицо. Ее адвокат и распорядитель.

И в третий раз, через неделю после первых двух, случился скандал. На этот раз совсем камерный. Пока весельчак докладывал, присутствующие посчитали в уме, сколько в год получается лекций. А почем платят за одну лекцию главному психологу, тоже все знали. Выходило, что толерантность встанет вузу в новую иномарку высокого класса.

Но вместо этого встала главный бухгалтер «универсума» – поднялась как бы нехотя, как бы с трудом, кутая острые плечи в немодный, но надежный широкий шарф, спасавший ее узкую грудь от внезапных сквозняков нежданных нововведений.

Сначала она покашляла. Потом закашлялась. Немедленно поднесен ей был стакан чая с лимоном: в холодные времена года «универсум» обеспечивал своим комфорт и защиту.

– Это что ж выходит, господин ректор, – сказала она наконец, тряхнув светлыми кудельками слабых волос. – Шутка ли, такая сумма? Нет у вуза на это средств. Нету – и все. Не заработали.

Веселый психолог демонстративно развел руками. Ректор нахмурился.

– И вообще, толерантность-то ваша – это терпимость, что ли? – продолжала женщина уже визгливым базарным голосом. – Мы, бухгалтерия, и так все терпим. Сами знаете, что. У нас не университет, а дом терпимости какой-то. Больше терпеть не сможем. Бюджет не вытерпит. Если это президентская программа – пусть грант дают вузу на толерантность. А мы из своего кармана за нее платить не будем. Я к Велиару Ариманычу завтра сама поеду. С приказом с вашим. Не утвердит он его. Так и знайте. – И, кутаясь в шарф, зябко поеживаясь, бухгалтер села.

– Ну и я с вами, дорогая Вера Сергеевна, – упрямо сказал Мефистофель, – меня-то вы с собой в машине потерпите? Будьте же толерантны! – и широко раздвинул губы в агрессивной американской улыбке. Он знал, что в молодости был похож на Збышка Цибульского в «Пепле и алмазе», а сейчас почти не отличим от Джека Николсона, и даже лучше – тот лысый, а у него до сих пор копна серебряных волос. И стоматолог не хуже, чем у знаменитого американца.

Но все видели, кто победил. Не толерантность, нет. И почти не стараясь скрыть злорадства, члены Ученого совета группками разбрелись по кабинетам: по рюмочке – и домой. Мефисто с психологом удалились в ректорские апартаменты рука об руку.

Я вышла в мутную ноябрьскую тьму одна. Спустилась, не оглядывась, по ступенькам во двор, где господ профессоров ждали блестящие черные машины с шоферами. И заторопилась – дома ждал голодный Ники. Я чувствовала, что глубоко несчастна. Хуже того – я понимала это. А вот причины не видела. Денег хватало с избытком. Времени в общем тоже. Но чего-то остро недоставало. Толерантности, не иначе.

Плач биографа о слове (тренос первый)

Если бы не цикады! Если бы не эти изысканные насекомые с золотыми глазами и золотыми жилками на прозрачном золоте крыльев! Если бы не их песни… Если бы не этот гулкий, неодолимый ритм их тимпанов, в такт биению крови в жилах человека – антропос – άνθρωπος, вот ведь как назвал себя грек – «ввысь устремленный»!

Ведь пульсирующее золото солнца над выгоревшей золотой травой, и толчки упругого голубого ветра, и колебанья сребристых олив, и биение сильного сердца – все эти волны, усиленные во сто крат ритмом цикадовой песни, гулкой, как удары воинов по щиту, взмыли к небу и вознесли человека. Вот как родился Логос.

Если б граждане полиса не поднялись на мраморные ступени амфитеатра – на высоту многоэтажного дома – и не сели плечом к плечу, недвижимо, боясь шевельнуться, на ярусах гигантского полукруга, лицом к горам и к морю, к рощам олив и пенью цикад, и не узнали так своего одиночества в мире – для кого зазвучал бы Голос?

Но каждый и каждый, со своею психеей-душой, бьющейся крыльями в сердце, слышал и Голос судьбы, и свое ответное Слово. Одинокий, вылетел в мир человек, ввысь, как стрела, устремленный.

Если бы время вперед, распрямившись однажды, стремилось, а не свернулось кольцом, как змея, уставшая жалить…

Но замкнулся в круг амфитеатр, крылья содвинул свои и в римский цирк превратился. Людям в глаза уж не небо – чужие глаза посмотрели. И, ужаснувшись себе, римляне взгляд опустили к тиграм, вниз, на арену, где кровь, остывая, дымилась… Тело, прекрасное тело, расставалось с душой понапрасну, и расчленялось мечами, когтями, и гибло. Homo – латиняне звали себя, а «гомо» родственно «гумус». Праха пригоршня – вот человек, а восставший – в прах обратится…

И прозвучали слова: «в сортире замочим». И Логос покинул сердца и собранья.

Биограф продолжает рассказ

Вот когда я впервые всерьез подумал: не пора ли?

Профессор жил изо дня в день. Все время тратил на то, чтобы пылесосить. Красить. Ремонтировать. На ночь читал тонкие белые книжечки с цветной овальной картинкой на обложке: Он держит в объятьях Ее. За завтраком вставал из-за стола, чтобы в ванной смыть слезы. То же было за ужином. Все реже я видел его за компьютером. Потом писать и вовсе перестал. Все стремился на дачу, гулять вдоль реки. А в городе – прочь из дома, ведь пылесосить и красить уже нечего. Вон из клетки квартиры – и ходить по набережной. Как заключенный по тюремному двору. От Бородинского моста к Новодевичьему и обратно. В сторону Белого дома – никогда. Книги его давно были изданы и переизданы. По ним начали даже учить, как говорить и писать, рассуждая. Но быстро перестали. Это стало ненужным. Гражданам дали право голоса. Свободу слова. И отняли речь и рассудок.

Не вдруг – постепенно.

Несколько лет все наслаждались речами. Припав к телевизорам, замирали. Ораторы соревновались. Проигрывали и побеждали. В школах заговорили дети. Тот самый учебник – необычная книга, в которой для них сказано было о Логосе, – начал жить.

Странные это были годы. Много было ораторов, а оказалось, что только два настоящих. Но зато какие! Великие.

Над муками слова в устах первого народ хохотал громче, чем над домашними заготовками юмориста – из тех, что попроще. Он говорил смешнее, потому что так не придумаешь. Корчи бессвязных фраз перепечатывались прессой в специальных рубриках. Но он, именно он и оказался автором ключевой формулы Эпохи мутаций. «Хотели как лучше, а вышло как всегда». Так говорит теперь каждый.

Второй веселил народ, как Жванецкий. Своей фразы от него не осталось, одно только слово: «Однозначно!» Однако других слов было много. Даже слишком. Казалось, они сталкиваются второпях, наскакивают друг на друга, а узор складывается похитрее иного кружева. Только вот время, время! Что за ведьминские круги представляешь ты скорбному, недоуменному взору? И слуху! «В Третьем Рейхе каждая девушка найдет себе жениха!» – знакомо? И вдруг, через пятьдесят лет после Победы, с российской трибуны: «Мы каждой женщине дадим по мужу!» Кто победитель? Станьте нашими активистами! ЛДПР победит на выборах, и жизнь начнет улучшаться!

Левых назвали правыми. Кто там шагает левой? Правой, правой, правой! И вообще, война – это мир. Только год был уже не 1984-й.

Логос держался как мог. Но тихо и внятно сказано было: «в сортире замочим». И нецензурной стала культурная речь. В школе царствует тест безглагольный. У голубого экрана дети замолкли. И слово звучать перестало.

И тогда я подумал о банке.

Стоял пасмурный осенний денек – из тех, когда только тонкие голоса синиц живы в затихшем лесу и у нас на участке, среди елок и сосен. Мы приехали вместе, профессор и я: побродить вдоль реки, вернуться домой, выпить чаю – и назад, в Москву.

Я поднялся наверх. Там, в мансарде, хранились мои тетради. Только протянуть руку – и дотронешься до собственного детства. Ужас. Но я решился. Что привело меня сюда, какая сила заставила вынуть из стенного шкафа пыльную картонную коробку, стряхнуть паутину, сомкнувшую ее створки, открыть их – и вынуть из времени то, что принадлежит ему – не мне? Не из прошлого, заметьте, а из времени. Для меня прошлого нет, как, впрочем, и будущего. Неважный из меня вышел бы историк.

Ну, вот она. Черный коленкор – точно такая же, как те две, что мать хранит бережнее всего остального. Нет, неверно. Просто хранит бережно. Все остальное, кажется, для нее теперь почти не существует. То есть существует, конечно, но как-то иначе. На свои черные коленкоровые тетрадки с записями занятий у арбатского мудреца она смотрит не так, как на другие предметы мира. Они для нее истинно όντος – сущее. Все остальное – не совсем, кажется. Я думаю, это потому, что тетрадки – вещественное доказательство бытия ее любви. Свидетельство ее начала. Когда они писались, конца еще не было. Да и каждая из тетрадей не дописана. Обрывается случайной какой-то фразой. Так и ее любовь.

Да, вот она, моя собственная черная коленкоровая тетрадь. Одна. Единственная, с записями детских занятий с моим профессором. «Gallia est omnis divisa in partes tres»… – Цезарь, «Записки о Галльской войне». Жаркий июльский день, жужжат осы в мансарде, солнце печет крышу. Мы сидим за столом, весь дом – под нами, под домом – скат холма вниз, к ручью, под ручьем – пологий спуск к долине Истры. Мы – выше всех. Мне было, наверное, лет восемь…

Puella pulhra, puelle pulhre… прекрасная девушка, прекрасные девушки… Где она? Где они? Puella pulhra – так даже сейчас можно сказать о матери. Странная. Может быть, ведьма? Время, быстротекущее время… Да, все-таки удивительно!

Но у нее был еще один приступ. Недавно. Теперь я точно знаю, от чего это. От тоски. Отец уезжает все чаще. И мы с матерью постепенно выпадаем из круга, который он сам вокруг себя очертил. За чертой – не-сущее для него. Несущественное. Несуществующее. А то и прямо враждебное – там сама жизнь. Мы выпадаем в жизнь. А он открещивается от нее – нелюбимой, опасной, грозящей. От этой прекрасной ведьмы. Как философ Хома Брут от Панночки.

Я вернул тетрадь в коробку, коробку – в шкаф. Стряхнул пыль с ладоней. Подошел к окну. Листва поредела, и на противоположном берегу оврага видны были краснокирпичные коттеджи, обветшавшие, неживые, молчаливые. Там моя банка.

Я опустился на прадедов стул, к столу, за которым в июльский полдень сидел когда-то над черной тетрадкой за латынью. Греческий для экономии мы писали в ней же, но с другой стороны.

В тот день мать рассказала о Пане. Греческом козлоногом. Потому что в такие вот дни, когда все застывает под палящим солнцем в молчанье – поля, леса, птицы и только звенят цикады – в Греции, конечно, а у нас – кузнечики, в такие вот дни Пан пугает людей, и, охваченные паническим страхом, не разбирая дороги, несутся они к своим жилищам или, зажав уши, падают лицом вниз в нагретые душистые травы. И еще рассказала, как разнесся однажды чей-то неведомый голос: «Πάν τέθνηται» – «Пан умер!» И еще прокричал: «Пан великий мертв!» – и заплакали ручьи и нимфы, оливы и дриады… Ведь и они должны были уйти следом за козлоногим флейтистом. И так настал конец античного мира…

Нет, надо подумать. Я выкапываю банку. Деньги… Как от тоски избавить деньгами? Купить еще дом? Зачем он ей? Одиночество станет только сильнее. Машину? Разобьется – нечаянно, а может, нарочно. Одежду? Куда она в ней пойдет? Кого своей красотой обрадует?

Надо еще подумать. В этот раз – нет. Рано. В следующие выходные. Придумаю что-нибудь за неделю. И вот тогда…

Плач биографа о природе (тренос второй)

Если бы не банки из-под пива! Но Эпоха мутаций принесла с собой, как Церера в подоле, эти серебристые баллоны. И щедро раздала и рассеяла всюду: маленькие цистерны, до краев налитые спелым соком зерна и горьким хмелем. И щелкает узкий алюминиевый язычок, и открывается треугольный ротик, и тянется навстречу алчущим губам, и вот они слиты. И пустая высосанная оболочка, легкая, совершенная в своей никчемности, летит в сторону. Куда попадет.

И многие попадали в реки, речки и ручейки. Так и в нашу Истру. Чудное у нее имя: ведь в былые времена и Дунай звался так же. Истр – и вот Истра. Быстрая Истра. Истра стремительная.

Если бы не банки, разве спаслись бы от исчезновения бычки-подкаменщики, испокон веков населявшие истринские мелководья? Пропали бы навсегда, как другие рыбы. Те, что ушли вместе с наядами вслед за великим Паном вглубь времен…

Но хитрые маленькие бычки, чуткие к Эпохе мутаций, мутировали сами и стали еще меньше – точно такими, чтобы пролезть в треугольную дырочку затонувшей пивной банки. Изменилась даже форма их скользкого пестрого тельца – прежде плоские, теперь они треугольны в сечении, как напильник; а потому легко проникают бычки в банку, откладывают там свои икринки и, затыкая отверстие собою, выращивают там молодь. Прочих рыбок в Истре уж не увидишь: сперва икру их поели ротаны – головешки, сорные, широкоротые, склизкие, как лягушки, а потом даже ротанов не осталось: их тоже кто-то съел, а после вымер. Сточные воды из прибрежных коттеджей, полные нечистот и химикатов («Тайд! А теперь мы идем к вам!»), бычки перенесли стойко. Но только они. Они одни.

Если бы не газоны! Но владельцы участков в долине и по склонам оврагов так полюбили газоны… Что за дача без мирного жужжанья косилки, без вееров алмазных брызг, в жаркий день раскрытых над стриженой свежей травкой!

Но чтобы посеять, нужно вырубить и выкорчевать. И вот пали со стоном дриады в стволах черных ольх и черемух, еле слышно пискнули перед смертью на дне оврага нежные жительницы тонких стволиков бересклета, мелких берез и осинок…

И весна, Примавера, нежнейшими своими ногами ступила на колючую щетку газонной травы – вместо бархата мхов и пушистых подковок копытня, желтых примул, голубых, как небо,

пролесок, скучный покров, жесткий ковер из «Икеи» ей здесь постелили…

И напрасно крапивник, зарянки, синицы и славки, серые пеночки и соловьи, и варакушки в ярких уборах место искали для гнезд – на газонах не водятся птицы.

Лужи исчезли. А с ними пропали тритоны. Тщетно бродили мы с Виталиной вдоль русла ручья, меж железных заборов. Луж не нашли – и ручей не звенел, а чуть слышно полз по камням, и шептала бессильно наяда что-то сухими губами, и погибала от жажды.

И все чаще страшные стали нам попадаться находки. Однажды мы заглянули в дуплянку, откуда что-то давно не слетала с гнезда мухоловка. Видим: на дне распластала безжизненно крылья мертвая птичка, укрыв своим телом погибших от голода деток. Нечем их было кормить: комары не живут на газонах. Бабочки, мухи и тысячи мелких существ сгинули вместе с бурьяном со склонов оврага.

В тот осенний день, спустившись из мансарды в прадедову нору и напившись под желтым абажуром чаю, мы с профессором вышли на дорогу, ведущую к Истре, чтобы совершить обычную прогулку по берегу, вокруг Трехдубового Леса, названного так отцом в ту пору, когда на опушке еще высились три раскидистых могучих великана, а сам Лес не был частным владением и любой мог гулять в задумчивости под сенью его дубов, берез и сосен, слушая переливчатые голоса иволг высоко-высоко в ветвях, под самым солнцем, или предаваться любви в зарослях душистой темной малины, или, смеясь, играть в салочки на дорожках, устланных шелковистой сосновой хвоей. Помню себя – за ручку ведомого по лесу прадедом и прабабкой. Для тех все минуло – детство, молодость, старость. Нет, не целовался я ни с кем в этой малине. Не успел. А сейчас она побледнела, опала, и только несколько прозрачных плетей торчат из-за забора.

Изгородь преградила нам путь и там, где мы этого совсем не ждали. У старой железнодорожной насыпи, по которой во времена отцова детства сновал паровозик из Манихина в Истру. Когда я был маленьким, как отец в ту пору, насыпь поросла уже соснами и березами, с песчаных склонов ее можно было скатываться веретеном, прижав к бокам руки, а под молодыми деревцами, во мху и сером хвойном опаде, попадались душистые розовые рыжики и крепкие маслята на желтых ножках. И однажды весной, когда трава уже зеленела, я издали слышал там странный громкий зов – то ли отрывистое мяуканье, то ли лай. Отец сказал – рысь. Кричит во время гона. Да, вот что здесь бывало. Рысь, подумать только!

Мы покорно обошли и эту преграду. Дорога, песчаная дорога к реке, по которой профессор в голодные времена начала Эпохи перемен возил меня в коляске, украдкой подбирая обнажившиеся на краях поля клубни картофеля, а то и вырывая их из земли моим совочком, чтобы сейчас же спрятать в матерчатую сумку, – эта самая дорога, с которой однажды в теплый июньский вечер я увидел над полем, в темнеющем, но еще светлом небе нервный полет летучей мыши, была теперь забрана в прочный панцирь асфальта. А как благоухали тогда травы на поле! Как проносились прямо над головой майские жуки, жужжа в ночи, словно пули! Как трепетали нежными крыльями блеклые ночные бабочки! Как звонко и маняще бил где-то прямо у дороги перепел!

Вот и река. Темна, быстра, холодна. Мы подошли и встали над водой, на высоком крутом берегу.

Профессор молча глядел в проносящийся под ногами поток. На быстрине заворачивали кругами неровные поверхностные струйки, вытесненные из глубин, ввинчивались в тело реки узкие воронки – и пропадали.

И вдруг мать повернулась ко мне и посмотрела прямо в лицо – своими слишком светлыми для человека глазами. Яркие черные точки зрачков расширились.

– Ну, что? – спросила она. – Все? Как ты думаешь?

С природой, по крайней мере, действительно все было кончено. И не только у нас в Подмосковье. До самых дальних заповедных лугов и лесов, побережий, песков и степей дотянулись щупальца спрута. Извлекали все живое из моря: sea-food шел на ура. Как лес, газ и нефть. Законы все позволяли, но и их почему-то обходили. Странно!

Так что Пан действительно умер. В этом мире скрыться ему было уже некуда. В глухой сибирской тайге один вечно голодный китаец выловил его, как лягушку. И в мешок.

Кстати. О китайцах. Вспомнил, стоя рядом с профессором на берегу и глядя на струи моей реки внизу, под обрывом. Поднялся холодный ветер и стал бросать на воду пригоршни желтых березовых листьев. Мы следили, как теченье сносит их вниз, на излучину, к ивам. Вот тогда я и вспомнил – нет, не китайца. Сначала другое, совсем другое. Удивительные вещи можно увидеть, смотря на темную воду Истры. Давно забытые или не бывшие вовсе.

Сквозь прозрачные струи я вижу загорелое тело моего прадеда. Я стою на этом самом месте – след в след. Только в отпечатке моего взрослого китайского башмака уместилось бы три следа тех, детских, сандаликов.

Прадед, вырывший нору, основатель семейного гнезда, дома моего родного – дачи, – в Истру окунался как в святой источник – ежедневно, с ранней весны до глубокой осени. Но в тот день лето было в разгаре, и ходили мы на реку рано. «Солнце встает над любимым оврагом» – это первая строка нашего дачного гимна. Ее я только сейчас и помню. Прадед, по имени тоже Николай, – в честь него я и назван, – заходил вверх по течению, складывал вдвое свое коренастое небольшое тело и, распрямившись – руки над головой – нырял с песчаного обрыва. Некоторое время его вовсе не было видно, но внезапно прямо подо мной, внизу, там, где сейчас крутятся в водовороте желтые листья, поплавком выскакивала над темной водой его круглая голова с мощным лбом. Отфыркиваясь, он тряс ею, пускал вверх фонтан, словно дельфин, и после тихо, умиротворенно отдавался несущим его струям, лишь слегка пошевеливая ногами и руками. Истра благосклонно сносила его вниз, до Коровьего пляжа, и редко нам удавалось опередить его, даже припустившись бегом вдоль реки по дороге. Обычно он встречал нас уже на песке, довольно посмеиваясь и отряхиваясь.

Я все смотрю вниз, пока река уносит четверть века и два месяца. И вот снова июль – июль вновь расцветшего лета.

В темной воде подо мною – тельце моего ученика, младшего коллеги, приятеля. Я потихоньку приспосабливаю его к изучению тритонов и их ДНК. К работе в лаборатории. Белое, как молоко, нежное, как щупальце юного осьминога, его тело проплывает вниз по течению, полускрытое круглыми листьями кувшинки – Офелия, да и только. А теперь, словно лягушка, он то округляет, то распрямляет колени и локти. Это Вэй Юнь, или, как он подписывает некоторые особенно жалостливые e-mail-ы, «Little disgusting creature» [24] .

Две картины, разделенные четвертью века И двумя месяцами. Тело нового человека в прежних берегах – о, не вливайте вино молодое в мехи старые!

Что ж, темная река, унесла ты моего прадеда, а следом за ним и деда, а принесла маленького лягушонка из Китая.

– Все? – спросила она еще раз. – И, охватив взглядом долину Истры, заборами нарезанную на частные владения, как пирог на блюде, подняла глаза и стала следить полет пары воронов над полем. Переговариваясь, черные трефовые кресты следовали к далекому кургану городской помойки, клубящейся еле заметным сизым дымом.

– Нет, конечно, – ответил я. – Продержись еще ровно неделю. К следующим выходным будут новости. Я сон видел.

– Сон? Ты? Разве ты видишь сны? Впервые слышу. Расскажи. –

И, отвернувшись от реки и от меня, она тихо пошла по дороге к даче.

– Ну, это, собственно, был не сон. То есть сон, конечно, но нельзя сказать, что я его видел.

– То есть? – Она остановилась и снова посмотрела мне в глаза. Не с надеждой, нет. С недоумением.

– Я его слышал. Это был только голос.

– А кто говорил?

– Не знаю. Голос совсем незнакомый.

– Женский?

– Низкий, довольно громкий… Значительный. Нет, скорее мужской.

– Ну, и что сказал? Или, может, спел?

– Сказал. А потом повторил. И повторил еще раз. Знаешь, трижды, как в сказке.

– Так что же?

– Только три слова.

– Три слова? И повторил трижды?

– Да, вот так: «НАСЛЕДСТВО, НАСЛЕДСТВО, НАСЛЕДСТВО!!!» И еще два раза то же самое. И я проснулся.

– А почему ты думаешь, что через неделю что-то случится?

– Не знаю, но я так чувствую. Это связано как-то со сном.

– Спасибо, милый, – сказала она на ходу и посмотрела на небо. Оно было серо и пусто – вороны улетели. – Я подожду. – И подняла руку к горлу, к впадине между ключицами, и положила тонкие пальцы на свой камень. Мне показалось, он просвечивает сквозь них теплым жаром, словно оранжево-малиновый уголь.

Часть 5 Подобие (Simile)

Пояснение биографа

Искать и находить сходное – исконный путь человеческой мысли. Аналогия – ее универсальный закон. Вот и хрия, этот совершенный образец полного доказательного рассуждения, велит ритору прибегнуть сейчас к подобиям.

Говорим о труде, уделе нашем – вспомним пчелу, неустанно по крохам пыльцы сбирающую дневной плод усилий, созидающую восковые соты… Вспомним о муравье, несущем свою непосильную ношу к общему дому и делу… О черном муравье, Lasius niger, что, ведомый заботой, снует у корней травы и привлекает к себе недоуменный взгляд: пристальный, сосредоточенный, детский.

Следуя древним, скажу и я.

Подобия времени – кто, как не мы? Но кто мы? И чему наше время подобно? А любовь?

Подобия нашей жизни… Но сама она, жизнь наша, не есть ли подобие жизни?

Рассказ биографа

Это случилось. Неделя не успела пролететь, а это случилось. Что, собственно, произошло, я не знаю. Вернее, до сих пор не знаю точно. Выяснилось, что мой профессор не из тех, кто вслух говорит о своем. Я только что понял это. Прежде я думал, что ничего своего у него и нет. Все его духовное имущество, на мой плоский, поверхностный, отвлеченно-жестокий взгляд, состояло из трех частей: общего с отцом, общего со мной и общего с нами обоими. Так в сундуке, синем сундуке с позолоченными скрепами, что стоит у нас на даче, хранятся шарфы, шапки, безразмерные шерстяные носки – всякая пригодная ветошь, которой может пользоваться каждый. Так и мысли.

Только теперь я вижу, насколько он был щедр, мой профессор: любую свою тему, любой мыслительный предмет легко превращал в общее для нас троих достояние… Но я-то как был слеп! Впрочем, трудно ясно видеть близкого человека. У сундука дно оказалось двойным. Нет, что это я! Дна просто не обнаружилось. Бездна. А в нее заглянуть нелегко. И особенно если она в чьих-то глазах. Верно, оттого эти глаза иногда и казались мне слишком светлыми.

Так или иначе, банка не понадобилась. Весь понедельник я провел в лаборатории – за работой и беседами с учениками. Неожиданно и не без вызова Лика сказала, что вряд ли посвятит всю свою жизнь изучению ящерок. Может быть, только часть. Разве что часть. Не исключено даже, всего два года, оставшихся до диплома. Если реально смотреть на вещи. Говоря, она слишком пристально смотрела вверх, на оконную раму, чтобы слезы не выливались из глаз, а задерживались нижним веком с густыми его ресницами. Моргать она избегала.

Пришлось, оторвавшись от статьи, направить заблудшую на путь истинный. Одна овца, легким шагом на моих глазах удалявшаяся в пустыню мысленного несовершенства, принудила меня потерять бесценный час, чтобы спасти все стадо. И когда я, взвалив ее на плечи (фигурально, конечно, но ноша не стала от этого менее тяжкой), вернулся в овчарню, работать над статьей было уже поздно. Вот, так всегда. Такова была цена, заплаченная за решение этой девушки поступить в аспирантуру и провести среди милых рептилий еще три года, кроме двух преддипломных. Итого пять.

Наконец, когда слезы ее высохли – не так уж быстро, – мы вместе, спокойно и неторопливо, как и подобает будущим ученым коллегам, направились к метро. Лепил мокрый снег, для начала

ноября неожиданный и крупный. Странно, как это зима всегда застигает врасплох. Университетские фонари налились лунным молоком одиночества. От дома меня отделял теперь только неизбежный «Макдональдс»: пожевать фанерной картошки, запивая ее кокой и заедая гамбургером – ритуальная трапеза окончания дневных трудов.

Дверь открылась в пустую квартиру. Темнота в коридоре. Непривычный запах на кухне: к моему приходу никто почему-то не жарил курицу. Громко, как голодный живот, урчал холодильник. Профессора не было дома. Я не стал удивляться, хоть и было чему, а наивно и бездумно поставил чайник, включил свой комп и принялся за дело. Почта – со всех концов земли – захватила целиком. В Амстердаме негодовали, но не слишком бурно – скорее привычно, тихо и безнадежно: почему я до сих пор в Москве, а не в средневековом обиталище моего старшего друга и покровителя, лучшего знатока тритонов в Европе, почему не поднимаюсь к нему в гостиную по шероховатым серым ступеням лестницы, под которой экономка-ведьма хранит целый ящик своих волшебных кофейных ложечек и помело?!

О том, что фру Улен ведьма, я узнал от моего профессора. За чаем. Я только что вернулся тогда из своей первой поездки в Голландию, подарка для матери у меня не было, и я протянул ей ложечку, которую почему-то стянул из ящика под лестницей. Крошечную ложечку, ярко блестящую, с шариком на конце прямой и тонкой ручки. Мать взяла ее, повертела в руке, помешала ею в своей чашке и сказала: «А это ложечка ведьмы». Проговорила будто вскользь, так просто и беззаботно. Я открыл рот, чтобы возразить, вспомнил фру Улен и понял: это правда.

В Токио горевали: по утрам я перестал брать телефонную трубку – устал часами сочувствовать коллеге-японцу, доброму и отзывчивому на чужую беду парню. Год назад он и отозвался – порывисто, безоглядно: женился на русской с ребенком, неведомо каким ветром занесенной и брошенной к подножью Фудзиямы, а уже после влюбился в нее так, как это дано японцам издревле. Жена убежала домой, на Русь, в Подмосковье, а японский знаток тритонов, плача навзрыд, набирал и набирал мой номер: помоги, найди, верни… А как же тритоны? Я умел искать только этих хвостатых амфибий. Ну и лягушек, конечно. И даже многих рептилий. Змей, например. Но не мятущихся женщин.

Ждали меня в Пекине, на Тайване, в Турции, в Беркли, в Иране…

Скрипнула дверь, зажегся свет. Отец изучал волков в тверской деревне, в дни поздней осени они выли особенно сильно и часто, так что в коридоре мог оказаться только профессор.

Мать окликнула меня, и голос ее прозвенел серебром, как ложечка ведьмы о край тонкой фарфоровой чашки. Я потянулся, с сожалением оторвался от почты и вышел из своего убежища ей навстречу. Глаза ее, прозрачные, как горный ручей – излюбленное место обитания некоторых саламандр – то светились у самого дна, а то рассыпали брызги разноцветных искр. Но главного тогда я не заметил. Ведь в эти минуты я был на Памире. Планировал экспедицию: Вахш, Пяндж, Мургаб… Горы на границе с Афганом.

Понял теперь, да поздно. А тогда сказал себе только: ну, слава богу, настроение переменилось. Не надо банки, подождем пока. Образуется. И вздохнул с облегчением. Наивный молодой кретин. Если б я знал, что оно предвещало, это облегчение!

Документ word (без номера)

Я была прекрасна. Не казалась, нет, а была – второй раз в жизни. Первый – когда мне было восемнадцать, в ту юную, зеленую весну любви. После расставанья я села тогда в вагон метро, двери за мной задвинулись, и внезапно я увидела в темном стекле отражение ангела. Небесное, легкое создание с сияющими глазами, таинственная греза – это была я. Так и в этот вечер, тридцать два года спустя: тающий снег на волосах, щеки, свежие, как дикая роза, и глаза те же, точно те. Смотрят на меня из омута старинного зеркала против входа.

Быстро потупив голову, с неожиданным в себе чутьем опасности скрыв лицо от Ники, я сняла пальто и разулась. Милые мои сапожки – пара пронесших меня над мостовой звонких каблучков. С какой любовью я смотрела на них, ровно – носок к носку ставя в шкаф! Как я любила все… Все вообще. Все вокруг. Всех. Злых и добрых, знакомых и незнакомых. А Ники! Мой дорогой сын снова исчез за дверью своей комнаты. Рассыпалась дробь ударов по компьютерной клавиатуре.

Я снова взглянула в зеркало и вытерла скатившиеся из глаз слезы. Не помню, когда я плакала от счастья. Никогда прежде.

Пряча лицо в подушки, я укрылась от мира одеялом. Я не хотела видеть ее, эту комнату. Место моего одиночного заточения. Место душевных бичеваний, истязаний и мук. Мою келью. Плотно смежив веки, я смотрела на того, кого мне не суждено теперь забыть до смертного мига – егда темнии зраки лукавых бесов окружати и устрашати мя начнут. Смотрела в его глаза – отныне единственный и последний для меня исток и средоточие света. Черная бархатная мгла под моими веками позволяла любоваться этим лицом, этими глазами спокойно и счастливо.

Но вот все странно переменилось. Вдалеке забрезжил ровный туманно-серый свет. Мягкими складками легли очертанья холмов. В долинах завиднелись круглые серебристые купы олив, одинокие камни. Черными змеями заструились ручьи в окруженье зарослей тростника. Полилась песня свирели. Зазвучали тимпаны цикад – ровный и сильный, забился и зазвенел золотом пульс пространства.

Прямо передо мной, у самой кромки обрыва, вытянувшись на выжженной солнцем траве неподвижно лежал мулькру. И ступень холма над обрывом была для него словно узкое ложе. Высокие скулы, круглый лоб, небольшой нос с тонкими широкими крыльями – все было обтянуто пергаментно-серой кожей. Тени

глазниц не могли скрыть огромных выпуклых век. Глаза были закрыты. Мулькру спал. Под бесцветным плащом угадывались сложенные на груди тонкие руки и ноги с острыми выступами колен.

И вдруг внизу, в долине, родился крик. Сперва еле слышный, он поднимался вверх, к небу, мощными волнами, заглушая тимпаны цикад. «Пан умер! – с нестерпимой силой колебался воздух, – Пан великий мертв!»

Мулькру спал.

Рассказ биографа

Башня Киевского вокзала синела в воспаленно-розовом небе – небе мегаполиса. Черные орлы на башне вот уже столетие простирали свои бронзовые крылья над резными стрелками круглого циферблата с простыми и четкими чертами римских цифр. Часы остановились задолго до начала Эпохи мутаций. Профессор говорил мне, что это случилось ровно за десять лет до того дня, серого августовского дня, когда мимо башни прошла танковая колонна и заняла позицию у моста. До того дня, когда само время взмахнуло крылами, и все поняли: началась история. Стрелки на башенных часах замерли, как замерли сто лет назад черные крылья орлов, уже расправленные для полета. Орлы не взлетели. Часы встали. Ведь то была предыстория.

Мы ждали сто девятнадцатого. Автобуса не было. Перед нами гигантскими железными ребрами поблескивал торговый центр «Европейский». Внутри этого титанического скелета современного динозавра сияли огни продаж. Там, в оазисе глобализма, можно было припасть к источнику кока-колы, на миг утолить жажду любви, купив игрушечного зверя, а потом, прижав его к щеке и вдыхая тусклый запах искусственного меха, забыться в темной пещере, завороженно следя, как сменяют друг друга на стене отражения странного мира анимэ.

Но мы ждали автобуса. Моросил то ли дождь, то ли снег. Капли, которые Лика стряхивала с ресниц, казались слишком крупными. Ее маленькая круглая головка, чуть склоненная на длинной шее, вся ее поза в характерном S-образном изгибе напоминали о мученицах и святых Средневековья.

Я не спрашивал, зачем. Зачем, бросив работу с ящерками и их ДНК, ту работу, что нельзя прерывать ни на миг, она на целый месяц уезжала очищать от разлившейся нефти побережье Гвинеи-Бессау. Уезжала «волонтеркой».

Взглянул зачем-то на мертвые башенные часы, потом на нее. Хороша волонтерка. Представилась ее одинокая (хотя почему, собственно, одинокая?) фигурка на берегу океана. На черной, вязкой от мазута полосе отлива. Песчинка в вечности.

– Знаешь, Ники, – сказала она наконец, – я думаю, это немного затянется.

– Как? То есть что именно затянется? Петля? Ты говоришь о своих дурацких планах так, словно тебя кто-то тянет на эшафот. Не хочешь работать – так и скажи. Безответственная.

– Петля? – Она отвернулась. – Может быть. Только петля именно здесь – и уже затянулась. Я хочу попробовать.

Попробовать пожить без нее.

– И для этого нужно обязательно тащиться в Гвинею-Бессау? Ты хоть знаешь, где это? На карту смотрела?

– Ну… Да.

– Хорошо. Знаешь, кто там водится? Кого везти? Сейчас нам особенно нужны…

– Не повезу я никого…

– Ну уж это дудки. Повезешь. Как миленькая. Сейчас я тебе назову виды, записывай. Провезешь как обычно: грязные носки набиваешь влажным мхом, суешь животных, завязываешь.

– Ничего я не буду записывать. И привезти никого не смогу. Понимаешь, просто я потом поеду не сюда. В другое место.

– Куда это еще?

– В Париж.

Я промолчал. Она снова повернула свою маленькую голову, и я увидел, как ее крутой лоб чуть наморщился. Глаза, обычно тускло-бархатные, блестели. По-моему, от слез. А может, от волнения.

– Хочу поработать там. В кафе. Официанткой.

Я посмотрел на Лику, будто увидел ее в первый раз. Собственно, в первый раз я ее никогда и не видел. Не помню такого. В первый раз я ее просто не заметил. А потом мне всегда казалось, что она всегда была, есть и будет.

И тут я ясно понял, что сейчас вижу ее в последний. Первого – не было. Последний – вот он. Такая жизнь – вся как по нотам.

Необратимость. Вот это слово. С ним приходит холод и чувство вечности. Будто кто-то умер. Остановка времени. А за ней время вновь трогается с места, отходит автобус, и наступает – свобода.

Она что-то пробормотала, вспрыгнула в освещенную щель – дверь автобуса – и надо же было ему подкатить так внезапно, так тихо, подкрасться так незаметно! – и дверь закрылась.

Передо мной был новый мост – скелет глобалистского динозавра. Изнутри его, между крутых ребер, лились потоки молочно-голубого света. Я поднял глаза, и недвижные черные крылья замершего времени осенили мой холодный, влажный от измороси лоб. Я повернулся и пошел к мосту – домой.

Вот как устроена жизнь, – думал я, взмывая на эскалаторе под своды титановых ребер крытого моста, как Иона – во чрево кита, – вот как устроена она: как крылья голубя. То сложены тихо, прижаты к теплому телу, будто и нет их, будто так и придется вечно бродить по земле, и вдруг – взрываются с шумом, и – вверх, вверх, и ты уже высоко в воздухе, и смотришь оттуда вниз, ничего не узнавая.

И вот я иду над рекой. Я, Иона, гляжу из этого чрева гигантского кита, освещенного яркими матовыми шарами, на темную воду, стиснутую серым гранитом, как живое трепетное горло, иду и вспоминаю.

Вспоминаю, как впервые взлетел, как почудился мне шум развернувшихся высоко над землей крыльев – крыльев новой жизни! Моей жизни!

Я и вправду летел тогда. Летел в Голландию. В Амстердам. О, тихий Амстердам с певучим перезвоном церквей и колоколен! Зачем я здесь, не там, зачем уйти не волен, о тихий Амстердам, к твоим как бы усталым, к твоим как бы затонам, к закатам запоздалым, то ласковым, то алым, где, преданный мечтам, какой-то призрак болен, упрек сдержать не волен… – вот что я знал об этом городе. Знал от моего профессора. Он читал мне наизусть, да. Читал все мое детство, до тех самых пор, пока я не стал сопротивляться. Пока мне не показалось все это скучным. Но ведь это случилось совсем недавно.

Ведь профессор был хитер. Лисица: Алиса Фокс, Лисица Венера – вот подлинные имена моей матери. Простодушная лисица – да. Любящая, верная лисица – конечно. Не всегда хватало у нее терпения высидеть в норе столько, сколько нужно, не высовывая нос раньше времени. Нет, не всегда. Да что там – никогда почти. Не всегда хватало выдержки, даже и хитрости. Гибкость была. И в этой гибкости чувствовалась сила стальной пружины. Потому, наверное, Виталинин миллионер и сказал ей ту самую фразу, так поразившую меня в детстве: «Удар держишь».

Она хотела читать мне стихи и хотела, чтобы я слушал. Логос иначе не передается. И она тихо, незаметно подкрадывалась к моему слуху, к моей душе, как к пугливой мыши, как к сторожкому зайцу. Вот и Бальмонт начался для меня с тритонов. Да, да! Разве стал бы я слушать иное? Но она нашла – то необходимое, единственное: «Ей тритоны удивлялись, проползая бережком. И, смешные, похвалялись ей оранжевым брюшком»… «Ей» – это ей, матери, а вовсе не какой-то фее, поэтом выдуманной для незнакомых детей. «Прогулка феи» – это было о ней. Она была настоящая. Настоящая живая фея. Такая же, как сами тритоны. И удивляться тут было нечему. Тритоны вообще на редкость невозмутимы. А вот это поэт сказал будто о моей Истре: «Дышут травы в светлом зеркальце реки. Целым островом – купавы. Целым лесом – тростники». Но Истра всегда темная, и зеркальный блеск и свет – лишь тонкая пленка поверху, даже не пленка – так, отблеск, блик.

В самолете, глядя сквозь разрывы облаков на землю Нидерландов, знакомую мне только по стихам и цветам, я

вспоминал светлое детство – тот чудный вечер, когда над Истрой шел снег. Снег падал так медленно, такими крупными хлопьями, что, казалось, театральный занавес повис за окном, прозрачная пелена живого снега, но сквозила уже другая река – белая, надвое разделенная шрамом ледокола, неровным, зубчатым, где льда не было, а блестела черная вода под мостами… Мы сидели на кухне, и профессор читал тогда «Александрийские песни»: «Хочешь, я спою греческую песню под арфу, – только уговор: не засыпать и по окончании похвалить певца и музыканта»… И тут началось главное. Стихотворение закручивалось исподволь – так, что-то про фараона, про какого-то красавца с греческим именем – Антиноя, кажется, – и я не ждал ничего особенного, кроме спиральных извивов прекрасных слов. И вдруг, неожиданно – вот оно: «Если б я был рабом твоим последним, сидел бы я в подземелье, и видел бы раз в год или два года золотой узор твоих сандалий, когда ты случайно мимо темниц проходишь, и стал бы…» – внезапно в ее голосе, чистом и тихом, зазвенели слезы: «…и стал бы счастливей всех живущих в Египте», – сказала она победную строку, последнюю строку любви… Да, это были слезы – не на глазах даже, а только в голосе, внутри его, в самом хрустальном, прозрачном его звуке, будто льдинки в струе зимнего ручья. И я понял. И никогда этого не забуду.

Но стоило голосу ее смолкнуть, как слышно стало другое. В ванной с шумом лилась вода. Пока звучали эти стихи, эти «Александрийские песни», эти волшебные слова, оглушившие слух, вода шумела уже не только в ванной. Из коридора горячие струи устремлялись прямо нам под ноги, в кухню. «Александрия!» – завопил я, и мы, побросав на пол полотенца, второпях стали спасаться от потопа.

«Вот как захлестывают чувства, – думаю я теперь. – Завораживают словами, замыкают слух, – и вот уж затопили и сердце, и душу…»

Самолет приземлился. Аэропорт я не запомнил. Темная толерантная Голландия пахла марихуаной. Над городом висел ее запах и свинцовые тучи. Церкви и колокольни молчали, пока мой старший коллега вез меня к себе, в серый средневековый дом на берегу канала. А колокольни все молчали…

– Там бордели, – объяснил Тим. – Гомосексуальные в основном, но есть пока и гетеро-. Только одна осталась действующая. То есть в смысле церковь.

Он был очень добр ко мне. Очень. Трогательно добр. Подарил мне полосатую кофту с капюшоном. Я теперь всегда в ней. Или с ней – во Вьетнаме и в Иране, в Казахстане и в Штатах. Капюшон – замечательное изобретение.

Под лестницей пахло кошками, как в старой Москве. В той, какой уже нет. Странно – колокола в наших церквах звонят, и все громче, а вот Москвы уже нет. Города нет, а сорок сороков все почти в сборе – что ж, за право восстанавливать и строить кто только не борется – православные и католики, мусульмане и протестанты… А деньги дает общак. И на всех хватает.

Под лестницей пахло кошками. Только кошками – запах марихуаны из дома исследователя тритонов изгнан, даже с улицы не может проникнуть. Фру Улен поила кофе. Тонкие ложечки – не серебряные, нет, но какие-то странные, светящиеся, сделанные словно из зеркал. Ручка – ровный стержень, сверху маленький шарик. Фру водила ложечкой осторожно, в одну сторону, и пристально смотрела при этом в чашку.

Мой друг сделал все, чтобы я остался в сером каменном доме. Из недр европейской науки явился грант – словно по мановению ока, по взмаху блестящей ложечки. На эти деньги я должен теперь жить тут год. Целый год.

Купив билет, я собрал вещи, надел полосатую кофту, надвинув капюшон по самые брови, поблагодарил фру Улен и, спустившись по лестнице, незаметно нагнулся к ящику с ложечками – почему и для кого фру держала сотни их в ящике под лестницей? Для подруг, которые слетались по ночам со всей Голландии? Или только со всего Амстердама? Нагнулся и прихватил одну – тогда я еще не знал, что сделает с моей жизнью она, эта тонкая кофейная ложечка с шариком на стержне.

Яну я пообещал, что скоро вернусь. «Никогда, – думал я про себя. – Ни за что на свете никому не удастся упечь меня под это свинцовое небо, в эти сонмища грустных гомосексуалов и печальных лесбиянок». Казалось, весь свет Нидерландов – серебристый, жемчужный свет полотен Вермеера – впитан, всосан, поглощен сотнями ложечек, сваленных в ящике под ведьминской лестницей старинного странного дома. Дома, который я впопыхах покинул.

«Нет, – думал я в самолете, – не по мне это. Я не такой, и жизнь во мне еще есть. Подобное к подобному, но это мне не подобно». И вспомнил про Лику. Ищет себя в Гвинее-Бессау. Волонтеркой. А вдруг? Или в Париже? Нет, в Париже вряд ли. После Тянь-Шаня? Иссык-Куля? Тувы? Алтая? Искать подобие себе в Европе, в вытоптанной исхоженной Европе…

Зачем, если в кругу древних камней, на поросшем низкой темной травой плато Укок, три тысячелетия спала и вот пробудилась красавица – высокая девушка с маленькой круглой головкой на длинной шее… Головкой, чуть склоненной к плечу даже во сне смерти… И чуть только попытались ее разбудить, как

рассыпалась она в прах, и душа ее взмыла над плоскогорьем и витает там сейчас, вот сейчас, кружится, как мой самолет, заходящий на посадку в Шереметьево…

«И зачем Лике Гвинея? Какая нелепость! Разве там оно, ее подобие? Другое дело – ящерицы-круглоголовки, которых она только начала изучать… Держала в руках. Смотрела – и не рассмотрела. Нужно время, чтобы понять. Мне-то со стороны виднее. А вот ей… Хватит ли жизни? А мне моей – хватит?»

Биограф обнаруживает еще подобие, и не одно

Это твой телефон говорит:
Эй, Хозяин, тебе кто-то звонит!
И чтоб ты потом не говорил,
Что тебя я не предупредил!

Писклявый голосок пробивается сквозь кучку одежды, сброшенной на прибрежную траву, словно шкурка жабы. Кажется, это сам Little Disgusting Creature поетпо-русски, взывая к кому-то всемогущему, милостивому и милосердному. Но нет. Это блестящий черный «Самсунг» заклинает своего Вэй Юня – Хозяина. Неужто из дьявольского разнообразия телефонных мелодий можно выбрать столь подобную! А вот ведь удалось… О темные воды Истры! О листья желтых кувшинок, омытые струями времени! Кто только не любовался вами в июльский полдень! Слюдяные стрекозы, зимородки, на стремительных виражах сверкающие над рекой, словно драгоценные камни, бархатно-черный дрозд, по каплям льющий с макушки самой высокой ели густые прозрачные ноты вниз, вниз, к корням мирового дерева, к началу времен… Угры и славяне в беленых льняных одеждах… Ордынцы и вот теперь – китайцы… Вэй Юнь – тайванец и китайцем себя не считает. Он тонок и миниатюрен, как тайская женщина, и его нежные члены, сгибаясь и разгибаясь в лягушачьем движении, смутно белеют под тяжелой карей водой моей реки – близко, еще ближе… Прямо у берега. Он встает, и потоки обтекают его светлое, разве только чуть желтоватое тело, и падают, возвращаясь в воды, поднимая к солнцу сверкающие брызги из тихой черной заводи. Трепещут стрекозы. Он растягивает широкий рот и смотрит на меня блестящими глазами. Голосок телефона все не стихает:

Эй, Хозяин, тебе кто-то звонит…

Хозяин Вэй Юнь шарит мокрой рукой в жабьей шкурке, поджидающей его на берегу, извлекает блестящий говорильник, и раздаются звуки китайской речи. Словно заморская птица поет над Истрой. Я уже давно понимаю эту песню, и Вэй Юнь знает об этом. Но со мной ему удобней объясняться по-английски.

– Ли Мин тоже поедет, можно? – говорит он голосом своего мобильника, жалобно-просящим и вместе с тем странно повелительным. – Он захотел. Можно?

– Можно, – отвечаю я нехотя. – но ты знаешь, Вэй Юнь, что

Ритик как раз собиралась потратить свое время – а у нее времени не так уж много, совершенно так же, как у всех нас, между прочим, – так вот, она собиралась потратить время, свое собственное время, чтобы позаниматься с тобой математикой. Потратить, оторвать от себя, отдать тебе, а не собственной работе. Или удовольствиям. Посидеть в белом пластиковом кресле за столиком на террасе «Макдональдса» с ванильным коктейлем, например. Поглазеть на прохожих на площади Киевского вокзала. Ты понимаешь, что она от этого отказывается? Ради тебя?

Я задавал риторические вопросы – вопросы, вовсе не требующие ответа, а заключающие его в себе, как бумажная обертка конфету, – исключительно в воспитательных целях. Вэй Юнь совсем недавно приспособился получать у всех помощь и теперь у нас на глазах быстро превращался в совершенную машину для поглощения чужого времени. С этим что-то нужно было делать, да поскорее. Иначе все мы внезапно могли стать рыбами на дне неожиданно обмелевшей реки – бьющимися на песке беспомощными и обреченными рыбами на дне пустого русла, лишенного животворной воды времени. Мы – это я и мои студенты, те, кто собирал по всему свету тритонов и склонялся над секвенатором в лаборатории на пятом этаже серого гранитного сфинкса – здания биофака МГУ, отчасти уже занесенного песком пустыни. Я чувствовал, что пески медленно, но заметно покрывают гигантские львиные лапы: пустыня наступала.

– Я с Ритиком договорюсь, – проквакал Вэй Юнь. – Она согласится подождать. Ведь всего на два дня отложим. Мы же только туда и обратно, правда? А математику я сдам. Ну, в крайнем случае на осень перенесут.

Я представил себе Ритика. Как сидит она сейчас, Маргарита Буш (типично украинская фамилия, не так ли?) в белом пластиковом кресле на террасе Макдональдса – сидит так недвижимо, что ни волосок на ее голове не шелохнется, ни один волосок, некогда темно-рыжий, гнедой, а теперь вороной, выкрашенный в салоне красоты МГУ в угольно-черный цвет: так Ритик превращала себя в подобие любимого – Вэй Юня. Только вот китайский ей не давался. Я представил, как сидит она сейчас и ни ресница не дрогнет над ее распахнутыми остановившимися фиалковыми глазами – глазами-крыльями, глазами-бабочками, глазами-голубянками, столь любимыми Набоковым. Тут же я представил себе и самого Набокова – молодого, с чувственными жаждущими губами, еще полными, еще не изогнутыми в истончившейся сарказмом улыбке… Вот он быстро всходит по

невысоким ступенькам на террасу «Макдональдса» у метро «Университет». Он рассеян. И тут-то взгляд его, праздно озирающий неинтересные предметы и лица, падает на Ритика… Маргариту Буш… И его светлые, почти бесцветные глаза встречаются с ее глазами… Он замирает, увидев на круглом лице девушки, обрамленном странными, слишком черными волосами, двух живых голубянок, двух Икаров, распластавших в покое свои фиалковые чуть подрагивающие крылья… Он понимает: вот она, перед ним, – мечта его жизни, властительница снов, его Машенька, нет, его Лолита… Но Ритик – она этого человека, этого высокого денди со светлыми глазами просто не видит. Никакие Набоковы, да и никто иной, кроме Вэй-Юня, для Маргариты Буш, неотрывно взирающей на экран своего мобильника в ожидании эсэмэски, не существует. Только любимый. И она ждет, незаметно для себя чуть выставив вперед руку, сжимающую телефон, и фиалковые крылья бабочек-глаз чуть подрагивают… Но вот на экране что-то дернулось, будто мгновенная рябь искривила неподвижное зеркало, и откуда-то из глубин эфира скользнула на него надпись: NEW MESSAGE. READ NOW? [25]

Ну, конечно! NOW! Немедленно! Сейчас же! Скорей! И непослушные пальцы, скованные волнением, нажимают не на те клавиши, но наконец она справляется, и читает, читает, читает, и читает снова, и перечитывает… Глаза-голубянки взмахивают крыльями, и две слезы, дрожащие на нижних веках, скатываются по щекам и падают на белый пластик стола. Там они незаметны – два прозрачных блестящих пятнышка. Дует ветер – теплый, пыльный, печальный. Нет, занятий с Вэй Юнем не будет. И в Тверскую губернию, в брошенную деревню, где изучают волков студенты (и с ними Хай Чжэн, мой…друг? Нет, скажем – знакомый), – в эту тверскую деревню, куда отправляется ее любимый Вэй Юнь, Ли Мин и я сам, Ритика не зовут.

Маргарита Буш встает, и белое пластиковое кресло с наждачным скрежетом отъезжает в сторону. По-прежнему сжимая мобильник, она спускается по низким ступеням террасы, и изумленный молодой Набоков не осмеливается остановить ее: ведь сделать это – все равно что прикоснуться рукой к самому отчаянью. Ссутулясь, опустив свою вороную голову так, что пряди черных волос закрывают побелевшие щеки, и не видно глаз-бабочек, а только густую ниже бровей челку, Ритик идет по раскаленному июльским солнцем Ломоносовскому проспекту вниз, к площади Индиры Ганди, к Дому аспиранта и стажера, – идет своей странной угловатой походкой: колени выдвигаются вперед, а ступни ног в порыжевших кедах чуть отстают, и широкие

штанины потертых джинсов совершают вокруг них медленное вращательное движение… Молодой Набоков смотрит вслед, и даже его дар не позволяет вообразить, в какой совершенный балет, в какой немыслимо, виртуозно прекрасный танец обращается эта неуклюжая походка Маргариты Буш, стоит только ее фиалковым глазам заметить бабочку. Если бы… Да что говорить! Разве можно представить, а тем более описать, как стремительно сменяют друг друга арабески руки с сачком – марлевым орудием лова, как изящны и точны фуэтэ, как молниеносны взмахи сачка и как неотвратима судьба преследуемой Ритиком крылатой красавицы!

Документ Word 8

Все это уже было. Иначе, но все-таки было. Китайцев я помню с детства. Вернее, одного китайца я помню, потому что он был первым аспирантом моего отца. А других – не отдельно, а стайками, потому что они учились во всех московских вузах. Народу в Москве было совсем мало, и узкоглазые молодые люди с жесткими черными волосами обращали на себя внимание. Все знали, что это наши китайские братья. Полвека миновало, и вот опять. Ники дружит с китайцами. Ники учит китайский, и когда к нам приходят его студенты и приятели, слышна то китайская речь, то английская. Прежде все здесь говорили по-русски – ученики и учителя. Конечно, в раннем моем детстве все, все было по-другому… Но и подобно – так, как подобны геометрические фигуры. Такая вот геометрия времени.

Когда Москва была пустынна, и в зимний день холодный снег не таял под струей машинной, был горячее человек, спокойней шаг, быстрее бег… Мы шли пешком по переулкам, что от Горбатого моста сплетались сетью закоулков, как жилки палого листа, – до насыпи, где поезда, мы шли меж синих стен сугробов, минуя свечи фонарей… И монастырь, где спит во гробах монахинь прах и прах царей и галки спят во тьме ветвей. Сухой и легкий, словно птица, нас ждал в тот вечер дядя Ли – ждал, чтоб с учителем проститься и раствориться там, вдали, – на желтом полюсе Земли. Я поняла тогда пространство: до этой шелковой страны лежало больше верст и странствий, чем от Земли и до Луны. За годы став совсем родным, Ван Ли за красным винегретом здесь, в общежитии, сидит, скрипя непрочным табуретом… Благодарит отца, следит, чтоб чай в пиалы был налит. И – нет его: в глазах – дорога, в глазах – иная сторона, в глазах – нескрытая тревога… А рядом – скромная жена. И рюмка – выпита до дна. Он был блестящий математик, а я была совсем мала, боялась спрашивать некстати, но в этот вечер поняла, что знак у времени – стрела…

И вот Ники… Пытается дружить с юношей по имени Хай Чжэн. Он еще студент, но не младше. Дружить Ники не умеет. Или просто знакомые, или страстная привязанность. В этом случае – последнее. Хай Чжэн угрюм, замкнут и для Ники – непознаваем. А значит, неодолимо привлекателен. Это чувство к строптивому, непременно жестокому другу я узнаю. И со мной некогда было подобное. Чувство – предвестник. Чувство – буревестник. Предтеча большой любви. Не знаю, насколько совпадут очертания этих подобий, но думаю, полностью.

Мне до боли жаль Ники. Но делать нечего. Терпеть. Ждать: время пройдет, все минует… До этого, кажется, далеко. Но какое чувство длится больше года? Один оборот Земли вокруг Солнца, и человек видит полный круг времен… Боль утраты, боль любви, страстное напряжение дружбы неотвратимо слабеют. Помню афоризм Монтеня: «Кто видел весну, лето, зиму и осень, тот может спокойно умереть: ничего нового он уже не увидит». А может, это сказал Конфуций? Ники познакомился с Хай Чжэном осенью, теперь лето.

За это время любовь к китайцу подвигла Ники уговорить отца создать в брошенной деревне, затерянной в тверских лесах, настоящую научную базу – чтобы Хай мог под руководством Алексея изучать звуки волков. Скуление, писк, визг, ворчание… Вой. По Интернету нашли волчат на продажу, ездили за тридевять земель, чуть ли не на Алтай, кажется, и еще куда-то. Волчата нынче дороги: по сотне долларов каждый месячный грозный хищник. Алексей взял для работы и еще студентов. Даже одну аспирантку. Все для фронта, все для победы. Наука вздрогнула и оживилась. Правда, вся база была – несколько опустевших выморочных изб да столбы, вкопанные так неловко, как это умеют только ученые. Столбы поддерживали провисшую сетку вольеров. Волчья ферма…

Конец мая. Полдень. Цветет все – сирень и ландыши, яблони, вишни, терн и ирга. И в узких прорезях зеленых бутонов шиповника виден уже пурпурный бархат лепестков. Мы с Ники нехотя затворяем за собой калитку дачи и мимо железных и деревянных заборов, за которыми теперь навеки спрятан от наших глаз ручей его детства и моей молодости, не спеша идем вверх по дороге, на электричку. Свет и тепло овевают каждую мошку, стебли трав и осок удлиняются на глазах – тянутся к солнцу. Черными стрелами свищут над куполом церкви стрижи, высоко в небесах обращаясь в подвижные точки. Три печальные ангела так и сидят над своей чашей, повернутой к проходящим так, чтобы было видно: она пуста.

У церковной изгороди, к Пасхе выкрашенной изумрудной зеленью, мечется небесное создание. На спине рюкзак размером с фортепьяно, на девственной груди бинокль. Болотные сапоги с ботфортами. Золотистые косы ангела вьются вдоль розовеющих ланит, уста от жары и волненья приоткрыты. Ангел говорит по мобильнику. Но мы-то с Ники знаем, куда летят эфирные волны: в наш дачный дом, под корни ели, в комнату-нору, выкопанную трудолюбивым биологом – прадедом Алексея. Ангел потерялся и теперь сверяет направление. Мы, сохраняя инкогнито, указываем студентке Алексея путь к святому источнику. Источнику знаний о

волках. То есть к нашей калитке.

В это утро на даче назначен сбор всех, кто собирается уезжать на Волчью ферму. Сбор, за ним – отъезд. До осени. До поры, когда покраснеют и побелеют нежные листья бересклета, нальется рыжим соком рябина, а пурпурным – ирга, когда склюют ягоды стаи дроздов и улетят к югу. До поры листопада и начала университетских лекций. А мы с Ники уже выходим на перрон. И садимся на лавочку, тоже недавно выкрашенную, празднично-синюю. Нагретую утренним розовым солнцем.

Нелегко придется Алексею в это лето. И в эту осень. А может, и зиму… Так думаю я. И соглашается Ники. Жить среди златокудрых ангелов с небесным взглядом… Учить и окормлять… Слаб человек… И особенно слаб, когда перед ним его юность: вот она. Лицом к лицу.

Надежды, молодые тревоги – больно. Невыносимо, пронзительно больно: они уже не твои. Нет, не твои. Ни златокудрые ангелы, ни бессонные ночи на крыше избы у лесной опушки – ночи, когда только звезды в глазах, только черное небо и нестойкие, падучие, прекрасные, вечные звезды – но и они, эти ночи и эти звезды, – нет, не твои. Вспомни-ка, сколько уж раз видел ты весну, лето, зиму и осень? И эти звезды? То-то. Не твой черед. Твой черед миновал. Навсегда. Но смириться с этим нельзя. Да и нужно разве? Зачем? Зачем, в самом деле? И каждый, движимый новой и новой любовью, – но ведь не последняя же она! – смотрит на небо.

Вчера ночью я смотрела на него с балкона дачи. Где-то далеко, в тумане лугов над Истрой, бил одинокий перепел да в куртине черемухи, оттесненной новыми сплошными заборами от ручья к перекрестку дорог, прямо над крестом у святого источника, звенел и булькал соловей. Надо мной сияли бриллианты Большой Медведицы, куда-то вниз, задевая за острые вершины елей, косо скатывался ковш Малой, а вокруг белой кисеей недвижно висели кулисы цветущего сада. Там, в вышине, на черном небе я различила наконец тонкие туманные нити судеб – наших и тех, что с ними переплетались. Я отвернулась и ушла в дом.

Утром Алексей попросил меня помочь покормить волчат. Я взяла одного на руки. Это был черный зверек размером с небольшую крысу, очень похожий на тех беспородных кутят, которых бабки продавали на старом Птичьем рынке – на том единственном, настоящем и вечном, что некогда был на Таганке. Там, у бабок, точно такие щенята пищали и скулили в обширных вонючих коробках, с трудом поднимая к солнцу свои полуслепые еще головки.

Волчонок тоже открыл глаза совсем недавно. Треугольные уши еще не встали, а были плотно прижаты к узким скулам. Сейчас он тыкался мне в пальцы крохотным влажным носом.

– Это Тася, – сказал Алексей. – Таис то есть. Так ее Ники назвал. Хорошее имя.

– Мне нравится, – сказал Ники. – Ты же помнишь:

Thais habet nigros, niveos Lecania dentes.

Que ratiost? Emptos habet illa souos [26] .

– Да, – ответила я. – Хорошее имя. – И, набрав в пипетку молока, поднесла ее к носу волчицы. Маленькая пасть приоткрылась, и молоко было проглочено. Скоро оно кончилось и в блюдце, но зверь, по-видимому, был уже сыт. Волчонок потоптался у меня на коленях, не без труда вскарабкался передними лапами на мой локоть, поднял голову.

И вдруг тонкая слабая еще шея детеныша вытянулась и напряглась, черные маленькие губы сложились трубочкой, и к потолку взмыл тихий, протяжный, совсем не щенячий звук. Волчица Таис выла – почему, бог весть. Но выла она по-настоящему, и странно было слышать этот дикий голос в нашей комнате, темноватой даже в это сверкающее майское утро. В этой дачной гостиной, выкопанной Алексеевым дедом у корней большой ели. Под желтым шелковым абажуром Алексеевой бабушки. Над дубовым столом, купленном в двадцатые годы на Арбате – моими дедом и бабкой.

Мне стало холодно, и я поспешно передала зверя на руки Алексею.

Электричка все не шла. Мы с Ники вспоминали златовласого ангела с мобильником.

Солнце подымалось выше и становилось все горячее. День обещал быть очень жарким. Над мокрым от росы перроном курился легкий пар.

И – вот оно! Из колеблющейся солнечной дымки прямо перед нами появилась странная фигурка. Стройная, ладная, очень прямая, она напоминала лезвие стилета, внезапно выхваченного из ножен. И глаза – девочки? женщины? – были такие же – узкие и стальные. Они заглянули под поля моей шляпы, скользнули оценивающе и еще сузились, устремившись к лицу Ники. Он уже объяснял, какая дорога ведет к даче.

Если бы я знала, когда, сколько раз и с кем пройдет это юное существо дорогу от перрона к дачной калитке! Но главное я почувствовала. Ники выдал свой дом. И обречен был – отныне и навсегда – оставаться бездомным. Она, легко рассмеявшись, пошла вперед, по дороге к церкви. Пока одна.

Свистнула электричка, мы с Ники вошли в вагон и

оглянулись в окно поезда. «Это и есть будущая папина аспирантка, – сказал Ники, – хорошая девочка. Способная. Я сам выбирал». Узкая фигурка уже исчезала из виду там, где у забора готовился зацвести старый куст белых роз.

Так мы были у себя дома в последний раз. Так навсегда уезжали. Только Ники понял это не сразу.

Из записок биографа: подобия все множатся

Ли Мин влюблен в армянку. Не так давно, но все-таки. Нашел ее здесь, в МГУ. По-моему, ее Соня зовут. А может, и не Соня вовсе. Так или иначе, Ли Мин считает, что армяне – это древние китайцы. Вчера, сбегая вниз по лестнице с пятого этажа, из нашей лаборатории, на второй, в буфет, где вот уже несколько поколений студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников биофака наслаждаются яичницей с зеленым горошком или с ветчиной, я услышал знакомые голоса на пролет ниже. Притормозил. Прислушался. У окна лестничной клетки, очевидно, сидя на подоконнике, разговаривали двое. Лика и Ритик.

– Как ты думаешь, Соня *очень* красивая? – Голос Лики нарочито спокойный.

– Не зна-аю, – безразлично отвечает Маргарита Буш. Она, конечно, поглощена экраном мобильника.

– Я слышала, как Ники сказал, что *очень* . А ты как думаешь? Ну, все-таки?

– Нет, не особенно. – Голос Ритика успокаивал. Милая, она делала это нарочно. Для подруги. Нет, Ритик все-таки чудесная. Чу-у-удная, как принято говорить на биофаке со времен одного очень, очень выразительного преподавателя, не чуждого богемного артистизма и нарциссизма. И то и другое, а особенно в сочетании, действует на сердца студентов неотразимо. Вот все и попались. До сих пор, вот уже лет тридцать подряд, весело звенит в рекреациях и гулко стонет в коридорах это слово: «Чу-у-у-у-удная!!!»

Итак, Ли Мин, влюбленный в древнего китайца, то есть в армянку Соню (и впрямь очень красивую той быстротечной красой Востока, которая сжигает девушку, как жаркое пламя, несколько зим спустя оставляя лишь черные угли), а с ним Вэй Юнь и ваш покорный слугасобрались на Волчью ферму навестить Хай Чжэна.

Июль был на исходе. По вечерам красные долгие закаты и что-то едва ощутимое в ветре, все еще жарком, говорили о том, что год вот-вот наденет свою корону из колосьев и трав, плодов и… ну, что там еще полагается. Оставив риторику, можно сказать короче: наступал август. И я не видел Хай Чжэна с конца мая, с того памятного утра, когда мы с профессором уехали в Москву на электричке, оставив дачу в распоряжении нескольких студентов,

Хай Чжэна в их числе, будущей аспирантки, которую звали так же, как мою мать, и их научных руководителей – отца и его давнего друга, тоже волчатника. Все они в тот же день должны были на двух машинах выехать в Тверскую губернию.

По непроницаемому жесткому лицу Хай Чжэна можно было прочесть, что с присущей ему серьезной твердостью юноша собрал свою волю в кулак, чтобы стать, как он всегда намеревался, славой новой китайской зоологии. А кулак у него был неслабый. Ли Мин, его наставник в каратэ, был доволен.

Два месяца минуло с тех пор. Связи с Волчьей фермой не было почти никакой. Я провел это время в Москве, затворившись в прохладе лаборатории, и лишь по вечерам слышал прощальные клики стрижей над твердыней биофака, выходя на Воробьевы горы, чтобы в одиночестве совершить свой путь к дому: по Бережковской набережной, через мост, во двор.

За два месяца я понял любовь. Или, если угодно, дружбу – но ведь это одно. Это счастье-страдание, и на излете, как на излуке, кончается оно тоже одним. Только одним. Смертью. И не важно, кто умирает – ты ли сам, обращаясь в нового не-себя, как оборачивается человеком волк-оборотень, ударившись о землю; тот ли, кого любишь – теряя, теряя, теряя свое прекрасное лицо вместе с твоей любовью… А она – она то утекает по каплям, то, будто прорвав плотину, бешеным потоком вновь устремляется на свободу, сметая на своем пути две незначительные фигурки. И это вы оба: любящий и любимый. Бывшие – ci-devants…

Документ Word 9 (примечание биографа: это о том, как умирала моя любовь. рассказано профессором со слов наблюдателей)

Рыжебородый викинг, московский бог Тор и исследователь Арктики, лучший специалист в мире по белым медведям, сидел в удобном кресле, перекинув одну ногу на другую – тоже босую, конечно, ведь по земле и даже по паркету нужно ходить босиком. Ступни его скандинавских ног поросли редкими красноватыми волосками. Белых медведей становилось все меньше, арктические льды таяли на глазах. Но московская жизнь текла своим чередом, и однажды ноябрьским вечером викинг, а на самом деле Алексеев однокурсник, пригласил мужа выпить бутылочку красного вина.

Я тоже пошла. Вина я уже давно не пила, но викинг меня привлекал. Он был хороший рассказчик, спокойный, со своеобразным юмором – ледяным, чуть зловещим, опасным, как трещина льда, скрытая под снежным наметом.

И я не ошиблась: на этот раз я узнала кое-что из жизни Ники. О поездке к китайскому другу – на самом излете чувства его всплеск не остался незамеченным, и викинг не преминул сделать из этого одну из своих холодновато-забавных историй.

Говорили двое: он и Алексей. Тот тоже кое-что видел. А я – я только слушала. В самых общих чертах я знала, что Ники ездил навестить своего друга Хай Чжэна на Волчью ферму, на базу, где студенты жили и изучали волков, а Алексей ими руководил – то есть студентами. Но и некоторыми волками – теми, что были выращены из крохотных месячных щенят и содержались в вольерах. Дикие же волки жили отдельно, в лесу. Волчья ферма – общее название для нескольких брошенных деревень, где размещалась база: Бубенцы, Фуфлово, Зайцево.

Ники с Ли Мином и лягушонком Вэй Юнем отправился на Волчью ферму почему-то именно тогда, когда Хай Чжэн был завезен на грузовике за шестьдесят километров от центра базы, в нежилую деревню Зайцево. Там китаец и был оставлен, чтобы записывать на магнитофон вой дикого населения окрестных чащоб.

Я знала также, что хозяин базы – Вовка Волоков – условился с Ники не только встретить их на вокзале в городе Торопец, где венчался некогда со своей юной Сашенькой святой князь Александр Невский, и довезти не только до центра Волчьей

фермы, то есть до Бубенцов, но еще и свозить в Зайцево к Хай Чжэну.

Но обещание свое Волоков как-то нарушил. Встретить-то встретил и в Бубенцы привез, а оттуда в Фуфлово, а вот в Зайцево наутро ехать отказался. Это я поняла из скупых Никиных фраз, выдавленных сквозь сжатые зубы, когда мы пили чай после его возвращения от волков и друзей в Тверской губернии. Фраз было совсем мало, но и их хватило, чтобы выразить презрение к людям вообще, муки неразделенных чувств, боль неверия в жизнь, скорбь от всех нестроений ее и горькую обиду на предательство.

Привожу разговор Викинга и Алексея, для меня исполненный невыразимой тоски отлетающей любви. Она еще здесь, еще витает, но все отдаляется, и нет у нее сил вернуться, как бы того сама она, владычица Любовь, ни хотела… Нет сил…

Не знаю о китайцев судьбе, – сделав маленький глоток бордо, в предвкушении будущего своего рассказа сказал викинг. Ему нравилось понемногу отпивать терпкое вино и смаковать слова. – А Вовка тогда уже должен был встречать в Торопце иностранцев – ну, студентов-волонтеров из Германии, потому никак не мог везти Ники дальше остановки на шоссе, по дороге к Зайцеву. Ну, в результате Ники потащился – то есть это то, как я знаю эту историю, – потащился с двумя китайцами (и с подарками, которые привезли они из Москвыдля Хай Чжэна), из Бубенцов назад, снова в Фуфлово, где они ночевали, в общем, это была какая-то мука, идиотский какой-то мазохизм… Приятную поездку – то есть они заплатили огромные какие-то деньги за билеты, он ведь всех этих китайцев потащил – приятную поездку превратил в какое-то сплошное мученье. В результате Ники добрался чуть ли не пешком, за шестьдесят-то верст, до Зайцева этого и привез подарки эти Хай Чжэну, но самое главное, что все эти мучения того не стоили, потому что, как он сам сказал, китайцу абсолютно по барабану, есть эти подарки и еще два китайца или нет этих подарков и еще китайцев.

– Ники не добрался до Зайцева, – сказал Алексей.

Не добрался?

– Не добрался, нет. Там же дальше было у этой истории драматичное совершенно развитие…

– А дальше я просто не знаю. Просто не знаю эту историю.

– А дальше там… Нет, во-первых, как Ники уезжал. Он встал в Фуфлово, куда их накануне Волоков привез, в четыре утра и почему-то решил, что вместо того, чтобы пройти до остановки девять километров или сколько там? Одиннадцать?

– Сейчас скажу тебе. Нет, там меньше. От Малашей до Бубенцов одиннадцать. Значит, от Фуфлово до остановки… до

остановки километров семь.

– Семь… Ну, шесть…Ну, так вместо того чтоб пройти шесть километров… вместо этого он встал в Фуфлово чуть не в три утра и сразу пошел будить людей, чтоб искать попутку. Ну и, конечно, из-за этого его чуть не застрелили… Там же местные жители, представляешь, ну кому же интересно, когда в четыре утра в окно барабанят и говорят – а не подвезете ли километров шесть? Вот. А потом он потратил какое-то безумное совершенно количество денег, чтобы проехать эти странные шесть километров, которые за час пешком проходятся по нормальной дороге…

– Причем они проходятся в легкую там…

– Ну вот, Ники боялся, что Ли Мин куда-то без него, один дернется, но он не дергался…

– Как умный человек.

– Ну да, он ждал его, причем не в Малашах вовсе, а там же, в Фуфлово. Пока Ники бегал и транспорт искал. До остановки чтобы доехать. А там автобуса на Зайцево ждать.

– Так Вовка в Фуфлово за ними все-таки заехал?

– Ну да, в Фуфлово. Но вот дальше… Дальше – это атас, полный атас. А все почему? – продолжал Алексей. – Потому что когда Вовка в Фуфлово заехал, Ники поставил свой рюкзак на заднее сиденье, на место рядом с дверью – на то самое место, которое должен был занять Ли Мин. А Ли Мин, как воспитанный человек, соблюдая китайские традиции, передвинуть рюкзак чужой не мог, потому он захлопнул как следует заднюю дверь и пошел вокруг машины, чтобы сесть на свободное место с другой стороны. А Вовка Волоков, который обычно врубает на полную катушку свою музыку, магнитофон свой жуткий какой-то, «Мариолу», у него же музыка чудовищная всегда, нажал по газам, услышав, что дверь хлопнула, а Ники, который сидел вот так, закрывшись от музыки своей этой кофтой полосатой, которую ему тот голландец из Амстердама подарил, вообще не видел, сел Ли Мин или нет, – он вообще ничего не видел, а только слышал хлопок двери, сказал, что все, поехали, и они умчались…

А на остановке у шоссе, где сворот на Зайцево, Волоков стал Ники высаживать, и выяснилось, что одного китайца, самого главного, Ли Мина то есть, просто нету. Нету в машине. Ну вот, до Хай Чжэна, то есть до Зайцева, так они и не добрались. Но Ли Мин и второй китаец, маленький этот, на лягушонка похожий, пока Ники ездил с Волоковым до остановки автобусной до Зайцева, да пока ждал там автобуса полдня и, конечно, не дождался, да пока потом назад возвращался, пешком конечно, – они, эти китайцы оба, получили дикое удовольствие. Потому что лошадь в первый раз жизни увидели. До тех пор – никогда.

– Господи! Лошади не видели! А кто ж им показал?

– А Витька-цыган. Тот, что жену убил.

– Да он двух, по-моему, убил. Какую-то бабу еще там…

– Ну, все равно. Витька, да. Он наездник классный.

– Он приехал верхом, и китайцы в *первый раз в жизни* увидели лошадь. Это *невозможно* в Китае увидеть. Это громадное впечатление произвело. Это как вроде как *черт* для них. И вот Витька мне рассказывал, они прибалдели совершенно, а Ли Мин, он бросился к ней, к лошади этой, и стал брюхом на спину ей прыгать. Брюхом. Каратист хренов.

– Хотел залезть!

– Да, он *страшно* хотел залезть! Ну, а потом… Ему Витька показал, и он залез, и он *поехал* … Поехал, еще как. Ездил чуть ли не галопом с первого же раза.

– Да ты что!

– Да, вот так вот, китайцы эти. Каратисты, и координация прекрасная…. Но дальше… Дальше была самая маразматическая история, которую я только знаю. Но вы Ники не говорите, что я знаю. – Алексей был всегда осторожен с сыном. – Ну вот, – продолжал он. – Ники же привез из Китая подарки, а из Москвы арбуз. И почему-то все в деревне подумали, что арбуз из Китая. А он был куплен для Хай Чжэна на Рижском вокзале. Арбуз как арбуз, здоровый только очень. А история получилась совершенно драматичная. И Витьке, этому цыгану, чуть не стоила, вообще говоря, башки. Ники с китайцами уехали уже в Москву, а тут приезжает к нам в Фуфлово Хай Чжэн из Зайцева. Мы с ним позаписывали сперва звуки волчат, пошли обедать, значит. И сидим с ним, чай пьем. А тут входит Витька и видит: стоит арбуз – здоровенный, как дом. А Витька слегка подшофе. И он начинает: вот там, арбуз гребаный, это ж надо, идиотизм какой – арбуз в Москву из Китая посылать. О чем родители думали, и вообще какой идиот будет навяливать кому-то арбузище такой сыну любимому в тверскую деревню переть. И я смотрю так… Мой Хай Чжэн вообще… Родители – это абсолютно святое там. А Хай Чжэн – он чудовище же. Горячее такое. Смотрю – тут пошли желваки вообще… все, все… пальцами хрустит…и потом он по-русски, на чистом русском языке, матом: «А пошел ты на… Ты что, пиздюк, со мной драться хочешь? Ну-ка пойдем вообще…» Ну, Витька понял, что что-то не то сказал… И – «Нет, нет, драться не хочу, не надо…»

И знаешь, почему он Хай Чжэна не зарезал, как тех двух баб? А просто Хай Чжэн делал как-то упражнения эти свои, а Витька говорит: дай и я с тобой, и Хай Чжэн его пару раз так зацепил легонько, показать только.

Но в этот раз Хай Чжэн *просто* рассвирепел до того, что там… Витька ведь сказал про его родителей, какие они кретины, что парня заставили из Китая такой арбуз в Фуфлово тащить. Такая формулировка была. И вот он как зашипит: «На … пошел, драться будем». Ну и я, как научный руководитель, между ними встаю, а китаец мой мне и говорит: «Вы что, Алексей Николаич, драться со мной хотите?» Ну я, понятно, отвечаю: «Нет, драться ты со мной не можешь, ты мой студент, а я твой учитель», – а Витьке-цыгану, в сторону, что называется: «А пошел бы ты отсюда на …, да побыстрее, видишь, парень горячий, а ты китайских обычаев не знаешь, подведете меня под монастырь оба, вали отсюда поскорей пока».

А потом, когда Витька ушел, а Хай Чжэн остыл, он сказал: «А по нашей традиции самое главное – это родители». Вот так.

Но самое интересное, что потом Хай Чжэн, когда мы вместе с немками-волонтерками ели уже этот арбуз, говорит: «Да, давно я не пробовал наших арбузов! Ох, какой вкусный арбуз! Только у нас такие бывают вкусные». Все захихикали и говорят: «Да наши-то арбузы тоже ничего. Бывают даже очень». А он отвечает: «Да, у вас тоже. Но ведь это особый сорт. Чувствуете разницу? Особый сорт! Такие только у нас!» То есть он абсолютно поверил, что Ники из самого Китая, из Пекина, из Бейджина то есть, этот арбуз ему в Бубенцы от родителей привез вместе с другими подарками.

– Но Ники на самом деле сделал одну очень большую ошибку. – Викинг налил себе еще бокал. – Потому что Ники был настолько взбудоражен своей идеей этой вот, что надо за один день добраться до Хай Чжэна в Зайцеве, что сам не понял, что причина всего этого маразма-то была в нем самом. Только в нем. Он все ждал Вовку, и когда выяснилось, что Вовка их никуда не повезет – не может повезти – потому что он в Торопце волонтеров встречать должен, – так Ники пошел знакомиться с этими девочками немецкими… Там же было в Фуфлово еще несколько девочек немецких, тоже волонтерок, – так вот, он стал им говорить, что вот типа Волоков его подвел, обещал повезти в Зайцево, а что он с двумя китайцами договорился на один день приехать, а Волоков вроде как все сорвал… что вот он обещал, значит. А теперь вроде все не так… В общем, мне рассказывал Вовка сам об этом. У него, знаешь, свои там отношения какие-то с этими девочками; чего-то девочкам нравится, чего-то девочкам не нравится, но Ники взял и, типа, на него накапал. Что он необязательный такой, подвел его… И начал на него мести. А Ники по-английски хорошо говорит, и девочки эти немецкие тоже понимают, в общем, Вовка приходит такой совершенно… Ну, неприятно же, понимаешь, девочки за свое волонтерство и работу

на базе Волокову деньги платят, а тут вроде как неуверенность какая-то в нем появляется… Нехорошо, в общем. И Волоков, несчастливый такой, мне говорит: зачем так делать? Так делать нельзя.

– Абсолютно. Конечно. Нечего было капать, – быстро согласился Алексей. – Ну, я тебе могу сказать, что не знал просто этого. – Это чтобы викинг почувствовал, что родительское осуждение последовало бы непременно.

– Я могу объяснить только тем, что парень в фрустрации был, не понимал, что он делает, – заявил викинг снисходительно, демонстрируя великодушие и справедливость.

– Да-а…

– Конечно, так нельзя, тем более что он сам создал эту ситуацию от начала до конца. – Викинг не мог все же не выразить своего подлинного мнения. – Какие претензии там к Волокову… Ну, человек сегодня занят и не может поехать в Зайцево. Ну и что, что тут такого? Позагорали бы с китайцами в Фуфлово, на озеро вон сходили, лошадь, елки рассмотрели бы получше. И к вечеру в Торопец, на поезд и в Москву. А Хай Чжэн – ну, написали бы ему записку. Что приезжали, и пришел бы он из Зайцева когда-никогда, прочитал записку, поел бы арбуза, получил подарки. В чем проблема-то?

– Ну, вообще-то Ники с Волоковым созванивался перед этим, – чуть извиняющимся тоном заговорил Алексей, – и Вовка сказал, что их повезет. В Зайцево.

– Он сказал, потому что у него в плане это было, туда ехать. А планы, сам знаешь, меняются. Ну какого хрена он бы туда поперся? Просто так-то? – Викинг крутанул бордо в прозрачном стекле и глотнул.

– Ники в любом случае неправ – это даже обсуждать нечего – это абсолютно… Стопроцентно… Хотя Волокова я знаю. Это семь пятниц на неделе. Это тоже, знаешь…

– Я тоже знаю, и это так, Леха, но, с другой стороны. Понимаешь, ну, тут серьезная работа, дела серьезные. И ради мальчишек каких-то… И какие могут быть претензии?

– Нет, претензий никаких.

– Ну конечно, почему Вовка должен строиться под капризы какие-то? Арбузы развозить с китайцами? По работе если нужно там, ну, это можно было бы понять.

– Ну да, у Ники это придурь, да.

– Ну да. Просто блажь. Причем ни Хай Чжэну это не нужно было, никому… Просто блажь. И даже Ники это не нужно было самому. А уж китайцам и лошади хватило. С головой. И ради нее одной съездить стоило. Потом, почему он не показал им русский

лес? На бобровую плотину бы сводил… И китайцы были бы счастливы. А то он вместо того, чтобы устроить им приятное время, замучил их только.

На этом рассказ и обсуждение иссякли, как и темная жидкость в бутылке. И мы с Алексеем вышли на ночной проспект Мира, и ноябрьская грязная слякоть поглотила наши следы к метро.

– Да, – сказал Алексей. – А ты заметила, какую фразу Хай Чжэн сказал после всего этого? Он сказал: «А по нашей традиции самое главное – это родители». Вот как.

От биографа Нет, лучше уж я сам расскажу о последних днях и часах своей филии, или о том, как моя единственная любовь-дружба покинула меня

Площадь у Рижского вокзала всегда какая-то тревожная. Ветер – а он дует там не переставая – закручивается спиралями, поднимая в воздух мелкий светлый песок. На зубах хрустит. Вокзал низкий и маленький, какой-то игрушечный, выглядит декорацией к фильму, который давным-давно пылится на полке в забытых коридорах исчезнувшей советской киностудии.

Зачем нужна мне теперь эта поездка? Как мечтал я о ней зимой, на Рождество, когда привез Хай Чжэна, моего кумира, к нам на дачу – познакомить с отцом, просить его стать для друга научным руководителем… Учителем, а значит, духовным отцом и наставником. Познакомить с матерью – пусть станет для моего профессора приемным сыном – он, таинственный пришелец с Востока. И мне – названым братом.

Помню, как вошли вместе в храм на горе… Из черной морозной ночи, окаймленной белым кружевом, шагнули прямо в теплое золотое сияние, в облако ладана, под синее небушко, с которого строго и ласково глядит долу, на люди своя, око Спаса Вседержителя и льется чудное пение ангелов – деревенских старушек-девушек.

Родители мои его приняли. В храме затепленную мною свечечку держать он отказался – тверды принципы китайского самостояния. Не тогда ли стало мне горько и грустно? Так горько и так грустно, что впервые за все время этой дружбы я это понял.

Но потом, когда вышли под бархатное звездное небо, пока возвращались, оступаясь в пушистом снегу, к спрятанному в заснеженных елях дому, пока сидели за праздничным столом, все снова потеплело, а грусть-тоска исчезла, будто и не было ее. Но нет. Я и тогда знал: не исчезла – осела на дне души, опустилась на дно колодца. Знал, только себе не признавался.

И вот полгода минуло. Хай Чжэн не нуждался ни во мне, ни в моих родителях. Родина для него могла быть только одна. И семья – тоже. И мне было тяжело и досадно. Досадно на самого себя. Но ту мечту – рождественскую, зимнюю – решил я все-таки осуществить. Пусть так – а все равно поеду на Волчью ферму.

Если разобраться, ведь новая ее часть – та, в которой изучали поведение волков в экспериментальных условиях, где растили и наблюдали купленных мною по сотне баксов черных малюток, – самим своим существованием была обязана мне. Не было бы ничего, если б не моя дружба-любовь к Хай Чжэну, таинственному и неприступному, суровому и заносчивому. Если б не эта филия, как сказал бы мой профессор. К тому же только что был я в командировке – сам послал себя в шелковую страну, объездил ее всю – от Урумчи до Кун Мина. На переполненных поездах и автобусах, в которых желтолицые люди полулежат друг над другом в три этажа, на местных самолетах и на попутках… Проник в недоступный Тибет, где ночью скрывался от бандитов, скатившись в придорожную канаву, а потом от полицейских, затаившись в канаве по другую сторону шоссе. Пропоротая ножом рука быстро затянулась. Ну и, конечно, с трепетом въехал в Бейджин и был принят семьей друга как сын. Правда, как сын. И вернулся домой с подарками – для отца, для матери, для Хай Чжэна.

И вот я на площади Рижского вокзала, песчано-пыльной, изжелта-серой, как затянутое жаркой дымкой июльское небо. Со мной китайский рыцарь Ли Мин, подарки Хай Чжэну от родителей из Бейджина и маленький Вэй Юнь. Он предвкушает дальнюю дорогу, приключения и подтягивает сползший белый носок. Ослепительно белый. Ни разу не видел ни одного русского в носках такой непорочной белизны. Почему? Загадка этнопсихологии.

Ждать поезда недолго, но я отчего-то волнуюсь. В Москве уже продают арбузы. Отвезем Хай Чжэну. Скажу – из Китая. Поверит?

Поезд остановился в Торопце ночью. Волоков встретил, как договаривались, и мы с китайцами закатили в «тойоту» наш полосатый трофей. В машине оглушило что-то кошмарное. Гремела жуткая попса. Меня трясло ознобом ночи и возбуждения: вот уж скоро Волчья ферма. Скоро Фуфлово, скоро Зайцево – там, в глубине сомкнувших кроны лесов… Все спят.

– Ты, Колян, не обижайся, – голос Вовки Волокова с трудом пробивался сквозь гром и грохот «музыки», – только в Зайцево я тебя не повезу. Тут на следующем поезде, утром рано, волонтерки приезжают, немки и француженки. Так что я вас до Бубенцов доброшу, передохну до обеда, а там опять на станцию, девочек встречать. Извини. До Фуфлова в крайнем случае.

– Так мы же только вчера договаривались. – Я еще не вполне оценил угрозу всем своим планам.

– Вчера – это вчера. Кто ж их знал, что они в Москве уже, да к тому же сразу в Волчью потащатся?

– Так, может, ты тогда нас сразу в Зайцево, а в Фуфлово потом. Успеешь отдохнуть-то.

– ??? Ночь всю прокататься! Ты это отдыхом называешь?

Я смолк. Все было испорчено. Ненавижу, когда планы ломаются. Ну, уж теперь как повезет. Если с попуткой выгорит, то не так уж плохо. Так. Приезжаем ночью в Фуфлово. Спим. Утром добираемся до Бубенцов – отец говорил, там всего километров несколько. Потом до шоссе, где сворот на Зайцево. Ловим попутку. Вот где все может накрыться. Машины там не чаще медведей. А путь непеший – под восемьдесят верст. Если остановим кого – добираемся до Хай Чжэна: арбуз, подарки… Потом назад, в Бубенцы, и Волоков отвозит нас в Торопец, к вечернему московскому поезду. Все.

«Тойота» рассекала ночной мрак, заглушая робкие звуки июльской ночи агрессивной попсой. Так, миновав спящие Бубенцы, мы увидели впереди, у светлой даже во тьме проселочной дороги, черные бугорки немногих изб: Фуфлово. «Тойота» немедля развернулась, еле успев извергуть из своих рычащих недр арбуз, будто второпях родила детеныша, и с громом укатила. Все стихло.

Тонкими иглами пронзали тьму крики юных неясытей – совята просили родителей поторопиться, наполняя несытые желудки детей теплыми мышами. Мы с Вэй Юнем, подрагивая от ночной свежести, постучали в окно к отцу.

Для сна оставалось часа три, не больше.

Когда я проснулся, Ли Мин уже обливался из ведра у колодца. Поднять Вэй Юня оказалось непросто. Он не гнулся, как оловянный солдатик, и принял вертикальное положение весь целиком, хотя я пытался вначале посадить его на топчане, где он до самого рассвета спал совершенно неподвижно.

Колодезная вода тверской деревни Фуфлово, доведенная до состояния белых пузырьков в помятом и закопченном алюминиевом чайнике – том, что подобрали в брошенной избе, обживая покинутое кем-то гнездо, – эта живая вода расправила черные комочки чая из провинции Сычуань, и его зеленые листики, как водоросли, заколыхались в наших кружках.

Отец остался кормить изрядно подросших волчат – их желудки за ночь съежились, животы подтянулись, и они, как ночные детеныши неясытей, нетерпеливыми криками пронзительно требовали пищи. Вопли записывались на магнитофон, а мы вышли в Бубенцы – искать машину. Арбуз понес Ли Мин.

Да, любовь моя умирала. На рассвете летнего дня, в блаженном полусне и тумане первых, еще сонных птичьих звуков,

на краю сверкающего солнечного диска, это было так же ясно, как прозрачен был небесный свод этой лесной вселенной. Но все же – все же… Что-то еще несло меня вперед, туда, в глубь медвежьей и волчьей чащобы, несло с той же силой, которая напрягает великолепные ноги скачущего по высокой луговой траве оленя и расправляет пестрые крылья ястреба… И я подчинялся ей, не задумываясь, не оглядываясь, и устремился навстречу другу, который и другом-то уже не был, но это было уже не важно.

До Бубенцов мы дошли легко. Арбуз передавали друг другу. Но деревня еще спала. Я весьма неудачно попытался решить нашу проблему, постучав в окно к мужику, которого мне назвал отец еще в Фуфлово. У черной избы его стоял уазик, столь же помятый и закопченный, как алюминиевый чайник отца. В ответ на стук раздался мат, окно распахнулось и из него показалось дуло двустволки. Я извинился, окно захлопнулось.

Но мат еще долго звучал нам вслед, и в такт колебаниям воздуха слегка позванивали истончившиеся от времени стекла.

Мы подошли к розовому, пахнущему свежей смолой дому. Его только что построил себе рыжебородый отцов коллега и однокашник, исследователь Арктики и белых медведей, а также сложных отношений песцов и полярных сов. Непростая жизнь арктической фауны, запечатленная рыжим викингом на тысячах кадров, заснятая на километрах видеопленки, рассказанная русским варягом на страницах прекрасных книг, которые он – один из немногих московских зоологов, если не единственный – умел писать сразу по-английски и издавать в Америке, – вся эта суровая, сложная и прекрасная жизнь моржей и медведей, гусей и леммингов – дала ему возможность собственной жизни. Жизни на Севере. Жизни в Москве. Жизни в Бубенцах. Во Флориде. Где бы он ни захотел.

Мы поставили арбуз в траву и присели на белое крыльцо. Вэй Юнь зевнул. Ли Мин сидел с прямой спиной и смотрел перед собой, на первые деревья у опушки. Искусно лавируя между ветвями, вылетел на охоту ястреб-перепелятник. Я опустил голову на руки. Что же делать? Сколько еще проспят жители Бубенцов? Нет, не успеть мне за восемьдесят километров в Зайцево, а потом и обратно, да еще к вечернему поезду в Торопец! Не успеть…

Но тут дверь за спиной у нас, не скрипнув, отворилась – у викинга в хозяйстве, видно, все было смазано, – и сам хозяин, уставив вперед рыжую в мелких колечках бороду, вышел на свет божий, и босые ноги его, все в красноватых волосках, уверенно и твердо ступили на толстые свежие доски собственного крыльца.

– А, Николай Алексеич! С добрым утром! Hello, friends, you are very, very welcome! – последнее было сказано с широким

зевком для китайцев.

Забрезжила надежда. Варяг обладал внедорожником. Вот он, автомобиль, под навесом. Новенький и наверняка исправный. Если попросить – он ведь знает меня с пеленок, буквально. Попросить – раз в жизни только. Все сделаю, что только душа его пожелает. За одну только поездку. Разве раз в жизни это так много – одна просьба?

Я попросил.

– Ну, может, отвезу, – сказал рыжий. – Посмотрим. Вон поленницу сложите сперва. А там посмотрим. А?

Поленница была сложена за считанные минуты. Старательно и радостно укладывая березовые чурки у стены сарая, под аккуратным выступом крыши, я вспоминал рассказ Пришвина про сеттера-гордона. Верный его звали, этого пса. Хозяин – охотник, помещик – пропал в восемнадцатом, а пес остался. Приютил его в деревне один мужик, да пожалел, что взял. Собака оказалась никуда не годная: наколешь дров-то, а он нет чтоб в поленницу сложить, так к сараю только перетаскает, там и бросит. Хорошо, писатель увидел и купил. А я вот никому не нужен, хоть и дровешки как надо располагаю. Одно к одному. Пришвин мой, спаситель, хозяин ласковый, где ты?

Хозяин дома на крыльце пил чай. Я подошел и посмотрел вопросительно.

– Слушайте, ребята, не ездите вы никуда. Ну чего напрягаться, леший вас за восемьдесят километров тащит! Расслабьтесь. Природой полюбуйтесь. Вон. Красота-то какая, а? На озеро сходите. И вообще – учитесь жить себе в радость. И я никуда не поеду. Ну что ты, в самом деле, Николай Алексеич? В уме ли? Ну, привез китайцев, так зачем тебе еще один? Одним больше, одним меньше… Тут погуляйте, а к вечеру вас Волоков на станцию подбросит. Там еще партия волонтеров прибывает.

Я отвернулся молча и подошел к Ли Мину с Вэй Юнем: «Ну, облом».

Тут показался Волоков, махнул рукой – не нам, рыжему. На нас он старался не смотреть. И неудивительно. Он отправлялся в Торопец. Туда из Москвы с поездом

4.50 прибывали волонтеры – девушки из Европы: наблюдать за волками и медведями, работать с ними – и все это за собственные евро-деньги. И немалые. Деньги шли фирме Волокова.

– Володя, – сказал я вежливо, но, боюсь, сквозь зубы, – подвези нас, пожалуйста. До остановки на шоссе, где сворот на Зайцево. А?

– Залезайте, – бросил он.

И мы залезли. Я сел рядом с ним вперед, рюкзак – на заднее сиденье. Волоков врубил свою попсу – на всю катушку, иначе он, наверное, не может. Черт, не повезло мне. У меня, как у всех нормальных людей, музыка внутри. А у большинства она снаружи. И очень громкая. Куда-то там, назад, влезли Ли Мин с Вэй Юнем, дверь хлопнула, и Волоков вдарил по газам. Машина заскакала по буеракам, по кочкам на дороге, и вот уж мы на перекрестке. Я соскочил на холодный еще асфальт, распахнул заднюю дверь. Выполз, выставляя конечности осторожно и медленно, как хамелеон, маленький Вэй Юнь. Больше на заднем сиденье никого не оказалось. Кроме моего рюкзака. И арбуза.

«Тойота» мухой скрылась из виду. Я заметался по обочине.

– Машину! Машину! – зачем-то орал я, сам себе удивляясь. Крики быстро глохли в чаще подступившего к дороге ельника. Да и кто мог их услышать, кроме сонного Вэй Юня – он удивленно таращил заспанные круглые глаза – и окрестного зверья, молча затаившегося в рассветной лесной мгле? Никто, никто совершенно.

Я сел рядом с арбузом, обнял его атласный бок. Глаза защипало. Пути к Хай Чжэну не было. Что ж, не судьба. И так все кончилось. Но как хотелось… Как это было нужно… Удивить. Всколыхнуть. Доказать, что все живо. Себе доказать. Ему. В последний раз, и все же.

Любовь, как дохлая кошка, валялась у обочины.

На горизонте показалась точка и, быстро приблизившись, увеличилась до размеров жигуля. За то, чтобы немедленно попасть назад, в Бубенцы, и выяснить судьбу исчезнувшего Ли Мина, пришлось выложить тысячу.

Да. Там нас и ждал невозмутимый китайский рыцарь. Ждал неподвижно, сидя с прямой спиной на лавочке у колодца. Истинный *дюндзе* , который не может позволить себе убить тигра, просто раскрутив его за хвост и ударив о дерево, а только так, как враг того достоин, именно – ударом кулака в нос. Vir bonus, муж достойный, – сказал бы мой профессор, прибегнув к аналогии с римлянином. Или ανέρ πολίτικοσ – то есть гражданин – вот вам и аналогия с греком.

Ли Мин объяснил мне, что произошло.

Дюндзе Ли Мин хотел сесть в «тойоту». Но прямо перед ним, с краю, на заднем сиденье оказался мой рюкзак. Рыцарь не позволил себе коснуться чужой вещи – моего рюкзачка то есть, – а тем более передвинуть его на сиденье. Он предпочел достойный путь – передвинуться самому, то есть сзади, вокруг «тойоты», к противоположной двери. Но не успел. Услышав хлопок двери, направленной мощной рукой Ли Мина, Волоков газанул.

Ли Мин посмотрел вслед, сел у колодца и выпрямил спину. Деревенские ласточки, щебеча и потряхивая черными вильчатыми хвостиками, атласными, как полы фрака, носились перед ним хороводом, присаживались на провода, крутя головками над белыми с рыжим пятном галстуками. Это надолго привлекло сосредоточенное внимание дюндзе.

Наконец мы с Вэй Юнем, истомленным долгим для него и слишком быстрым броском от перекрестка назад в Бубенцы, подкатили арбуз к ногам Ли Мина. Тогда-то он и оторвался от ласточек.

И увидел – нет, не нас. Лошадь.

Гнедая кобыла, познавшая некогда лучшую жизнь на хорошей конюшне, тихо шла в поводу у горбоносого смуглого мужика, испитого до болезненной худобы, темного и искривленного, как, верно, сама его жизнь.

Ли Мин замер, молнией метнулся вперед, и вот уж мужик держит повод, а дюндзе пузом напрыгивает мимо седла на острый кобылий хребет. Вот повод держит китаец, а мужик показывает, как, заходя слева и придерживаясь левой рукой за переднюю седельную луку, ставить левую ногу в стремя и, вскакивая в седло, плавно и мягко опускаться на лошадиную спину.

Следующий час мы пили чай в тени Витькиной избы – так звали цыгана, – а Ли Мин ездил перед нами туда и сюда. К концу чаепития был освоен хороший галоп. Дон-Кихот соединился со своим Росинантом. Но ненадолго. Как и все в этой жизни.

Цыган Витька взял свою лошадь за повод, вспрыгнул в седло и скрылся в неизвестном направлении.

А мы с китайцами, чтобы скоротать время до поезда в Москву, к которому нас должен был подкинуть Волоков, направились к девочкам.

Девочки в составе двух немок-волонтерок встретили нас смехом и щебетом, как ласточки. По слухам, в одну из них был уже влюблен Хай Чжэн. Хай Чжэн больше похож на северо-американского индейца, чем на китайца. Очень высокий. Смуглый, и лицо его жестко и определенно. Как и его душа.

Его Гретхен – по имени Берта-Ванесса: чудесно, правда? – была ростом ровно метр девяносто. Стройная, тонкая, черная, с острым лицом кельтской певицы Энии, она была притягательно загадочна. Пока не открыла рот. Я говорю по-немецки, и мне быстро удалось выяснить, что Берта (она же Ванесса) просто мечтает свалять для меня из шерсти местных овец теплый колпачок. Спустя несколько недель, когда обе девочки остановились у меня дома по пути в Германию, она действительно подарила мне его – окрашенный натуральной

растительной краской, которую Ванесса (Берта) выдавила из каких-то неведомых мне болотных растений, прочный и мягкий, как хороший валенок, колпачок, украшенный тонкой шелковой кисточкой, до сих пор со мной. А Хай Чжэн писал ей потом письма. Недолго. Как и все в этой жизни.

Мы уезжали. Арбуз оставили у девочек, а с ним и подарки Хай Чжэну. От родителей из Бейджина.

– Знаешь, – сказал Ли Мин Волокову на прощанье, – у нас в Китае есть одна поговорка: «Тот не муж, кто никогда не видел Великую Китайскую стену». Теперь будет еще одна. «Тот не муж, кто никогда не видел лошадь». – Он был счастлив.

Вот так и кончилась эта поездка. А с ней и моя филия – любовь-дружба, страстная, долгая, жаркая и преходящая. Как все в этой жизни.

Так кончаются и мои поиски аналогий – сходного, близкого. Хрия требует, да нечего мне ей предложить. Ни толерантный Запад, расплывающийся и дрожащий в голубом тумане марихуаны и однополой любви, ни жесткий Восток, где люди по сей день держат свое слово и чтят родителей, – ничто, кажется, нам не подобно. Что было – ушло, а что придет – неведомо.

Часть 6 Пример «Exemplum»

Пояснение биографа

Чтобы рассуждение вышло убедительным, в этом именно месте, на шестом этапе классической восьмичастной хрии, ритору полагается приискать достаточные примеры, подтверждающие правильность сказанного. Они берутся из истории, литературы, из своей жизни, наконец. Из собственного опыта. Из судьбы своей черпаются они, эти примеры.

Наша же судьба такова, и читатель, думаю, имеет все основания в этом со мной согласиться, что всякий прожитый нами день может стать наилучшим примером для хрии о любви, времени и смерти – от первого предрассветного, сонного еще шевеления замедленной в спящем теле мысли до внезапного исчезновения ее в темной кроне разветвленного древа снов. Так засыпает ребенок, набегавшись за день – глаза, словно окна в весенний сад распахнутые навстречу новому, неожиданно закрываются, будто переполнившись, и густые ресницы осеняют сомкнутые веки. Так же и мысли.

Продолжить придется тоже мне. биограф

Мне казалось, что жизнь налажена. Нет, не так. Я и не задумывался о ее исправности, как пассажир легко и радостно скользящего по блестящим рельсам поезда – пассажир, тихо дремлющий на диванчике vagon-lit [27] или беспечно взглядывающий в окно: бессмысленный взгляд, бессмысленные картины. Случайные, непонятные, чужие.

А присмотреться стоило. Сосредоточить взор, а за ним и мысль. Ведь не далекие и невозвратные поля и холмы летели мимо – пейзаж моей собственной жизни. Мимо, мимо…

Даже о банке почти не вспоминалось: зачем? Никакой насущной нужды не было. Родители устойчиво развивались. Знаете, есть такой термин – «устойчивое развитие»? Точнее, был. Сейчас о нем никто и не вспоминает, об устойчивом развитии этом. Придумал, конечно, какой-то американец. Некая социально-экологическая теория, с нажимом насаждавшаяся у нас в ту пору, когда профессор продавал свои способности в коммерческом университете, а кровь все капала с клыков молодых реформаторов. Кровь нашего народа, между прочим. Народа, имя которого… Вот тут уж и впрямь справедливо: nomen odiosum est [28] . Лучше имя его не произносить. Тем более в сочетании со словом «кровь». Нет у этого народа никакой своей крови. Только общая. *Что наше – то наше, а что ваше – то общее* . Закон всех перестроек. И революций.

Скажешь: я русский… Зачем сказал? Разжигает национальную рознь. Розжиг костров в лесу запрещен. Или: сказал с вызовом. Без вызова такого не скажешь. Или: с чувством собственного превосходства. Читали Ленина – «О национальной гордости великороссов»? Нет? А я читал. Там все это написано, вполне подробно. И ярко, надо сказать. Только софизмов много. Риторики. Тут профессор меня извинит: сам знает, что наука его – как двуликий Янус и служить может не только на благо, но и на гибель. Общества. Народа. Личности.

Пробовал как-то в беседе назвать себя без этого имени, уж совсем, мне казалось, нейтрально. Я вот, – говорю, – славянин. Применил, так сказать, уловку. Называется это в риторике «расширение тезиса». Может быть, здесь профессор сказал бы даже о «смягчении». Не знаю. Но в ответ было то же – недоумение. Даже негодование: как?! Кто это может о себе так сказать? А татары? А варяги? А турки? А угры? А балты? Да-а-а,

батенька… Славянин тоже нашелся.

Короче, чья-то общая кровь капала с клыков толерантных агнцев пера, политики и бизнеса, когда теория устойчивого развития насаждалась, как хрущевская кукуруза, повсеместно. Но родители мои и впрямь развивались, и развивались устойчиво.

О профессоре я уж не говорю. Книга за книгой… Сидит женщина дома, пишет. Ну, сходит иногда в библиотеку или лекции почитает – и назад, за стол. По пути – в магазин. Мы ведь с отцом приходим очень голодные. Я особенно.

Некоторое подозрение могла бы вызвать лишь страсть к уборке. Прямо мания какая-то. Но и в этом я нашел нечто полезное. Вещи не нужно было искать – всякий носок на своем месте.

И еще одно. Только одно. Очень редко, раз в год примерно, приходилось вызывать «скорую». Сердце. Мы старались ее не огорчать, но разве за такой уследишь! От каждого слова – в слезы. Но ведь успокаивалась она так быстро. И опять за стол. Или за уборку. Или на работу. Что может быть лучше, чтобы ритм, восстановленный никотинамидом, держался?

Да и сам профессор держался стойко. Диета, специальная гимнастика, жесткая дисциплина. Никаких лекарств, только трава. Обычный пустырник. Тот, что растет у дачных дорог на местах заброшенных свалок. Темные жесткие стебли, опушенные шершавыми волосками, пурпурные неброские кисти, будто припорошенные горем. Высокая трава, неприветливая. Некрасивая. Но приступы становились все реже, а ритм все устойчивее.

Даже отец шевелился, порою очень активно. Бродячие собаки в городе стали горячей темой. И денежной. Начались интервью и съемки. Журналисты наседали. «Мутанты завоевывают город. И плодятся…» Как вам такой заголовок? А под ним, на первой полосе «Комсомолки»: «По мнению ведущего сотрудника ИПЭЭ РАН Алексея Н. Черкасова, чем больше бродячих собак отлавливают, тем быстрее темпы их размножения». Все это, конечно, проплачено фирмами ловцов. В те годы за одну пойманную бродягу город платил сто баксов. А вот и иное: «Рыцари в собачьих шкурах». Подзаголовок: «Каждая убитая собака попадает в рай». Каково? Это «МК». Проплачено противниками ловцов – теми, кто хочет, чтобы город щедро отстегнул на приюты. И на стерилизацию.

И руки к отцу тянулись с обеих сторон: он ведь был единственный – дипломированный и остепененный, академический и авторитетно-научный… Денег он на этом сделать не мог, но настроение поднималось. А ведь это самое

главное, правда?

Вот он сидит за ноутбуком, такой весь по-школьному сосредоточенный, приблизив к экрану лицо – совершенно юное, даже мальчишеское, несмотря на пробившуюся седину и лысину, – и, набычив свою упрямую крутолобую голову шестиклассника, весело щурит свои рыже-серые сияющие глаза записного озорника и острослова: «Ну-ка, поди-ка, Николай, почитай, что за бред мне бибисишники прислали!»

Я, понятно, подхожу не торопясь, потягиваясь и прихлебывая черный чай из своей любимой оксфордской кружки. Да, неслабо. Реально вполне:

...

«Dear Mr Cherkasov, I am sorry for writing to you in bad Russian. Please read the document attached to this email and if possible call me at work.

I can speak a little Russian and I would really like to talk to you about your research.

Thank you and kind regards, Leucoj Tulip [29]

Дорогой г-н черкасов, Моим именем будет левкой тюльпан. и я свяжусь вы считать исследование, котор вы в настоящее время делаете в собак улицы.

Я работаю для вызванной компании телевидения средствами IWC и мы были бы очень заинтересованн в делать программу основанную на ваших исследовании и злоключениях. Мне дал ваше email профессором Bateson университета Oxford поговорило к директору моей компании для того чтобы сказать ему о вашем исследовании. Было бы хорошо знать больше о вашей работе, например, вы надеетесь доказать и достигнуть и почему вы думаете важно. Препятствуйте мне сказать вас о компании вообще.

Сформировано в мае 2004, Средства IWC выросли из 2 из производственное предприятие независимого телевидение Великобританий уважать: Идеально мир (основанный Murial Cep) и Wark Clements (основанное Kirsty Wark). IWC T будет компанией 2-центра основанной в лондоне и Шотландии. Оно имеет 3 главным образом фокуса genre: factual, драма и программы детей. Мы делаем программы на канал 4, BBC 1, 2, 3 и 4 и BBC Шотландия, ITV, Открытие, Небо и хозяин других цифровых каналов. Немного программ, котор мы делали недавно – Оригинал вселенного с профессором Стефан Hawkings (минуты C4 2x60), Корень зла с Ричард Dawkins (минутами C4 2x60) и втихомолку жизнью Manic упадочного отличая Стефан жарит, Ричард Dreyfus и Fisher Carrie (программы BBC2 2x 60 мельчайшие).

Я хотел был бы добавляю что я имею личный интерес в этом проекте и поэтому спрашивал быть одним для того чтобы коснуться с вами. Я жил в Moscow на 6 месяцев между 2005 и 2006 в которое время я свидетель трудные жизни

100.000 собак улицы (я находился там в зиме, по мере того как вы знаете, будет определенно трудно для их). Оно кажется как очень интересные и злободневные вопрос и одно люди должны быть более осведомленны. Окончательно, Я должен спросить если вы были причалены любыми другими компаниями телевидения от Британии и Америки и если так, то размер вашей запутанности с ими. Я реально хотел был бы разговаривать

более далее с вами о возможности создавать репортажное-документальн. Принимающ вас не поговорите английскую язык (мои извинения если вы делаете!), то мы все еще связывали над телефоном даже если мой поговоренный русский не гениен. В противном случае чувство свободно для посылки email.

Я смотрю вперед к слышать от вас.

Сердечные приветы, левкой тюльпан».

Ну, что тут скажешь? Разве это не устойчивое развитие? И разве устойчивое развитие – это что-то иное? Нет, нет и нет.

И я был спокоен и не вспоминал бы о банке.

Но вот оно: началось.

Вечером явился по телевизору Иисус Христос. Немолодой уже юноша. Его впалые виски и увядшие щеки были обрамлены поникшими волосами, на челюстях и подбородке пробивалась темная небритость, а голос звучал устало. Я зашел в кухню, откуда доносилась его речь, плоская и деревянная, как фанера, пролетающая над Парижем, и услышал: «Мне тридцать три года, и у меня есть справка о непорочном зачатии». На этом мессия замолк, и новостная программа была продолжена ведущей, оформленной в стиле кокаинового шика.

Я выключил телевизор и стал пить чай, глядя в окно, на реку. Над стальной водой, над серым гранитом набережной и асфальтом дорожных развязок неслись по лимонному небу пурпурные облака, как летающие кинжалы в моем любимом китайском фильме. Закат обещал ветреный день. То, что некогда было солнцем, угасало где-то далеко, позади башен – небоскребов, выстроенных еще при Лужкове в московском Сити. Теперь тусклое кровавое пятно вечернего света опускалось за лесом этих серых бетонных столбов. Хотя сначала башен было две – может, в память об 11 сентября 2001 года, а может, московский градостроитель посмотрел фильм – мелькнувший на мгновение и тут же забытый блокбастер по давно забытому роману Толкиена.

Два небоскреба высились на холме за рекой. Там когда-то стоял один император – он не знал моего народа и ждал ключей от Москвы. Я-то думаю, что башни поэтому и возникли именно на этом месте. Но всем остальным ясно, что на самом деле башни порождены были самим текстом оксфордского профессора.

Порождающая сила текстов – предмет особого интереса другого профессора – моего. Это и есть современная риторика, во всяком случае, так он полагает.

Стемнело, и с вершины одной из башен поднялись и разошлись по черному уже небу два синих луча. Они были как чувствительные усы слепого, но хищного насекомого. Усы непрерывно ощупывали небосвод. Это привычное зрелище показалось мне почему-то настолько ужасным, что я отвернулся от окна и, не допив чай, забился на свои нары – купленную лет пять назад железную кровать, под которой, как бы в норе, располагался такой же серый стол.

Дача, моя родина, первое жилье, сохраненное моей младенческой памятью, по сути и была – нора. Это было ее «присущее», а не «привходящее», как сказал бы вслед за Аристотелем мой профессор. Норная структура родного дома оказалась порождающей моделью того угла моего сознания, который отвечает за ощущение уюта, так что всю жизнь я чувствую себя в безопасности только в углу. В норе.

Подходящая штука, то есть структура, продавалась лет десять назад в «Икее» – плоские грибы «Икей» и «Ашанов» выросли тогда вкруг московских окраин, ведьминым кругом очертив расползшиеся вплоть до Кольцевой новостройки. Бесконечно однообразные многоэтажки требовали мебели и утвари, и хозяева бесчисленных бетонных сот наполняли их, неустанно снуя в «Икеи». Для наполнения желудков людей и, соответственно, поддержания жизнедеятельности служили «Ашаны».

Все стало так просто. Машина – бензоколонка – «Ашан» – «Икея» – сота. Как в сотовом телефоне, так в сотнях и сотнях сот. Так просто, как в сотовом сознании обитателей.

Сотовые мысли стали путаться, и я задремал, закутавшись в икейный пледик – мой любимый пледик из какой-то синтетической дряни, зато с несколькими изображениями белых кошек, – да и не плед вовсе, а только функция пледа, имя пледа – так все вещи в «Икее» суть только имя и функция. Разве можно найти хоть какое-то сходство между моим клочком серой псевдофланельки с белыми кошками по краям и исходным предметом, названным этим словом – например, пледом Шерлока Холмса – добротным до степени вечности переплетением нитей, по-настоящему спряденных из подлинной шерсти живых овец, взаправду жевавших и глотавших свежую траву на холмах реальной Шотландии? Риторический вопрос, не правда ли? О реальности Холмса и говорить нечего. Если сравнить Шерлока с виртуальным икейным пледом…

Но я отвлекся, а ведь тут-то как раз и началось.

Во сне было темно. Меня – а я был всего лишь яркой золотой искрой – носило вверх и вниз над черными волнами мрака. И вдруг я услышал голос. Обычный голос, только всеобъемлюще звучный, голос без источника, голос без уст. Спокойный, но внушительный, словно бы побуждающий к действию:

– Завещание. Завещание. Завещание.

Так он сказал и умолк. Тьма, лишенная звука, будто еще сгустилась. И вновь тот же голос произнес – прямо рядом со мной, неожиданно приблизившись, обретя место во мраке:

– Завет. И в ухо мне прошептал: «Завет». И в третий раз – то же, уже издалека, удаляясь: «Завет!» Все снова смолкло, и мне показалось, что я проснулся. Наяву было так же темно, как во сне. Лежа на спине, я открывал глаза, закрывал их – было то же. Но голос вернулся.

– Наследство, – неторопливо и внятно прозвучало отовсюду сразу. – Наследство. Наследство. Я не мог шевельнуться и, широко открыв глаза, неподвижно смотрел вверх.

Тьма молчала. Не было слышно ни шума ночного города, ни редкого стука капель из кухонного крана, ни журчанья холодильника.

Вместо этого в слепом мраке пронеслось какое-то тихое дуновенье, словно мягкое крыло большой птицы чуть не коснулось щеки.

– Наследие, – властно проговорил голос совсем близко. – Наследие, – шепнул, будто напоминая. И далеко-далеко, исчезая, крикнул: «Наследие!» Все равно что «Прощай!».

Наверное, я потерял сознание. А может, мне все это снилось, с начала до конца снилось, потому что в сером свете июльского рассвета, в чириканье и возне воробьев на жестяном карнизе нашего старого кирпичного дома, я нашел себя таким же, как воробьи, бодрым. Я был полон желания спуститься вниз и позавтракать, а главное – полон любопытства. Энергичного любопытства, а не какого-нибудь вялого недоумения – эдакого безразличного, дряблого и слабого, как непроснувшееся тело. Я хотел узнать, что все это было и что значит. В моем любопытстве была надежда, а не безнадежность. В моей силе – уверенность, что узнаю. Узнаю наверняка. Узнаю вполне. Откуда бы? То есть откуда уверенность? И – откуда узнаю? Может быть, голос напоминал о банке? Нет. Никакое она не наследство. Тем более – не наследие. И никто не завещал мне ее. Спер я ее, эту банку. Просто спер. Нарушил завет, а не исполнил. А сама банка… Разве это завет? Наследство, наследие, завещание, завет… Есть в этом ряду слов какая-то загадка, закономерность какая-то, но банка тут ни при чем.

Профессор уже ушел в институт: накал приемных экзаменов бывает в разгаре лета. Первый день августа. Еще один день жары. Стоило мне приоткрыть раму стеклопакета, как потянуло гарью – торфа в подмосковных недрах хватит до конца нашей эры. Где-то в дымке скрывалось то, что некогда звали солнцем. Опаловое свечение было разлито в сером тумане. Везет отцу: сидит себе с волчатами в тверской глуши, дышит воздухом, прозрачным, как глаза его аспирантки, наставляет студентов – Хай Чжэна и нескольких полоумных девиц. Этакий гуру новой теории поведения.

Нет, есть все-таки в моем профессоре что-то профетическое – пророческое, даже ведьминское. Помню обрывок начатого ею текста – я его тоже отправил в пианино, чтобы не затерялся. Там было сказано, кажется, так:

«Под тучами черно-златыми, полями асфальта пустыми, голодною серою тенью, в жестоком и легком движенье преследует нас этот город, детей позабывший так скоро, как будто бы мы позабыли тот город, в котором любили, тот город, в котором дружили… В котором не прятались – жили…» – видите, город-волк. Волчья ферма…

Я с тоской вспомнил о недавнем путешествии с арбузом. Содрогнулся. Какой порыв… Сколько страданий… Какая, в сущности, нелепость… Был бы я умнее – просидел бы все это время в бархатном пыльном нутре кареты, как сделал это в осьмнадцатом, любимом мною, столетии иронический англичанин Лоренс Стерн. У него-то хватило житейской мудрости понять, что подлинное сентиментальное путешествие не может быть реальным. Посидел в карете, виртуально пропутешествовал, да еще и роман написал об этом. Вот и мне бы – в нутро, в нору. Умереть, уснуть… И видеть сны, быть может… Куда как достойней, чем метаться по ухабистым и скользким дорогам Тверской губернии, словно угорелый заяц: весь – напряжение, безнадежность, боль… Не иронический я какой-то.

Кофе пить не пришлось – опаздывал на встречу с Вэй Юнем. На Пушку, в «Макдональдс». Там и выпью. Все равно мой маленький друг будет долго и со вкусом завтракать: грех не набраться сил перед магазинами. Предстояла закупка экспедиционных вещей, а это надолго.

«Макдональдс» шипел кофейными автоматами и шумел разноцветной толпой в самом устье Большой Бронной, там, где она вливается в Тверскую под печальным взглядом поэта, черного от скорби и дыма, будто после аутодафе, полыхнувшего до небес и оставившего его невредимым, но навек неподвижным.

Вэй Юнь ждал меня на террасе, окруженной широким поясом

желтых цветов, за плотной стеной их беспомощно-терпкого, какого-то обмирающего запаха. Это были на редкость крупные виолы – плоские нежные венчики цвета темного золота, нагретые в туманном воздухе, словно в парной, они, казалось, сами источали жару. Их только что обдали утренним душем из шланга, и на золотых монетах лепестков еще искрились прозрачные капли.

Вэй Юнь что-то чирикал, как маленькая квакша, птичка или цикада, а я потягивал кофе и смотрел на бульвар. Там, прямо напротив, бил фонтан, струи шумели и пенились, а на каменном ободе сидели абитуриенты Литинститута, листая книжки и смеясь. Они курили и флиртовали. На страницы учебников падали мелкие брызги.

За белым столиком чуть сбоку от нас сидели двое – цветущая молодая женщина, почти раздетая, с прямой чуть жирноватой спиной, и мальчишка лет десяти, с ее лицом, только мягким и еще не злым. Она оживленно говорила, жестикулируя и откидывая назад волосы. Блестело золото на полных белых пальцах, просверкивали тонкие разноцветные лучи алмазов в ушах.

Говоря, она не отрываясь смотрела сыну в глаза, будто внушала что-то, колдовала, завораживала. Я прислушался.

– А если я не буду так дышать? Так, как ты объясняла. Мы тренировались, но у меня не очень получается, – сказал мальчик.

– Ну, тогда врач не обнаружит у тебя тех симптомов, которые нужны для нашего диагноза. Ты ведь понимаешь, как это важно. Это определит всю твою дальнейшую судьбу. Бронхиальная астма – это белый билет. А белый билет – это свобода.

«Да, – подумал я. – Все то же. А ведь сколько лет назад я рассказывал садисту-психиатру в диспансере о привидении кота! Тогда мне было шестнадцать. Через год с небольшим – тридцать. Дюжина, почти чертова. Но – все то же. Служат теперь всего год, но что это за срок! Год – главный цикл человеческой жизни, главная ее единица. И год сегодня – никак не меньше двадцати лет рекрутства в девятнадцатом веке. Все происходит так быстро. Знания, техника, деньги… Деньги и власть, что текут и распределяются по миру потоками, словно электричество по высоковольтным линиям… Но эта вечная для нас угроза вылететь из жизни, чтобы больше туда не вернуться! Потерять единственно нужное время… Все у нас чужое, друг мой Луцилий, одно только время наше. Многие видят смерть впереди, а ведь большая часть ее у нас за плечами, – так, или примерно так, скорбно и веско, говорил юношам Рима Сенека. И Аристотель: погубить юношество на войне – все равно что из года уничтожить весну.

Но сегодня, сейчас, в нашем мире не то ли – уничтожить возможности? Отнять насильно время? Никакой контрактной армии так и нет. Одни обещания. Да и кто на земле нашей многострадальной позаботится о людях ее? О семьях? О сыновьях? Нет, как повелось исстари, издревле, так и осталось. Молох – и дорожная пыль».

Думал я так и слушал – с сочувствием. Не то чтобы с сочувствием – с пониманием. Но вдруг, неожиданно для себя, отставил стакан с кофе, и спина моя сама выпрямилась, как у этой женщины. Она все говорила, говорила не умолкая, говорила со своим сыном, как со взрослым мужчиной, как с равным, и пристально смотрела ему в глаза своими блестящими черными глазами, ни на миг не отрывая взора. Я сделал Вэй Юню знак, и он послушно замолк. Слышен был только шум фонтана, шаги множества ног по мягкому от жары асфальту. И ее слова. Ее речь, что становилась все резче, все громче. Стало душно. Очень душно.

– А патриотизм? – спрашивал мальчик. – Патриотизм? Родина? Кто будет ее защищать? Так другие говорят, не я, ты не думай. Но все-таки?

– А ты вспомни, что сказал Булат Шалвович Окуджава! Во время так называемой «перестройки» он сказал: «Патриотизм – это чувство, доступное даже кошке»! И ему поставили памятник. Ты возразишь: а какие у него песни военные! Замечательные! Да, конечно. Прекрасные песни.

– А как же тот героизм? Солдаты шли на смерть. И была победа. «Одна на всех, мы за ценой не постоим»?

– Ну, милый, мы ведь теперь знаем, как это было на самом деле. Раньше нас было легко обмануть, а сейчас мы знаем слишком многое, чтобы в это поверить. Ты слышал о заградотрядах? Тех солдат, кто не шел вперед, а тем более пытался бежать, просто расстреливали специальные отряды, пущенные сзади. Своих же расстреливали. Дадут стакан спирта, вот человек и идет. Бежит даже. И кричит что-то, а что, и сам не понимает. «За родину, за Сталина!» Ужас. Обман сплошной. А за спиной заградотряды. Вот так.

– Нет, ну все-таки…

– Пойми, ведь это был все-таки другой мир, другой. Все были обмануты и запуганы. А сейчас мы свободны.

– А нас в школе учили, что Кеннеди сказал: «Don’t ask your country, what your country can do for you! Askyourself, what can you do for your country!» [30] Речь называется «Патриотизм»…

– Ну и правильно вас учили. Кеннеди – это Кеннеди, а США – великая страна с великим народом. Была, есть и будет. Только мы

с тобой живем здесь. Здесь и сейчас. В этой стране. Нужно же понимать, что эта страна представляет собой сейчас! Да ее, если разобраться, и нет на самом деле. О чем ты? Защищать границы какой-то несуществующей страны! С несуществующим народом! Нечего тут защищать. Не-че-го. Пойми это и веди себя достойно. И дыши как следует. Дыши, как я учила. И ничего не бойся. Не беспокойся ни о чем. Ты свободный человек. Даже здесь. Особенно здесь. Через некоторое время будешь жить, где захочешь. А пока пойдем к врачу. Пора. Только дыши, дыши правильно.

Они встали из-за белого столика, и отодвинутые стулья в духоте резко визгнули пластмассовыми ножками по блестящему кафелю. Я молча смотрел им вслед.

Вечером, после беготни по спортивным магазинам – в жарком дыму Вэй Юнь, да и я тоже, скорее не бегали, даже идти быстро не могли, а так – переползали, присаживаясь везде, где можно было выпить кофе, а колу мы пили по дороге, прямо из бутылок, не переставая, – я вошел наконец в свой дом, бросил в коридоре рюкзак и пакеты с покупками и подошел, как всегда, к окну.

Закат был точь-в-точь как вчерашний. Расплавленный диск в сером тумане… И я вспомнил ту песню – цыганскую песню, что свела с ума Федю Протасова в «Живом трупе», – ту, что так часто пел под гитару мой дед, отец профессора. Называлась она странно – «Невечерняя». И слова там были странные – про туман на поле, туман серо-пегий… Я плохо помню деда, совсем почти не помню, но эта любимая песня матери – звучит, и стонет, и стелется поверх росистой травы на лугу у Истры, под густыми пеленами ночного тумана, тумана невечернего… «Невечерняя заря занималася…» Больше ничего, ничего не помню… Только переборы гитары, то звучные, как далекий гром за рекой, то тихие, близкие, звенящие, словно тонкие браслеты на тонкой руке…

Дед мой прошел всю войну с гитарой. Пел там. На войне – пел. Невозможно это понять, невозможно. Думать об этом трудно. Нельзя, наверное. Почему он выжил? Что за судьба – выжить, от подмосковных стылых высот, мерзлых окопов, и до рейхстага – выжить. А потом – жить… И я вспомнил строчку из песни другой эпохи, недавней вроде бы, но такой уже неразличимо далекой: «А в мире есть закон, и он гласит: кто любит, тот и должен быть убит». Высоцкий, кажется. А потом: «Кто любит, тот не должен быть убит».

Мой дед выжил. Что это значит? Что справедливо и то и другое. Нельзя было не умереть. И он умер. И остался в живых. Он был убит – и выжил. И жил. А любил – всегда. И его любили. И

мать мою назвали его именем – Сашенькой. Бабушка говорила, что другие имена для нее просто не существуют.

Я подошел к старому шкафу и с трудом выдвинул нижний ящик. Дерево лишь слегка повело от времени, шкаф был надежный, дубовый, но ящики слушались не сразу. Не «Икея» все-таки. И вынул папку, пожелтевшую послевоенную картонную папку с завязками, и сел за стол, и положил перед собой плотные сероватые листы. И маленькую книжечку со звездой на темно-красной, почти черной коленкоровой обложке.

«Красноармейская книжка. Яворский Александр Александрович. Старший сержант. Старший орудийный мастер. Год призыва – 8 августа 1940. Наименование части: 313 Зенитно-Артиллерийская Варшавская Краснознаменная орд. Б. Хмельницкого дивизия.

Прохождение службы: Московский фронт – 21.6.41–18.5.43. Брянский фронт – 6.6.43–9.5.45. I Белорусский фронт.

Правительственные награды. Медаль «За боевые заслуги» – 17.2.44. Орден «Красная Звезда» – 31.8.44. Медали «За оборону Москвы» – 1.5.44. «За взятие Берлина» – 5.45. «За освобождение Варшавы». «За победу над Германией» – 9.5.45.

Ранения и контузии в период Великой Отечественной войны. Легко ранен в грудь в октябре 1943 г.».

Вот и все. Все! Легко ранен в грудь.

Сверху на каждом листке книжки написано: «Красноармейскую книжку иметь всегда при себе. Не имеющих книжек задерживать».

Наградные листы я разложил в хронологическом порядке и стал читать – внимательно. Не торопясь. Читал их в первый раз в жизни. И не торопился, кажется, тоже

– впервые.

Январь сорок пятого. Вверху на листе– портрет Сталина, по сторонам знамена, в дубовые ветви вплетены орденские ленты. Внизу, под текстом благодарности, – солдат держит древко знамени, оно реет на ветру, на пилотке звезда, рука указывает вперед, за спиной развевается плащ Георгия Победоносца, за солдатом дым пожарищ, наступают наши танки, следом бегут другие солдаты, а некоторые лежат. Лежат неподвижно на поле боя. Но это, видно, враги.

«Тов. старший сержант Яворский Александр Александрович. Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина от 17 января 1945 года Вам объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ за отличные боевые действия при овладении столицей союзной нам Польши городом Варшава – важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на реке ВИСЛА. Командир

части № 31436 подполковник Ухальцов». Подпись, широко размашистая, вверх устремленная. Полевая печать войсковой части.

Второй лист. Сверху рисунок тот же – Сталин в знаменах, лентах и дубовых листьях, – а под текстом – три острые иглы кирх, руина стены с вывеской «Otto Wirhenih» (написано готическим шрифтом), обломкизданий, падающие столбы линий электропередач, поверженные немцы, над ними – наши солдаты с винтовками наперевес, впереди мчится танк – экипаж у башни, винтовки изготовлены к бою.

«Тов. старший сержант Яворский Александр Александрович. Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина от 11 февраля 1945 г. № 274 за овладение городами ДОЙЧКРОНЕ и МЕРКИШ-ФРИДЛАНД – важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в Померании всему личному составу нашего соединения, в том числе и Вам, принимавшему участие в боях, ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ». Печать и подпись те же.

Третья благодарность – на таком же листе, как первый. Точь-в-точь.

«Товарищ ст. серж. Яворский Александр. Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза товарищ Сталин приказом от 14 февраля 1945 года объявил Вам благодарность за отличные боевые действия в боях за овладение городом ШНАЙДЕМЮЛЬ».

И этот краткий текст подписал своей размашистой рукой подполковник Ухальцов. Довелось ему сделать это еще только однажды: 7 марта его подпись взлетает вверх на листе с благодарностью «за овладение городами Голлнов, Штепенитц и Массов – важными опорными пунктами обороны немцев на подступах к Штеттину». На других листах подписи Ухальцова нет. Убит? Ранен? Контужен?

Последний наградной лист, самый главный и самый краткий, – «за взятие г. Берлина» – подписан так же крупно и весело, как делал это подполковник Ухальцов, но уже другим командиром части – инженер-полковником Филипповым. Не привелось, видно, Ухальцову войти в Берлин. А может, и дойти не привелось до него.

На этом листе внизу рисунок такой: на переднем плане трое красноармейцев в касках, наставив вперед винтовки с примкнутыми штыками, чуть заметно улыбаются. Рядом – моряк, вьются на ветру ленты его бескозырки. В небе наши самолеты, за воинами наши танки. А под ногами у солдат – развернутые знамена, и на первом полотнище надпись:

«Мы в битвах решали судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну свою поведем!

Видно, не все наградные сохранились, потому что в книжку вписаны еще благодарности. За участие в страшной Орловской битве. Эта запись видна четко, прочие не разобрать.

Боже мой! Легко ранен в грудь. В сорок третьем. Вот и все.

А я на лугу возле Истры. Ночь, и над черной блестящей водой тоскливо кричит серая цапля. Вот опять ее пронзительный голос катится над рекой, даже во тьме быстрой. Истра. Стремнина. Стремление. Страсть. Стрела. Истрос – Ιστρος, свежий, быстрый. Эллинское имя великой славянской реки. Истр – Дунай. Дунай, при переправе через который выжил дед, и друг его Колька получил Героя. Вот и я у реки родной, у черной реки времени, у реки быстрой. Мокрая трава по колено, белая дорога впереди, и тонкие пелены тумана, словно бесконечные марлевые бинты, тянутся лентами… Рвутся клочьями… И вот уж невечерняя заря занимается… И туман плывет, плывет туман серо-пегий…

Видно, я задремал, уронив на стол голову. Очнулся: ключ поворачивался в двери. Она открылась. И снова почему-то стало тихо. Я поднялся и вышел в коридор.

Мать стояла у самой двери, прислонившись к притолоке. Голова ее была опущена, так что волосы почти закрывали лицо. Она не двигалась.

Я взял из ее рук сумку, повесил на вешалку. Мать не шелохнулась. Я обнял ее за плечи – точно так, как всегда делаю, когда она плачет, – и повел в комнату, к дивану. Но она не плакала. Просто молчала и старалась на меня не смотреть. Она вообще никуда не смотрела. Я посадил ее на диван, она отвернулась и легла ничком, мимо подушек, лицом в ковер.

Я сидел рядом и медленно гладил ее по спине. В комнате стало уже темно. Наконец острые лопатки судорожно дрогнули, и она зарыдала. Это был не обычный плач. Она вся превратилась в рыдание. Я взял ее запястье. Пульс неровный. Ритм не просто сбит – сплошной хаос.

Через час под окном я увидел желтую машину реанимации. Все это время, держа мать за руку, я слушал, как на мосту, в пробке, сквозь серый дымный туман воет сирена. Но пробиться к нам все не удавалось.

Когда вошли врачи, она сама перевернулась на спину, привычные руки облепили ее датчиками, и никотинамид потек в вену по каплям медленно-медленно. Жизнь уходит гораздо

быстрее. Врач, мрачный, как ворон, сидел насупившись, вводил лекарство и расспрашивал. Постепенно лицо его светлело, и вот он вздохнул с облегчением:

– Ну, на этот раз пронесло. Налаживается. На кардиограмме инфаркта нет, обыкновенный пароксизм мерцательной аритмии. Как сейчас? Сердце чувствуете?

– Как это?

– Ну, вы чувствуете, что у вас есть сердце?

– Конечно, – ответила она.

– Вы меня не понимаете. Здоровые люди не чувствуют. Будто его и нет вовсе. Чувствуете, что оно бьется?

– Нет.

– Ну, значит, все. Обошлось. Давление в норме, два часа не вставать. А то в обморок упадете. Понимаете, кровь вся к ногам – и вот. Нервничать вам нельзя. Феназепам – и спать до утра. Все.

Провожая их к двери, подтаскивая тяжелый ящик кардиографа, я спросил:

– И все-таки, доктор, отчего это?

– Ну, судя по тому, как давно был последний пароксизм, а также по тому, что написано у нее в выписке из клиники, что вы мне показали, у нее – конкретно у нее, заметьте, – это от нервов. Исключительно. Она ведь не пьет, не курит, в отличной форме, красивая женщина – поискать, в ее возрасте практически не встретишь: вес на целый пуд меньше роста, мышцы тренированные, живот плоский – да таких не бывает просто… Разве среди шоу-публики или спортсменок там…

Поняв, что несколько увлекся, врач резко закончил уже за дверью:

– Но что вы хотите? Дисфункция водителя ритма. Это серьезно. Беречь, беречь и беречь. Немедленно успокоить – я уж не знаю, что у вас там, – и пока острый период эмоциональных переживаний не пройдет, держать на феназепаме. Пустырник пусть пьет. А, пьет? Ну, следите, чтоб регулярно. Чуть что – немедленно вызывайте. Тут стесняться нечего. И дожидаться тоже. Опасно.

Когда я вернулся к ней, она лежала так же, на спине, и ее слишком светлые, спокойные и пустые глаза смотрели мимо.

Я сел на край дивана:

– Что ты, мамочка, милая, что случилось?

Она наконец посмотрела на меня. Глаза стали еще больше, лицо еще белее.

– Я должна тебе рассказать… Только боюсь, что опять заплачу. Не сдержусь и заплачу. Понимаешь, откуда-то поднимается такое горе, такое страдание – подкатывается прямо

к горлу, волной. Захлебываешься, как будто тонешь. Боюсь, что, если опять так заплачу, умру. Вообще я не против. Умереть. Мне не страшно. Но только не от этого. Я не хочу умирать от этого.

Я гладил ее по волосам.

– Ну и не надо. Выспишься, утром расскажешь. Утром всегда все другое.

– Нет, сейчас. Завтра уже нужно будет что-то делать. Что-то решать. И потом, я уснуть не смогу с этим на душе. И проснуться не смогу тоже.

– Ну, давай сейчас. Только не бойся. Ничего не случится. Я с тобой. Лекарства все еще действуют. Ты смотри на все будто со стороны и рассказывай. Как про чужое.

– Я ездила на… на дачу… – Она остановилась. Отвела взгляд. И продолжала, глядя в пространство: – Ты там с начала лета не был. Или это был конец мая? Помнишь, мы сидели на лавочке, ждали поезда. И встретили там эту девушку. С такими пристальными глазами. Она на меня так смотрела… Как-то очень правильно. Да, слишком правильно. Ну, ты не понимаешь, и не надо.

Пока ты был в экспедициях, прошел июнь. Я была в Москве: кончался семестр. Отец жил на базе в Бубенцах. Потом у меня оказалось недели три свободных, и я провела их на даче. Одна. Ну, ты с друзьями несколько раз приехал, а так – одна. В Троицком была только Виталина, мы с ней по вечерам пили чай, я купалась, ездила на велосипеде. К твоему возвращению из Антиохии, как ты, может быть, заметил, – тут мать грустно усмехнулась, – я была уже в Москве. Начались приемные экзамены, я в комиссии. А сегодня днем решила съездить на дачу – только взять кое-какие записи. И несколько книжек. Вот и съездила.

– Ну? Что?

– А то, что твой отец там. А вовсе уже не в Бубенцах. И не один.

– То есть? Студентов, что ли, опять назвал? Но ведь они в Тверской, с волчатами. У них наблюдения непрерывные. Суточные.

– Вот и я так думала. Что, где студенты, там и он. Да он мне вчера еще звонил по мобильнику, как бы из Бубенцов, узнавал, как мы живем. И какие у меня планы. Я сказала, что начались экзамены и что в ближайшие дни я в Москве. До конца недели. Я и сама не думала, что поеду. Это все вдруг. Книжки понадобились.

– Так с кем он там? Не один? Как это?

– Вдвоем, милый. Вдвоем с аспиранткой. А зовут ее моим

именем. Сашенька.

– Ты что, с ними разговаривала?!

Она снова взглянула на меня. В душной темноте комнаты глаза ее почти светились, белели щеки, а на них блестели две тонкие полоски. Я открыл второе окно. Гарью запахло еще сильнее. Гарью – и еще чем-то кисловатым. Неужто серой?

– Нет. Нет, конечно. Я просто посмотрела на них, прошла мимо, поднялась наверх, где я пишу, и взяла свои записки. Да, ты знаешь, что странно? Тогда я этого не заметила, а теперь вспоминаю… вижу. Ясно вижу. Помнишь, когда вы с друзьями заезжали в июле, ночью в окна залетали шершни? Приходилось закрывать, в такую жару! Бились в стекла… Из гнезда под крышей пролезали через щели в вагонке в мой кабинетик, жужжали, целое нашествие. Жили всегда на даче, сколько я помню, но никогда не докучали, как в это лето. И вот я вхожу по лестнице в кабинетик, а там… весь пол устлан дохлыми шершнями – большинство уже сухие, потемнели, некоторые мягкие, ярко-полосатые, чуть пошевеливаются, а по стеклам ползают – не счесть, все вялые, отрываются один за другим и падают вниз, на пол. И там замирают. Нет, представляешь? Весь пол, все окна… Чтобы взять со стола записки, пришлось пройти по шершням. Ты знаешь, сколько их там было? Сотни! Под ногами хрустели… Это, наверное, какой-то мор. Вирус. А запах там был – не представляешь! Сверху, из-под вагонки на потолке, из гнезда, наверное, капала какая-то темно-коричневая жидкость, растекалась по полу – густая, вязкая, и – страшная вонь: воск и тухлое что-то, гнилое…

Я пробралась к столу, записки схватила, а книжки забыла. Когда спустилась, там, под желтым абажуром, в этой норе, где все всегда сидят, этих двоих уже не было. И я пошла вниз, к калитке, не оглядываясь. И потом мимо церкви. Знаешь, милый, я все эти три недели в июле ходила в храм. Меня Виталина отвела к батюшке. Я, что называется, воцерковилась. Вот.

– Ты??

– Ну, потом объясню. В общем, вот так. И сразу пришел поезд, и я уехала. И вот дошла до дома. Господи, как я счастлива, что ты тут. – И она опять заплакала, только тихо. И, не двигаясь, все так же лежа в подушках, медленно вытирала слезы. Белые кисти крупных прекрасных рук, белые щеки… Словно белые голуби в ночной голубятне.

– Я ее убью. – Я не узнал своего голоса. – Убью. Мне не жалко. Я ненавижу людей. Не-на-ви-жу. Я ее просто сброшу с лестницы, в проем. С пятого этажа. Когда она следующий раз придет на факультет. Когда поднимется на кафедру. Сброшу в

проем, и все.

– Господи, Ники, что ты, – прошептала мать. – Избави Бог.

– На даче! Но это же наш дом. Мой родной дом! Был! Ведь теперь она там живет! Что ж, может, и всегда будет жить? Нет, слушай, давай уедем. Бросим все и уедем. В Голландию, к Тиму и Улен. Тим нас пока поселит, а там посмотрим. А, знаю. Сначала ты поедешь отдохнуть, то есть просто чтобы тебя завтра уже отсюда отправить, ну, в крайнем случае, послезавтра. Недели на две. Это я смогу. Давай. А пока я все подготовлю. Мы ведь с тобой вдвоем. Это и есть наша семья теперь.

– Давай, Ники, милый. Мне тут совсем плохо… И туда я никогда не вернусь… – И она снова заплакала, совсем, совсем тихо, уже засыпая.

На следующее утро слез не было. Феназепам и пустырник позволили мне отпустить мать на работу. Я договорился встретить ее рядом, на Бронной, на террасе «Макдональдса», после экзамена. С десяти до двух сам экзамен, потом проверка письменных ответов – все это должно было занять профессора часов до шести. За это время я рассчитывал вырыть банку и купить горящую путевку. Куда – не важно, главное, чтобы впечатлений было побольше. Что-нибудь экзотическое. Отцу ни я, ни тем более она не звонили. Он тоже молчал.

И вот я на перроне – тихом, жарком. Вот миновал Троицкую церковь. Остановился, глядя прямо в лицо ангелам. Но глаза их, длинные византийские очи, были опущены долу, к пустой таинственной чаше.

Трижды я поклонился, крестясь. И пошел по песчаной дороге мимо, мимо. Мимо высокого деревянного креста у святого источника, где поворот к дому, который теперь останется для меня родным только в памяти.

Дорога повела меня через насыпь над оврагом – тем самым глухим оврагом, где в зарослях черемухи и бересклета мелькнул когда-то черный хорек – молния моего детства. Теперь там, внизу, шумели фейерверками брызг крутящиеся поливалки, а по ровной скатерти газона безмолвно лежал в искусственных берегах из крупных красноватых булыжников мой заветный ручеек. Тек к Истре степенно. Не торопясь. Торопиться ему было как будто некуда.

После насыпи я свернул налево и, стараясь не смотреть через овраг, в сторону дома, пошел вдоль невысокой кирпичной стены, выщербленной непогодой. Из-под черепичных крыш, словно исподлобья, смотрели на меня пустые окна заброшенных коттеджей. Створка кованых ворот висела на одной проржавевшей петле. С бывшего газона розовые стволы диких

молодых сосен протягивали к небу свои распростертые сизые мутовки.

Ступени густо поросли голубым пыреем. Я опустился на нижнюю. Достал из рюкзачка блестящую шпагу шампура и ткнул между куртинами овсяницы, в то самое место, которое проверял всего два месяца назад. Да. На месте.

Прошло почти восемнадцать лет. Сейчас начался август. Тогда кончался октябрь. Вся моя сознательная жизнь будто пролежала тут, под покровом толстого дерна, будто протекла в Истру с прозрачными струями ручейка.

Я вспомнил мать. Как она плакала, уткнувшись в жесткий и пыльный ковер дивана, еще до «скорой». Как судорожно поднимались и опускались ее лопатки. Об отце. О доме. Глаза обожгло, горло сдавило спазмом, и сквозь зыбкую пелену я увидел блестящее стекло моей банки. Вот она. Впервые снова увидела свет.

Смахнув слезы, я ударил ее о край ступеньки, там, где сквозь траву и бархат мха проступал желтоватый мрамор, весь в кружевных пятнах лишайника.

Зеленые деньги ничуть не изменились. Но не рассыпались, а так и лежали, сохраняя форму уже не существующей банки, плотно прижавшись друг к другу, словно не хотели расставаться. Разбитое стекло шелухой опало на мох. Я сгреб в рюкзак упругое тело денег и, не оглядываясь, пошел прочь. Быстрее. Еще быстрее. Мимо ангелов уже бежал и вскочил в электричку, когда двери почти захлопнулись. Успел.

А с путевкой было сложно. Даже почти безнадежно. Я обегал все турбюро вокруг Пушки, миллион агентств на Тверской и в переулках – ничего подходящего. Но случилось чудо. Так всегда с профессором. Странная у него жизнь. Или это судьба? Что-то всегда случается. И все – не случайно. Не случайно случается. Так и тут.

Когда, обливаясь потом, я мчался к очередному офису в Дегтярном переулке, зазвонил мобильник. Как ни странно, я услышал вовсе не чирикающий голосок Вэй Юня. Звучала воистину речь не мальчика, но мужа – толстый и упрямый голос покорителя Арктики. Защитника и знатока белых медведей, отчаянно цепляющихся за края последних льдин. Рыжебородого викинга, того, кому мы сложили в Бубенцах целую поленницу дров. Того, кто не повез нас с арбузом в Фуфлово, к Хай Чжэну. А ведь обещал! Того, у которого такая борода, какая, как сказал о Марксе Герберт Уэллс, «не вырастает сама собой. Ее холят, лелеют и патриархально возносят над миром». Вот он и вознес ее над миром, свою рыжую бороду, и рявкнул в трубку:

– Николай! – От низких волн густого голоса тонкий серебристый лепесток моего мобильника сотрясался крупной дрожью. – Николай! Ты? Слышь, нет у тебя никого на полюс прокатиться? Я сам с лекциями еду для туриков, а тут на ледоколе еще места остались. Выходим послезавтра, завтра поезд в Мурманск. Оформление сегодня. А? Обычная каюта всего-то двадцать три тысячи. Баксов, конечно. Люкс – чуть поболе тридцати. Ерунда – не деньги. Зато впечатлений – море. Буквально. Океан. И всего две недели. Неделя туда, неделя обратно. А?

– Да! – вскрикнул я, и даже оживленная Тверская, разве только слегка приморенная жаркой дымкой, застыла в изумлении. – Да-а-а!!! Покупаю! Люкс! Бегу оформлять. Лечу! Говорите, куда!

В тельце мобильника, напоминающего панцирь мелкого трилобита – ископаемого девонского, а то и кембрийского периода, – бодрый рокот сменился удивленным молчанием.

– А для кого это ты? Кто поедет? – Голос обрусевшего за дюжину веков норманна звучал недоверчиво. – У тебя что, деньги с собой? Не меньше тридцатки?

Поедет мать. А деньги – да, с собой. Ну, я поскакал. Куда?

Дорогой я ликовал. Всего какая-то тридцатка с лишним. На экспедицию в Казахстан нужно вшестеро меньше. Пяти тысяч хватит на всех – Вэй Юня и Маргариту Буш, Лику и меня. Выедем немедленно, как только отчалит мать, и на тот же срок.

На борту за ней приглядит викинг – он ей, кажется, давно симпатизирует. И даже, я бы сказал, более того. Конечно, она профессор, я понимаю, но только слепая женщина этого не заметит. Сле-па-я. И после полюса отвезу ее сразу же в Амстердам, к этой ведьме Улен. Пусть поколдуют вместе. Ложечек под лестницей целый ящик. Может, и наколдуют что.

А сколько останется на лабораторию! Оборудование, реактивы… Какая красота! – И я с нежностью вспомнил прохладный даже в жару узкий двор между серыми лапами гранитного сфинкса, темноту коридоров, особый запах старых дубовых панелей, свою чудесную келью с холодными каменными подоконниками… Когда мы вернемся и я снова войду в этот двор, стрижи уже улетят. Зато в ботаническом саду напротив моего окна созреют яблоки – и в тихих сумерках я увижу стремительный полет большого ястреба над голубоватыми круглыми кронами плодовых деревьев, над высокими раскидистыми лиственницами и узловатыми мелколистными карагачами.

Я вспомнил об отце и будто получил удар под дых. Детство. Вся жизнь. Мой дом. Наследственная моя нора. Мое наследство.

Отнято. Навсегда.

Но что-то все равно осталось. Мое наследие. Кладбище с крестом над могилой деда. Его дело теперь мое. Переход от незнания к знанию – вот в чем главная человеческая задача, жизненный труд и радость. Вот оно, мое наследие. Всего-то одна эта мысль. И она же, эта самая, – от арбатского мудреца, передавшего ее матери. И завет: остаются только книги, больше ничего. От ученых остаются только книги. Только то, что ты создал.

Вот он, тот сон. Наследство, наследие, завещание, завет… Сердце трепыхнулось, как пойманная птица, затихло и заныло. Может, и у меня мерцание? Наследственное? Красивое слово – мерцание. Звезды мерцают. И меркнут.

Время оказалось благосклонным. С путевкой на Северный полюс – путевкой в каюту люкс – и рюкзаком, тяжелым от долларов, я неторопливо подходил к «Макдональдсу». На террасе, за белым пластмассовым столиком, ждал мой профессор. С другого берега Тверской, с высоты постамента-помоста, смотрел мне в спину поэт, опаленный огнем страданий. Огнем преисподней. Недвижный.

Биограф продолжает

Профессора я отправил. Поезд от Ярославского вокзала увез их с варягом – рыжебородым северным гостем – в Мурманск. В Мурман. К ледоколу. Я был на Белом море в белые ночи и мечтал… Скоро она увидит: золотоносный день расплавлен в глубине прозрачных сумерек, и ветер на закате рожден мехами туч, и неба край в огне, и мчатся облака в полуночной регате…

Провожали профессора и викинга мы с Вэй Юнем и Ритик – Маргарита Буш. Как-то они всегда оказываются рядом.

– Знаешь, Ники, – сказала Ритик как-то задумчиво, глядя на удаляющийся хвост поезда, – мне кажется, твоя мама очень удивилась.

– Разве? Чему?

– Ну, да. Удивилась. Что именно на полюс. Она все время повторяла: «Как странно… Как странно… Это не может быть случайно…» – Ты не заметил?

– Да нет. Это она всегда так. Что ты хочешь… Это человек с совершенно средневековым сознанием. Понимаешь, она думает совсем по-другому, не так, как мы. И многое ей кажется странным. А потом оказывается, что это именно и важно. Значит, тут действительно что-то есть. Потом увидим.

После мы посидели, как водится, в кафе при «Макдональдсе», что на Арбате, против утеса МИДа, переправились под потоком Садового кольца и не торопясь спустились мимо Сциллы и Харибды двух одинаковых гостиниц «Золотого кольца», которые я по детской привычке называю «Белград», по тихой Плющихе и совсем короткому переулочку к моему дому на бугре у Бородинского моста. До краев переполненный кофе и кока-колой, Вэй-Юнь бережно нес свое узковатое и нежное амфибийное тело над перегретым асфальтом, теплым даже перед ночью. Начался август… Странные дни… Перед осенью. После лета. В сумерках… Стрекочет кузнечик. Строже – ветер. Яснее – месяц. И мысли о прошлом…

Мы устраивались на ночлег в моей по-летнему опустевшей квартире. В комнате профессора после недавнего несчастья пока не выветрился запах сердечных капель. Но – никаких следов сборов в путешествие на полюс. Все на своем месте. Шторы на обоих окнах отдернуты, и опаловое облако фонаря освещает предметы, а через равные промежутки сине-фиолетовые лучи – прожекторы, словно стрелки гигантских часов, отмеряют время. На письменном столе белеет толстая стопка бумаги.

Она даже в темноте показалась мне странной, эта рукопись.

Скорее брошена, чем положена. Скорее забыта, чем оставлена. На краю стола, как-то наискось… Я подошел ближе.

Не диссертация аспиранта. Не статья и не кусок монографии. Строчки, написанные от руки. Почерк профессора. Особенные буквы – крупные, летящие скорописью, то ли русские, то ли греческие, как вереницы далеких длиннокрылых птиц. Его черный паркер.

Я взял пачку в руки. Листы желтоватые, шершавые, толстые. Будто письма из позапрошлого века. Да это дневник! Тут числа июльских дней, что мать провела одна на даче. Прочитать? Нет, нельзя. Но ночь сказала мне: да.

Прочитать. Или это сказала мне мать? Тем, что оставила на столе свои записки. Она, кто никогда ничего не бросит случайно, не забудет в небрежении. Даже в спешке. Да разве я видел, чтобы она спешила куда-то? Значит, хотела, чтобы я что-то узнал. И понял. Выбрала такой способ объяснить. Мне стало очень страшно. Так, как бывает перед неизбежным. Непоправимым.

Ну что ж. Не выпуская из рук рукописи, я лег на пыльный ковер дивана, сунул под голову одну из любимых матерью восточных подушек и стал читать.

Рукописный дневник профессора риторики за один летний месяц (июль)

7 июля 200?

Александра Михаилу – привет.

Ну, кажется, пора. Как уговорились. Вместо эсэмэсок – письма. Каждый день по письму, такой дневник. От расставания до встречи. А потом ты прочтешь мой, а я – твой.

Итак, я пишу тебе это первое письмо, сидя на даче, под самой крышей, за столиком с трюмо. Зеркало светлое, чистое, хотя принадлежало оно еще прабабушке Алексея, Кате. Она, как и другие родные, похоронена на старом кладбище за Троицким храмом, под старой березой. Это ее деревянный крест еле держится в рыхлой земле, вечно затененной густым барвинком, и опирается на почерневшую ограду и на серую гранитную плиту над могилой ее внучки, матери моего мужа, милой Наташи, которой вечно будет тридцать девять. По другую сторону от серой плиты с греческим прелестным профилем Наташи стоит другой крест, тоже деревянный, но еще крепкий, и табличка на нем называет имена деда и бабушки Алексея – Николая и Веры. А вот надпись на кресте прабабушки Кати стала совсем неразборчива: время, время… Надо бы ее подновить, да я не знаю ни отчества, ни фамилии, ни года рождения и смерти.

В чистое, светлое тройное зеркало, перед которым я пишу сейчас эти строки, взглядывали когда-то все, кто живал в этом доме.

Женщины – пристально: как, хороша? Все еще хороша? Но новая морщинка! Нет, просто волосок, слава богу! Пока – волосок…

Мальчишки – удивленно: вот он – я… Кто я? – и прочь, с топотом сандалий, опрометью вниз по лестнице, все позабыв, торопясь на волю… На солнце…

Кто еще в это стекло заглянет, уже после меня? И когда это будет – после?

А пока проходят последние минуты последнего часа этого грозового дня. Ливень, зелень, тьма. Зелень – там, где свет из дачных окон – желтый, мирный – ложится на черные ели, орешник, жимолость, траву.

Я не знаю, где ты и что делаешь. Так даже лучше. И спокойно оттого, что нет наконец этой страшной возможности получать и

отправлять эсэмэски. И вечных сомнений: послать? Напомнить, что люблю? Но нельзя же это делать каждую минуту. А когда? Сколько нужно, чтобы не надоесть? А вдруг ты не любишь? Не любишь вовсе, совершенно, ничуть? Вот молчишь ведь. Уже час. Два. Три… Нет, это невыносимо. Забыл, разлюбил, бросил! И вот – этот потусторонний звук. Гонг судьбы. И руки дрожат, и мобильник выскальзывает, падает… Читаю, не понимая сперва, перечитываю… Сколько страсти! Как они жгут, эти слова! Как обжигает каждый миг! Нет, невыносимо… Любить словами куда как страшней, чем телом. Слова, слова, слова… И возможность посылать их, словно птиц, стайками… Но какое напряжение – мысли, чувства, всея души. Моя бессмертная душа – и вся в эфире, утекает, переливается в тебя, и – вновь со мной… Внезапно вернулась… Но мне уже неподвластна. Психея, бабочка…

Нет, я рада, что это кончено и я снова принадлежу себе, хотя бы отчасти. Письма, пусть и воображаемые, – это что-то человеческое. Это в человеческих силах. Это можно выдержать. Это прекрасно. Как разговор или свидание. Из писем получится дневник. Или из дневника – письма? И ты прочтешь все, когда вернешься. Как мы уговорились.

Ну, как писали римляне, будь здоров.

8 июля 200?

Сейчас почти полночь. Вот-вот минует последний час ушедшего дня. «Все часы ранят, последний убивает», – такова надпись на циферблате башенных часов средневековой колокольни в Нейи – золотом по черному. Ты объездил весь мир, ну, кроме Африки, кажется, а я не видела ничего, кроме своей вселенной. Своей Москвы, которая после нашей второй встречи состоит для меня из немногих кафе, потом Арбата, бульваров – Тверского, Суворовского и Гоголевского – и Кропоткинской. И переулков между Кропоткинской и Арбатом. И набережной. Вот и все. Город сузился, сжался до размеров детства. Вернулся в первые свои пределы. Нет, в детстве был даже больше: зоопарк и Птичий рынок – там жили мечты, красота, надежда. Там, на пятачке московского асфальта, под раскидистыми пыльными тополями, встречались Африка, Азия, Америка, Европа, Австралия с Океанией. О, этого было довольно. Даже слишком много. Теперь их нет. На месте зоопарка – серый бетон и несколько страшно усталых от него зверей, на месте Птичьего рынка – не знаю что. Не была там.

И как это нас занесло в это кафе? В то мгновенье самого страшного месяца в году? Одновременно? Одних? Я никогда не бываю в кафе, это был единственный раз. И первый. А по Арбату

хожу всю жизнь, чуть не каждый день. Мимо.

Нет. Почему я туда вошла, знаю. Почему села за столик у окна и стала смотреть на прохожих, на плитки мостовой, на тот дом, в котором был когда-то магазин «Охотник» и стояло за стеклом чучело огромного вепря. Там я покупала поводки для собак – всю жизнь, с детства. А теперь это просто дом. Ресторан с каким-то жутким названием.

Я зашла в это кафе просто чтобы сесть. А сесть мне нужно было потому, что за минуту до того – проходя мимо бывшей «Аптеки» – я поняла, что Алексей влюблен в свою аспирантку. И поняла, насколько сильно. Тогда он, я думаю, и сам этого еще не знал. А она знала. Эта мысль явилась внезапно, ниоткуда и почти сбила меня с ног. Я открыла тяжелую дверь, вошла и опустилась в коричневое кресло. И стала смотреть в окно. Вот как я там оказалась. А как ты – не знаю.

«Последний – убивает»… Счастливы те, кто этот час проспит. Для других, одиноких наяву, он и впрямь нелегок. Это и свобода, когда в движениях появляется что-то таинственное, колдовское, и все же – горечь потери: никто уже не придет. Некого ждать.

Этот час – для дневников и писем. И я хочу, чтобы он был чист и спокоен, чтобы в нем ровно стучало, минута в минуту, то «бестрепетное сердце совершеннокруглой истины», о котором мечтал один грек. Мечтал так же пламенно, так же страстно, а значит – безнадежно, как я – о тебе, сейчас и всегда.

Я еще не рассказывала тебе о своей первой любви. О солнечном дворе дома на Кутузовском проспекте, где мы – тогда еще втроем, семьей, – жили совсем недолго. Дом был разделен забором пополам, и квартиры во второй половине занимали иностранцы. Дипломаты и их семьи. Я кончила тогда первый класс, но на дачу мы еще не уехали. И я познакомилась с итальянским мальчиком, ровесником. Через черные прутья высокой решетки он назвал свое имя: Рикардо. Рикардо Джульетти. И я назвала свое: Александра. Он повторил: «Алессандра. Сандра. Нет, Алесса. Алиса». И мы ушли в другой двор, соседний, туда, где решетки не было. И встречались там каждый день. Все эти дни светило солнце. Совершенно не помню, как мы друг друга понимали. Я тогда уже вполне говорила по-английски. Так или иначе, это понимание было абсолютно. Он звал меня Алиса Фокс – я тогда была почти рыжая, вернее, темно-золотая, и к тому же ему казалось, что я настоящая Алиса. А страна чудес – там, где я. Везде, куда бы я ни пошла. И мне так казалось тогда. На самом деле, так оно и было. До тех пор, пока мы не уехали на дачу.

Много лет спустя я поняла: это и была любовь. Вернее, такой

она должна быть. А сегодня я узнала, что этот итальянский мальчик по имени Риккардо Джульетти, озаренный жарким летним солнцем, был просто ангел. Просто вестник. Он явился мне, чтобы возвестить, что такое настоящая любовь. И обещал мне тебя. Он и был – ты. Поэтому я и говорю тебе сегодня так спокойно: сейчас и всегда. Всегда.

Итак, мое подлинное имя Алиса Фокс, и до сих пор я рыжая. Таковой и пребуду до конца жизни благодаря своей чудесной парикмахерше, которая отличается от меня только двумя свойствами. Во-первых, тем, что ей тридцать, а мне значительно больше, а во-вторых, тем, что она читала Канта, а я нет. Мне это неинтересно.

Я – Лисица Венера, или Красавица (о ней, грозе Лондона в позапрошлом веке, я прочитала у бессмертной выдумщицы Агаты, и сразу поняла, кто я такая. Конечно, я – это именно она, Лисица Венера, вновь воплотившаяся специально для тебя).

И вот я пишу тебе обещанное, но не для развлечения и не от тоски. А потому, что надеюсь, что некая истина о моей жизни станет при этом достаточно совершеннокруглой, а сердце ее, этой истины, да и мое заодно, – бестрепетным.

Сегодня был день одиночества. Я получила несколько эсэмэсок от Ники. Их было немного, и они были маленькие, длиной всего 1–2 сантиметра, как гусеницы пяденицы, и такие же разнообразные.

Бог, кажется, хотел сказать мне сегодня нечто очень важное. В один день он дал мне так много – письмо из издательства с похвалой моей новой книги и обещаниями скорой публикации – и тут же отнял все, что я люблю. Тебя. Я имею в виду начало твоего путешествия и отъезд, конечно. Нетрудно прочесть это послание судьбы, как тебе кажется? Вот они, плоды занятий экзегетикой! [31] Делай, что должно, и щедра будет награда, и не делай запретного, ибо жестоко и неминуемо наказание. Выбирай.

Нет мне благоволения – этого небрежного дара счастья, нет соизволения сочетать долг и любовь.

Вот так, трепещущая перед неизбежным, по видимости – неблагодарная и упрямая, несовершенная и знающая, каков выбор, провела я этот последний час уходящего летнего дня. Тот час, что убивает. Но осталась жива. Или мне это кажется?
А вот сейчас наступает самое страшное: нужно закрыть глаза.

9 июля 200? (Примечание биографа: одинаково датированы оба следующих текста, которые автор назвал вариантами)

Вариант 1.

Короткие часы немногих наших встреч после твоего возвращения с одного края земли и до отъезда на другой – эти

часы не уверили меня в твоей реальности. Их не хватило. И потому сегодня и я – нереальна. Не чувствую себя, потому что тебя нет – ну, почти нет. И разве могу я сказать так уверенно, как семнадцать лет назад, что способна усадить тебя в кресло, когда захочу, и говорить с тобой о чем угодно? Я, тебя забывшая и себя потерявшая? Я, тень, не справлюсь и с тенью.

Сегодня я снова ответила на несколько Никиных пятениц. Все остальное время прошло в молчании и одиночестве.

Эти два дня я пытаюсь уловить одну мысль. Она мелькает слишком быстро, я ее вижу, но никак не могу сказать словами.

Вот она. Сначала – картинка. Я представляю себе наших детей. Своего Ники. И, насколько могу, твоего сына. Мне кажется, я им мешаю. Не тем, что делаю что-то определенное или занимаю место в пространстве и во времени. Мешаю всей своей жизнью, мешаю тем, что для меня – жизнь. У меня было время, свое время, и я сделала с ним то, что сделала. Но этого времени больше нет, и, забывая об этом, я отнимаю его – у них. Странно, что когда я видела тебя чаще и дольше, мне не приходило в голову ничего подобного. Мне казалось, что раз я жива, то и у меня есть еще время. Время и право жить реальной, подлинной жизнью. Ты понимаешь, о чем я.

Я ошибалась. Нет его, этого права. И время истрачено так, как прошло. Истрачено безвозвратно – на то, что оно принесло. А потом унесло – навсегда.

Знаешь, если бы я была птицей, то моей песней были бы два слова: «Навсегда!» и «Никогда!» И с этими криками я, спугнутая с ветки, уносилась бы в лесную чащу, в черную глубину елового леса, и снова садилась бы там на елку, пока кто-нибудь не спугнет. И опять: «Навсегда!», «Никогда!»…

Но пока я в июльском саду. Зреют яблоки. Сад замкнут, закрыт, недоступен. И я в нем одна – не женщина, не Ева, а птица: «Навсегда!», «Никогда!»…

Я смотрю на растения и люблю их. Они очень отзывчивы. Хотя и не требуют от меня заботы – их поливает кто-то с неба.

Вариант 2.

Как я оживаю от одной только мысли, что снова тебя увижу – через неделю, месяц, год… Боюсь, вдруг этот ряд продолжится до…

Нет, серьезно. Отчаяние мгновенно сменяется радостью, тьма – светом, лучезарным светом, и я улыбаюсь…

Не поверишь, но при этом я чувствую те самые силы, ту спокойную радость, что прежде так легко позволяли мне семнадцать лет назад воплощать тебя и усаживать в кресло. Вот оно, стоит сейчас передо мной, давнымдавно сосланное на дачу.

Пустое… И чуть покачивается.

На сиденье качалки брошен плед. Нет. Не тот самый. Тот много лет назад истратился – порвался, потом на его клетчатых останках спали обе мои борзые. Пока сами не состарились.

Лиственницы растут на собачьих могилках, и два бедные холмика покрыты нежнейшей зеленью посеянных мною трав.

И все же мне кажется: только теперь и пришли настоящие силы. Раньше таких не было. Это был почти блеф. Сегодня мне есть с чем сравнивать.

Алиса Фокс, Лисица Венера. И – не твоя!

10 июля 200?

23.20. Вот он, последний час. Тот, что наконец убивает. Милосердно приканчивает израненного, измученного двадцатью тремя предыдущими. Странно, а ведь это похоже на корриду. Или коррида – это метафора жизни? Всепобеждающей смерти?

Я затосковала. Но ничего. Даром что в окно, в стекло, привлеченный светом, бьется толстый злой шершень.

Снова сижу за трюмо прабабушки Алексея. Мною не раз чиненным и снабженным круглой лампочкой, чтобы красавицам лучше было видно себя со всех сторон.

Ну, Алиса Фокс, Лисица Венера, что же ты думаешь об этом дне?

Думаю, что любовь родится от радости. От тоски – никогда. От шершня может родиться только шершень (тут насекомое забилось в стекло еще отчаянней, чуть отлетая назад в темноту и снова шмякаясь брюхом, разбрызгивая по стеклу капли яда).

Еще думаю, что очень жалко мне было сегодня Ники и Лику, Ритика и Вэй Юня – помнишь, я рассказывала – «little disgusting creature», как он себя называет, этот маленький китаец. Бедные, бедные детки. Печальные они. Лика с трагическим взглядом. Так она никуда и не уехала. Ни в какую Гвинею, или куда она там хотела. Не может оторваться от Ники… Ритик с тоской в глазах светлых, фиалковых, распахнутых, как крылышки голубянки Икар. Ники – мятущийся, гневный, тоскливый. Маленькое disgusting creature – сонное и тоже какое-то невеселое. И нервное. Что же это такое? Разве такие были мы в студенчестве? Если это у них предчувствие – то чего? Если боль, не утихшая и не преходящая – от чего?

Дома у них нет. Настоящего дома. И у Ники теперь нет. Он об этом еще не знает. Но и у него теперь, как и у всех, что-то похожее на дом, но не дом, не укрытие, не убежище. Приехали сюда, на дачу. Но уже si devant [32] . И вот спят – девочки под самым большим моим одеялом из овечьей шерсти, на полу, на ковре, – две крохотные фигурки, еле видные под толщей этого

укрытия – чужого… В комнате с желтым абажуром – недвижные, усталые очертания на диванах. И завтракают как-то грустно, и на свадьбу к друзьям двинулись словно нехотя – сонные, медленной вереницей вниз, по дорожке к калитке, на электричку…

И последнее, что я думаю в этот день – угасший, жаркий, дождливый. Было же такое время, – думаю я, смотря на упрямого шершня, который все бьется и бьется из темноты ночной к свету, в стекло, уже все забрызганное ядом, – было же такое время, когда я и часа не могла прожить без эсэмэски, без этого милого писка. И ни дня – без автора. Привыкла к другим перерывам, прав да, нескоро. И правда – не привыкла. Но оказалось, что стерпеть можно. А если так, то почему не терпеть – всегда? Почему не уступить – другим, новым? Детям? Почему не поступиться? Временем? Счастьем? Жизнью? Почему не терпеть до тех пор, пока вот в такой особый час не окажется наконец, что терпеть уже нечего? Что ничего и не нужно, а что было – того и не было?
Нет, милый, это не мои речи, не мои мысли, чужие чувства. Кажется, это называется трансфер – перенос прежнего опыта в новые обстоятельства жизни. Перенос опыта потерь – на новые переживания. О, не вливайте старое вино в мехи новые! А ведь однажды я тебя уже потеряла.

11 июля 200?

Ο φίλος, χάιρε! [33]

А радоваться найдется чему – даже мне, в моем заточении. А уж тебе, в путешествии на край света, и подавно. Побережье северного моря, крик морских птиц, даже киты, наверное… И люди…

Принимала сегодня чету друзей. Он – писатель, как и ты, но никак не может заняться этим серьезно. Блестящий лектор. Профессор. Передачи на радио – постоянный ведущий особой программы. Разбрасывается. Сидели под большой елкой, уже за последним чаем, и только он обрадовался, что «наконец-то пошло общение» (цитирую), как жена развернула его от елки к калитке. Нет, не подумай. Олеся молодец, и кроме массы других достоинств у нее есть чувство времени. Теперь она руководит целым отделом в «Лукойле» – представляешь? Единственная компания, которая у нас еще осталась!

Проводила их и наконец выехала на велосипеде из калитки в вечернюю мглу. Над Истрой стелился туман, мой Орлик наметом носился по дорогам, и по сторонам высокой темной стеной стояли некошеные травы. Небо было тревожно, и последние всполохи отцветающего иван-чая быстро подернулись сумеречным пеплом. Забил перепел, за ним другой. Все это было настоящее, живое, совсем не такое, как разговоры за чаем и

анимэфильмы, которые смотрели вчера перед сном взрослые дети, все четверо, – завороженно, неподвижно, сидя в норе под желтым абажуром.

Все бы хорошо, но детей жалко. Странно, что они совсем не хотят выйти из дома. Погуляли бы, что ли… Искупались… Жара, темные луга, быстрая река, запах травы, ночные птицы – нет, все это загоняет их в дом, в нору. Ищут укрытия, защиты, притина. Ищут, где голову приклонить… Бездомные дети.

11 июля 200?

Ну вот, пропустила последний час дня. Никого он не убивает. Какая чушь. Я его даже не заметила сегодня. На самом деле уже двенадцатое, и еще на сутки ближе тот миг, когда я, может быть, услышу тот самый звук. Тот эфирный сгусток, который заменяет теперь человеческий голос, спешащий по проводам. А я ведь боюсь услышать голос. Писк эсэмэски не так пугает. Как же все это странно!

Утро было особым. Тишина. Недвижный экран телефона. Робкие лучи сквозь тучи. Свежая, какая-то детская сонливость… Покой вселенной. Все это напомнило мне те летние пробуждения, когда я была еще девочкой и даже думать не думала о любви. А мобильных телефонов просто не существовало. На даче же телефона и вовсе не было. Как это было чудесно!

Сегодня Виталина отвела меня в храм. Я не говорила тебе, но произошло нечто очень важное.

Давно… Нет, скорее, недавно я загадала одно желание. Нет, не так. Недавно я осознала, что оно у меня есть и что оно самое главное в моей жизни. И самое сильное. Не буду говорить, какое. Я была уверена, что исполниться оно не может. И только робко думала о нем иногда. Потом все чаще. Наконец я поступила очень легкомысленно, даже преступно, как я теперь понимаю. Я обещала себе, что, если это желание исполнится, я воцерковлюсь. Так теперь принято это называть, не смейся. Меня крестили еще в младенчестве, в церкви Иоанна Предтечи, в Предтеченском переулке, что на Пресне, неподалеку от зоопарка. Храм всегда был действующим. Пока я не пошла в школу, моя старая няня, бывшая послушница монастыря в Сызрани, брала меня с собой в «церкву» дважды в день: к заутрене, как она говорила, и к вечерней. Все это запечатлелось. Потом ни о какой религии и речи не было. Но что-то всегда оставалось за гранью сознания, в глубине. Страх Божий. И с ним – покой. Удивительно, но так. И вот всегда, если случалось переступать церковный порог, перекрестившись и поклонясь, я знала, что возвращаюсь домой. Вхожу в храм своего детства. В нем – ангельские голоса и огненные глаза тонких свечей. В нем – укрытие. Под покровом

тихой, милосердной Богоматери. Под оком Спаса Вседержителя – оком ярым, яростным, отеческим. Не было со мной отца, – земного защитника и опоры – но всегда был небесный. И пребудет. Сейчас я это понимаю, а раньше только чувствовала.

И представь: мое желание, даже не желание – надежда, и не надежда даже – а так, мечта, легкая, несбыточная мечта, – сбылась! Вот только что, совсем недавно

– а сбылась! Не скажу, какая. Пока не скажу. Ну и пришла пора выполнять обещание. Обет. Раньше мне казалось, что просить Бога о *таком* и обещать *такое* – преступно. Но сейчас я думаю иначе.

Я вспомнила прежнего батюшку Троицкого храма – отца Руфа. Он крестил еще Ники, и громовый бас его сотрясал стены, когда перед исповедью он командовал: «Равняйсь, православные! Смирно!» Отец Руф, исполинского роста, широкогрудый и серебрянокудрый богатырь, словно с картины Васнецова, прихрамывал, а под облачением, говорят, скрывался протез – нога была отнята высоко. Священником он стал по обету. В Курском сражении немцы подбили танк, и обреченный на смерть троицкий паренек, задыхаясь в горящей башне, обещал свою жизнь Богу. И спасся, и служил все отпущенные ему долгие годы в меру своих богатырских сил – истово и ревностно, как и жил. И прихожане любили его и чтили.

Что ж, подумала я. Если б не исполнена была моя просьба и не случилось бы чуда, потому что иначе назвать это невозможно, – так ведь и я умерла бы. Не сразу, медленней. Сгорела бы года за два. Ну, за три. Приступы стали бы повторяться чаще, потом лекарства, потом операция – водитель ритма, а потом все равно – тромб, эмболия – и конец. Кто знает, сколько звеньев в этой цепочке могли бы выпасть.

Ну и чего мне стыдиться? Не так уж это и легкомысленно – желание жить. Просьба о спасении. И я пошла с Виталиной. Познакомилась с батюшкой. Отец Андрей. Совсем молодой, чуть старше Ники, русоволосый, сероглазый. Объяснил он мне, этот отец Андрей, как нужно готовиться к исповеди и к причастию. Я ему не сказала про обет. Нельзя было так делать, я знаю. Пока он говорил – тихо, мерно, ласково, серьезно, опустив глаза и только изредка взглядывая мне в лицо, мне мучительно захотелось узнать, что его-то привело в храм. Да так прочно привязало, что учился, принял сан. И приход. И я спросила.

Оказалось: случай. Чистый случай. Мальчишкой, лет семи-восьми, он болтался на пыльной дороге, у магазина. Он из местных. Не из Троицкого – из Манихина. Это станция перед нашей. Так вот. Было лето, жара. Как сейчас. В магазине

продавали бананы. Ну, считай, когда это могло быть. Году в девяносто втором – девяносто третьем… И ему ужасно, ужасно хотелось съесть банан, хоть один. Мучительно хотелось, до дрожи. Он сидел на ступеньке магазина, безнадежно, а тут выходит мужик какой-то. Купил продуктов для дачи и спускается по ступенькам к своей машине. В одной руке пакеты с едой, а другую он поднял над головой и на ладони держит бананы. Целую гроздь. Огромную желтую гроздь. И вдруг останавливается. Заметил мальчишку краем глаза. А тот смотрит на бананы. Только на них. Так этот дядька отдал ему все бананы. Не остановился даже. Просто опустил руку и шлепнул банановую гроздь парню прямо на черные от загара коленки. Всю, целиком. На грязные расцарапанные коленки, в синяках и ссадинах.

И отец Андрей сказал: все из-за этого. Забыть не мог. Отслужил в армии и пошел в семинарию. Вот как оно бывает, с желаниями. Непросто. Или просто?

Будь здоров.

12 шюля 200?

Михаилу от Александры – привет.

Сегодня я читаю научную монографию про человеческие эмоции. Упала на меня с полки, когда я спускалась по лестнице мимо стеллажа. Приятно думать, что мои страдания – просто аффективно-когнитивный комплекс.

Я готовлюсь к исповеди и питаюсь какой-то травой. Виталина дала мне книжечку – молитвослов. Есть чудесные тексты. И как это я раньше их не знала!

На даче очень влажно, и зелень, кажется, еще позеленела, потемнела, стала сизой, сытой и набухшей. Даже воздух какой-то зеленый.

Начитавшись про эмоции, я стараюсь, во-первых, никак их не подавлять, а во-вторых, ими управлять. Первое легко удается: слезы текут рекой. Второе труднее. Для этого надо делать «лицо радости». Тренируюсь перед трюмо.

Я очень испугана Алексеем. Именно испугана. Он приехал из Бубенцов, с трудом оторвавшись от аспирантки, и ночью был разговор. Что там ночью – всю ночь. О любви, конечно. Пока только о любви. Абстрактно. Сказал, что за настоящую любовь отдал бы остаток жизни. Оказалось, что я, как и все другие его женщины, настоящей не была. То есть была ненастоящей. Ясно, что настоящая – это та, что сейчас. И остаток его жизни, который он так хочет за нее отдать, легко перейдет в другие руки. Ручки.

И знаешь, утром он сказал: «Ну что ж, хорошо, что мы поговорили». И тут мне стало страшно. Ведь на самом деле это значит: «Я рад, что я все-таки честно сказал тебе, что было. Что

есть. И что будет».

И еще – это напомнило мне, как я жила последние лет пять. Или двадцать пять? А, все равно. Ничего не менялось, четверть века не менялось – до прошлой ночи. А теперь изменилось. Полностью. Потому что было названо словами.

Я испугалась. Но не боюсь. Я ведь теперь свободна.

Я ведь Алиса Фокс, Лисица Венера. И мне ли бояться очевидного, освещенного ярким светом слов, словно какой-то дрожащей, грозящей и ускользающей тени?

Действительность лучше, чем о ней принято думать. А я думаю о ней. И думаю не так, как принято. Это радует.

Я страдаю, конечно. Как всегда, от любви. И это тоже радует, потому что теперь я страдаю от того, что она ко мне пришла. И я способна мечтать. Снова способна. Я ведь забыла уже, какое же это счастье – мечтать.

Ну, не чудесна ли жизнь? А, Алиса Фокс?

И она отвечает мне: да. Да! Да!!!

13 июля 200?

Вот и уходят последние минуты последнего часа этого последнего дня. Последнего – потому что он ведь не вернется больше. Но я успела за стол, и вот я смотрю в трюмо, и вижу там те же глаза и то же бледное лицо. Тогда, семнадцать лет назад, в этом же зеркале, там, в глубине, жила совсем другая женщина. Внешне она, как ни странно, не так уж изменилась. Так все говорят. И многие видят в этом бесовские чары. Ведьмы, как известно, не стареют. Ужас, что я пишу. Грех. А еще готовлюсь к исповеди и читаю святые молитвы. Вот опять шершень бьется в стекло – окно я предусмотрительно закрыла, – а вот и еще один! И еще! Гудят низко, так что стекло отзывается и вибрирует, и брызжут ядом.

Сегодня утром я сидела за столом под самой большой елкой. Это странное дерево высится прямо напротив входа. Странность в том, что ель не меняется, как, впрочем, и я. Говорят, что, когда жива была Катя, прабабушка Алексея, а сам Алексей только учился ходить, дерево было точно таким же, как сейчас, – выше нашего дачного трехэтажного дома. Оно невзлюбило меня. Сразу, как только я появилась на даче. Это как-то чувствовалось, и я старалась сидеть за столом под елью пореже. Когда я сильно болела, она снова стала расти, а теперь вот опять замерла, даже некоторые ветки стали сохнуть…

Когда-то мы – то есть друзья Алексея – встречали здесь, на даче, каждый Новый год. Так было заведено. Но однажды это случилось впервые. Как и все на свете. Отчетливо помню, что тогда, в сильный мороз, я поднялась на третий этаж и села за это

трюмо у окна. В зеркале качались ветви этой ели и неслись снежные хлопья. И я написала: «Я знаю – в зеркало под елью смотреть нельзя на Новый год. Оно слепит глаза метелью, в нем всех метелью занесет».

С тех пор двое из немногих друзей погибли. Уже двое. Первым – самый лучший. Так всегда и бывает. Единственный из всех, он стал и моим другом тоже. Не мог приспособиться к новой жизни. Бился в одиночку. И когда понял, что проиграл, прожил недолго. Замерз в лесу, на лыжах. Один. Сердце. В феврале. В метель.

Второй – поэт и песенник, талантливый и веселый, тоже старался удержаться на плаву, неудачно. Не хватило сил – спился. Убили его в подмосковной электричке, выкинули с площадки – под откос. В ночь. В метель.

Нет, это все позади. А про елку – выдумки. Я спокойно сидела за столом, пила чай и смотрела на соек. И тут по мобильной связи донеслась весть о том, что Наргиз– иранская студентка Ники – выловила в темной пещере на севере своей родины и привезла в Москву семнадцатисантиметрового, фиолетового в пятнах, с громадными черными глазами и длинным хвостом, очень редкого. Тритона, конечно.

В книге об эмоциях я читала за чаем про радость. Но теперь я знаю не только про радость. Я знаю и саму радость – благодаря тебе. Удивительно! Радость, счастье, – это, конечно, случалось. Но – проносилось и исчезало так быстро, что я не успевала даже их почувствовать, а только могла сказать себе: ах! Это прошло!

Теперь счастье обрело длительность. Стало ощутимым. Я могу вспоминать его, предвкушать, даже вызывать и удерживать. Я иду по дороге и знаю: вот оно, счастье. Вот эта минута. И следующая. И все, что наступят после.

Я знаю теперь магическую радость – ту, что создала для меня новый мир. И я в нем не одна – впервые после краткого сопребывания с тем итальянским мальчиком. С ангелом. В солнечном дворе без решетки. Вместо него – ты, настоящий. Исключительный. Прекрасный. Такова же и я – Алиса.

Я знаю и реальную радость тоже: отныне я и в обычном мире не гостья. Я в нем хозяйка – уверенная и спокойная, щедрая и сильная. Конечно! Уж если магический мир мне подвластен, то что говорить о простой, прямой жизни!

Через восемь минут – следующий день. На самом деле, я жду не столько тебя, сколько начала моего магического времени. Оно настает через месяц, с середины августа. Мои любимые дни, ну, не дни, а ночи, – те, в которые я с детства не сплю и смотрю, смотрю на небо – это двадцать пятое и двадцать шестое. Падают

звезды, горят созвездия на черном небе, горько пахнут листья, кричат молодые совы.
Будь здоров.

14 июля 200?

На самом деле, уже тридцать восемь минут, как пятнадцатое. Время идет, и как быстро! Все минуты (какое странное название для того долгого срока, пока большая стрелка совершает круг), все эти бесконечные замкнутые круги, из которых немногие сцеплены друг с другом, но большинство так и остается порознь (а ведь таки устроен часовой механизм: большие и маленькие колеса цепляются друг за друга, но есть, кажется, и не соприкасающиеся никогда) – все эти круглые, даже совершеннокруглые вместилища кусочков жизни, все они (ну наконец-то я, кажется, добралась до цели: нельзя же так писать, – скажешь ты) – все они наполнены разговорами с тобой или воспоминаниями об этих разговорах, воспоминаниями о взглядах, движениях души и тела…

Сколько раз можно переживать одно мгновенье? Нет, не по своей воле – по воле крохотных, но самостоятельных, даже самовластных единиц жизни? Странно, что для этих элементарных частиц существования нет особого имени ни в одном, кажется, языке… Ни в одной науке… Они неделимы и сотканы из времени, из события, из его осознания или просто ощущения… А из них соткана материя бытия.

Сегодня один из тех дней, когда внешних событий, казалось бы, нет. А вот запомнится каждый миг. То есть каждая частица бытия. Откуда-то это всегда знаешь. Утром я ездила на велосипеде по полевым дорогам – как всегда, якобы тренировать борзую. На самом деле мне это точно так же необходимо.

Стеной стояли голубые овсы, а в них высились золотые короны подсолнухов с говорящими и вопрошающими лицами.
Днем в институте встречалась с одним абитуриентом – поэтом, конечно. Сказал, что пишет философскую лирику. И любит Тютчева. Рабочий он, из Липецка, с конвейера «Индезит» (стиральные машины). Только вот руки у него что-то трясутся. Крупно дрожат пальцы. Спросила, сколько платят на конвейере. Ответ приводить не буду. Страшно: копейки. Люди, говорит, изнашиваются быстро.

А потом я шла по Садовому к Маяковке… И вспоминала другое время… Как жарко в августе Садовое кольцо дышало дымкой мутно-голубою, троллейбус пел, толпа текла в лицо, и было зеркалом тогда лицо любое… Мираж в пустыне раскаленных крыш, плеск голубей, раскрытых окон блики, и опаленный солнцем черный стриж – стрела любви, ее посланник

дикий…

Вечером снова ездила по полям с собакой и видела – нет, видела другое, другое, другое…

Потом с Виталиной гуляла по темнеющему лесу и у Истры, в холодном тумане, и не видела, кажется, ничего… Вовсе ничего. Только бывшее… Только si devant…

Ну, завтра с утра исповедь.

15 шюля 200?

Мне с моих небес теперь уже не упасть. Эту фразу я прочитала где-то, запомнила – и, видно, не зря. Настало время, когда я могу сказать это о себе.

Вот как начался день. На велосипеде я выехала на гравийную дорогу, что ведет по другой стороне бывшего оврага и опоясывает ряд полуразрушенных кирпичных коттеджей, в которых так никто и не жил. Их даже и бывшими не назовешь.

Подняла голову, взглянула на небо, прозрачно-голубое от лучей восходящего солнца, и вдруг увидела пару диковинно-прекрасных птиц: белые маховые перья просвечивали, так что казалось, что это сами крылья кончаются сияющими лучами. Длинные иссиня-черные хвосты чуть колыхались.

Это были просто сороки – но они летели в небе моего магического мира.

Через несколько мгновений все изменилось. Небо и все вокруг вдруг закрылись, будто захлопнулась книжка с цветными картинками, и я оказалась совсем в другом месте и времени. Вот Арбат. Ноябрь, легкий снег, серые сумерки опустились в синеву вечера. И я иду по своей улице – все дальше, мимо зоомагазина, мимо дома с серыми рыцарями, к дому арбатского мудреца, а снег чуть покалывает лицо: ветер встречный. И я захожу во двор, там темно. Кошка замирает на тропинке в снегу, подняв лапку.

Что это там, в глубине, на каменном постаменте? Боже, да это голова. Одна только голова. Одинокая голова в пустом дворе, том самом дворе, через который давным-давно я торопливо пробиралась в таком же снегу, к единственной в мире двери. Пробиралась к свету – к теплому желтому свету, к живому огню любви и слова. Туда, где под матовым абажуром, над чашами с сухими лепестками роз, резвился и играл веселый Логос. А сейчас… Огромная холодная голова из темного гранита в безлюдном заснеженном дворе. Это он. Вот во что его превратили, моего Профессора.

И я выхожу из двора – этого страшного склепа – медленно, тяжело, но – выхожу снова на Арбат, напротив театра, под голубовато-желтые фонари, и иду, чтобы хоть где-то сесть. Приклонить голову. Иду в то кафе. Навстречу тебе. И еще не знаю

об этом, но все-таки – уже знаю.

И сразу следующая картина – весенняя капель. Не совсем еще весна, но уже брызги солнечных капель прыгают с карниза вниз, на мраморные ступеньки музея, а я стою, подняв голову к небу, и солнце греет щеки, ласкает закрытые веки. Я опускаю голову и смотрю вниз, с крыльца: жду. Жду тебя. И белые облака рвутся на волю в синеве теплого ветра. Это как раз то, что я чаще всего вспоминаю: мерцает мир, и мириады миракул солнечного света дрожат опаловой плеядой вокруг любого силуэта. И льда шагреневая кожа сжимается и отступает, и ветер так неосторожен, что о весне напоминает… Сухой асфальт шершав и нежен – невольно ждешь прилета чаек, и день так ласково бесснежен, что о зиме уже скучаешь… Конечно, ты это помнишь. Разве я могла тебе не сказать…

Тем временем я еду на велосипеде уже вдоль старицы, собака сгоняет стаю диких голубей с прогалины на поле, и я тороплюсь. Пора. Скоро восемь.

Как трудно взойти на пригорок, по песчаной дороге мимо розовых сосен – туда, где под высоким куполом неба клубятся голубые купола сельского храма. Крашены купола той же нестойкой и вечной краской, что оградки на кладбище. Вокруг них вьются черные точки стрижей – стайками, как буквы в эсэмэсках, и визжат, и свистят, словно торопят мобильный телефон… Прости мне, Господи, это сравнение, но ведь так оно и есть.

Так, вцепившись в Виталину и чуть позади нее, в страхе шла я на эту первую в своей сознательной жизни исповедь.

– Исповедуется раба Божия Александра. – На коленях, в солнечном углу храма, у окна, я все-таки сказала, – опустив глаза, а после уже и глядя в лицо отцу Андрею, – то, что должна была сказать. Без чего не умереть спокойно. Смертные свои грехи. Потому они, верно, так и называются – смертные. Я говорила, в луче плыли золотые пылинки, а из-под самого купола смотрели всевидящие очи Спаса Вседержителя.

Любовь и смерть. С мужем живу не венчана. А теперь что ж венчаться, если и мужа-то нет, кажется? Если любишь другого. Любить – другого, но вне плотского греха, – так любить и Бог не запретит. Вне контактных откровений, – говорил о такой любви мой духовный светоч, философ, арбатский мудрец, сам в тридцать шесть лет принявший тайный монашеский постриг. И все же, и все же…

Самое страшное – смерть. Аборты. Из всех зачатых в нецерковном браке детей только Ники Бог дал избежать этой участи. А ведь и на его небытие было уже выписано направление

– в какую-то больницу на Страстном бульваре. При всем, что было в жизни и что могло бы смягчить вину – ужасы советской контрацепции, нежелание мужа, – нет моей вине оправдания. Что ж, так и должно быть. Не любишь – нет у тебя права на контактные откровения. Любишь – люби и детей. Отвечай за них. Самовластным злодейством творишь свою судьбу. Откуда же счастье?

– Сокрушаться будете сердцем до конца жизни, – сказал отец Андрей и замолк. Но покрыл мою склоненную голову, начертал поверх крест и отпустил.

Святое причастие – незаслуженный дар, милость и прощение – огненным комком ожгло горло, но растопило лед и горячо затеплилось в душе.

И мы с Виталиной, потрясенные и живые, щурясь от яркого света, вышли на высокое белое крыльцо, под благодатное солнце июля.

16 шюля 200?

Александра Михаилу – привет.

Ну, ближе к письмам. Или к дневнику? Позволю себе только одно отступление. О контактных откровениях. Как бы это сказать немного… эзоповски? Мне кажется, что если бы они между нами были, то и глубина их была бы небесно высока. Двусмысленно? Ну, может быть. Но ты ведь поймешь меня верно.

А теперь о земном – совсем земном, если такое бывает. Мне кажется, Виталине просто нужна другая кошка. Эта, Глаша, – молодая поросль, сорняк с церковного двора, котенок, взятый там из жалости, – не подходит. Понимаешь, Глаша не нежная. Все время висит на дереве. Пытается дотянуться до гнезд. А может, до звезд? Так или иначе, с Виталиной она холодна. Слишком холодна. Жестока.

Все как-то померкло, хотя день снова солнечный и жаркий. Так еще один лучезарный день уходил и ушел. А помнишь, как весной – чем ранее, тем бережней и удивленней – замечаешь всего один лист: вот он, уже распустился! Один цветок, хоть мать-и-мачеху: вот он, уже расцвел… А сейчас так много всего вокруг, и таким водопадом несутся дни, полные цветов, трав, ягод…

Полная разлука легче переносится, чем миражи эсэмэсок. Не надо гадать по ним: любит – не любит. Лучше ромашки. Спокойней. Да, я знаю: люблю. И, может быть, любима. Вот и все. Жаль только, что нельзя вдвоем пройти по лесу, вдоль реки, через поле.

Нет, все-таки Северный полюс – это смешно. Чересчур символично. И зачем тебя туда понесло?

Разве писателям это так уж необходимо? Это ведь даже не край земли, а какая-то точка, притом воображаемая. Какая-то

метафора дали. И он уехал на Северный полюс… Как в сказке, глупой современной сказке.

Здесь же… Я смотрю в окно, сидя на прежнем месте, за трюмо, под крышей. Там, за оврагом, сосны еще освещены желтым солнцем, стволы горят, как в огне, а внизу, у ручья, уже ночная прохлада. Я предоставлена сама себе и томлюсь без твоего участия. Мой мобильник, словно дохлый шершень, валяется где-то, молчаливый и ненужный. Шершней, кстати, становится все больше. Тех, что проникли в комнаты, приходится убивать бадминтонной ракеткой.

Все предметы вокруг меня: и трюмо, и книги, и картины, и вот эта белая чашка с цветком шиповника, окаймленным позолотой, – все странным образом осмысленно и само себя понимает. Лучше, чем я – себя. Это и есть главный и единственный признак присутствия здесь любви. Здесь – это значит, что она не только во мне, но наполняет пространство. Все пространство, которое я вижу, и все время, которое меня заключает. Как говорят математики, это условие любви, необходимое и достаточное.

Жаль, больше писать не могу – пора бежать вниз, проверять, как чувствует себя Little Disgusting Creature.Они приехали днем – Ники, Лика, Ритик и Вэй Юнь. Затаскали маленького китайца по Москве, в жару, так, что началась тахикардия, и я уложила его отдыхать, напоив лекарствами – своими. Остальные поехали на велосипедах по полям. Лика купила себе такую же шляпу, как у меня, – помнишь, такая широкополая. Коричневая, как горький шоколад?

Ах, кажется, внизу горит в плите курица. Вот приехали велосипедисты. Все, бегу.

Жаль, не успеваю написать еще одну вещь – самую главную.

Жаль кончать письмо – кажется, будто пора расставаться. Жаль, жаль, жаль…

17 июля 200?

Шершни по вечерам ведут себя как в фильмах ужасов: ломятся в стекла – а окна закрыты, и именно из-за них, несмотря на духоту, – протискиваются в щели стеклянной двери, в комнату, где я пишу эти ночные записки. Пришлось сегодня заклеить щелки листками. Под руку попалась пачка буклетиков, посвященных семидесятилетию института, где работает Алексей. ИПЭЭ РАН – Институт проблем экологии и эволюции… Странные эти биологи. Надо же настолько не чувствовать слово, чтобы назвать свое заведение: «институт проблем»…

Сегодня я подумала (а может, решила): это мое последнее лето на даче. Эта жизнь прожита. И кончилась, что бы там ни

было, впереди. Пусть растут лиственницы на могилках двух моих старых собак – двух друзей, – вместе с ними и прошли все годы этого нового века. Деревья такие маленькие сейчас – так, еле заметные в траве стволики и несколько пушистых ярко-зеленых веточек. Пусть цветут без меня розы – как уж смогут. Пусть стоят на бесчисленных полках старые мои книги. Спите спокойно, друзья моей жизни.

Возьму с собой в Москву оленью шкуру – ту самую, в белых крапинах-пятнах, что я выкроила из остатков своей давней шубы. Той, в которой я ходила по Арбату на уроки греческого и латыни. В которой я встретила и полюбила Алексея. Он говорил потом, что накануне встречи он видел меня в ней во сне, где я превратилась в пятнистого оленя. И сон оказался вещий. Как тот олень, в конце концов я оказалась не на своем месте. И в смертельной опасности. Я чувствую сейчас эту опасность в холодной волне, что пробегает иногда по лопаткам и шее, в спазме горла, когда я смотрю на Ники… Можешь ли ты спасти меня от нее?

Больше мне нечего тут делать. Как не было у меня никаких дач, так и не будет. Вот когда елка оживет! Она уже, кажется, перестала сохнуть и готовит обильный урожай шишек для птиц и белок.

Ники работает на веранде второго этажа, прямо подо мной. Оттуда доносится китайская музыка. Лика возлежит на тахте, Вэй Юнь и Ритик сидят на полу. Возгласы. Это Ники доделал какие-то таблицы, и наступило всеобщее оживление.

Один из шершней проник-таки в комнату, судя по треску хитиновых крыльев, соприкоснувшихся с горящей лампой. Придется звать Ники с бадминтонной ракеткой.

Так, музыка сменилась. Теперь звучит демоническая, она же «готишная», Мэриам. Очень по-кельтски. И по-русски. Смешная! Кто бы мог подумать, что и через десять лет она будет так любима…

Сегодня опять ходили купаться на Истру. И опять текла быстрая река, унося время. Сейчас 23.37…

18 июля 200?

14.25. Против обыкновения, пишу сегодня днем. Невыносимо. Нет, все невыносимо. Не могу ни на чем сосредоточиться – внимание рассеивается, и вот уж бред, просто бред, сотканный из картинок – ну, помнишь, я писала – не картинок, не мгновений, а элементарных частиц минувшей весны и уходящего лета… И еще эта жара.

В полдень небо над насыпью – я ехала с Орликом в поля – было как выцветший шатер, голубой только сверху, напротив

солнца. А если не поднимать глаз – дымчато-линючий.

Душно. Боже мой, как мне душно. Толстые зеленые кузнечики взвизгивают по кустам, сочные, как зреющий крыжовник. Но и у них не хватает сил на песню – замолкают, едва начав.

На этом листе строчкой ниже – след от убитого Ники шершня. Вчера видела с балкона только одну упавшую звезду. Ничего не загадала. Вот и взяла этот белый листок с кровью шершня, чтобы… Ну, это единственное средство…

Ты спросишь: для чего? Ах, я не знаю. Я и сама не знаю…

Ну, Алиса Фокс, Лисица Венера, как же ты можешь так тосковать и так дрожать, страдая? Так любить? Откуда у тебя это странное свойство – эта постоянная жажда любви? Ты, Красавица, ты, магически озаренная и профетически одаренная, ты, ведунья воцерковленная, успокойся.

Нет, все-таки этот Северный полюс – это слишком. Насмешка, усмешка, ухмылка. Шутка такая. Жестокая, впрочем, шутка.

19 июля 200? Сегодня собеседование в Литинституте, и мне нужно присутствовать. Встать пришлось в шесть. Успела.

– После школы я работал в «Макдональдсе». Кем? Курьером, промоутером. Нет, русского слова для этого не знаю. Стихи стал сочинять, ну, наверное, лет пять назад… Круг чтения? Гессе, Керуак, Бродский, серебряный век… Очень люблю…

– В наше время опасно принимать решения. Кем работает мой отец? Он ученый… Стихи свои почитать? Сейчас. Ой, они на работе. Нет, кое-что помню. Вот:

Мы с тобою – затихшие вопли
В непролазной терновой чаще…

Спасибо, достаточно.

Я свои стихи читать не могу.

– Ну, почитайте с листа.

– Нет, не могу…

– У вас отец в Сибири живет?

– Да.

– А вы где?

А я в Италии.

А вы здесь, в Москве, постоянно живете?

– Нет, я постоянно живу в Люксембурге.

– А что вы там делаете?

Я преподаватель танца. Какого танца? Классического, современного, фолк-данса…

Скажите, вы сразу после школы?

– Да.

– А мысль поступать в Литинститут когда у вас возникла?

А когда я захотела связать свою жизнь с творчеством. Вот именно тогда у меня и появилась мысль такая.

– А вы после школы чем занимались?

– В Италии жила.

– Да? И где же?

– В Генуе.

– Чем занимались?

– Социальными науками.

– Какими, например?

– Я люблю психологию.

– Что вы читали по психологии?

Эзотерику там всякую. Библию, например…

В театральный вам не надо, вы сразу в обморок упадете. Да нет, я уже играю в театре. Профессионально. Постоянно то есть.

Вы из Минска? Белорус? Вы где родились?

– В Феодосии.

– Украинец, значит?

– Нет, я русский.

– А почему католик?

– Потому что у меня родители поляки.

А говорите, что любите Гоголя. Как же вы можете его любить, если вы католик?

А в какой момент ваших отношений ваш муж оказался москвичом?

– В самый первый момент. Но если честно и откровенно, то у меня уже другой муж.

– Тоже москвич?

– Тоже. Но я работаю завскладом.

– Ну и что?

– Это склад книжной продукции. Потому я много читаю…

– Мне сказали, до двадцати пяти лет не надо. Вот вырастешь, тогда и поступай в Литинститут. У меня друзья в Воронеже, они писатели. Они знают. Вот я и выросла.

– А стихи когда начали писать?

– Лет тридцать назад. Когда перестала шить.

– Что?

Ну, пока я «челноком» не начала работать, я весь город обшивала. А до того я все Лужники пирожками кормила. Потом собак разводила. Бойцовых.

Я работала машинистом башенного крана. Потом в деревню попала, и там я работала дояркой. Директором клуба сельского… Потом у нас клуб аннулировали как бы, а потом и деревню. Как бы ее не стало. Но вот когда я дояркой работала, меня как бы прорвало. Ну, почитайте стихи того периода. Когда вас как бы

прорвало.

А кто были друзья Пушкина? Николай Второй. Пушкин был очень одинок.

У всех особые глаза. Они светятся. У всех, у всех, не спорь. Ты, скептический и строптивый, ты, упрямый и завзятый спорщик. Ты их не видишь. А я – вижу. Глаза у них именно такие. Потому что все эти люди – молодые и не очень – независимые. Они не зависят от среды, от города, от жизни. Не зависят и от нас – комиссии. Своя у них жизнь, как и должно быть у человека – άνθροπος [34] , ввысь устремленного. Своя – не чужая.

– А вы в Перми где работаете?

– Водителем трамвая.

– Тяжело?

– Ну, как вам сказать… За восемь лет зрение упало, остеохондроз… А вообще-то раньше я жила в Березняках, но они провалились.

– ???

А там соль вырабатывали, и под городом образовались пустоты. Ну и вот. Город провалился.

Я до некоторой степени был изолирован от общества.

– В каком смысле?

– В прямом.

– И долго?

– Восемь. Ну, как вам объяснить… Суд – это рынок, на котором торгуют свободой, не зная ее цены… Но там была библиотека, и я много читал. Что? Камю, Сартр, Фаулз…

– Мы с вами где-то встречались. Я вас помню.

Ну да, у меня когда-то была аккредитация в Белом доме.

– А вы чем занимаетесь?

– Сейчас я не работаю. Ну, почти. Раньше – на автомойке, а сейчас няней.

– Где?

– В одной семье. Они риэлторы.

– А книги где берете?

– У них и беру. У них библиотека большая.

– Они что, читают?

– Ну да. Мы цитируем друг другу любимые строчки. Сергей Владиславович очень любит Маяковского…

– Мой отец был цирковой акробат, а мать портниха.

Стихи почитать? Так, сейчас: «Я, жизни тягостной заточник…»….

Стихи я давненько пописываю, для военнослужащих для своих.

– Как – своих?

А я служу. Старший мичман. И троих сыновей родила, вырастила:

капитан, майор, лейтенант.

Я заваривала чай для чайной церемонии.

– Зачем?

А у меня работа была такая. Где? В Новокузнецке. Странно? Ну да, наверное…

Оставалось еще много поэтов и поэтесс, но я не выдержала. Взяла со стола шесть пустых пластиковых бутылок – воду от жары давно выпили – и сделала вид, что пошла их выносить. С ними вынесла и себя, окончательно. И вдоль террасы «Макдональдса» направилась к метро. Мимо в мареве жизни плыла Москва.

20 июля 200?

Скоро уже. Но дни становятся все мучительнее, и сквозь слезы все яснее проступает под явным рисунком моей жизни какой-то тайный, скрытый узор. Или это тоже обман? Смотреть сквозь слезы – все равно что сквозь старое истонченное стекло с волнистыми наплывами времени. Так искажается мир… Где же правда?

Гнезда брошены, и новые, яркие, глупенькие птицы готовятся жить. Одни – к отлету, другие – к зимовке. Вчера на выгоревшем газоне Тверского бульвара видела молодого вороненка – глянцево-блестящего, беззащитного. Он с недоумением озирался. Сегодня утром Орлик спугнул прямо с дорожки юного голубя-вяхиря. Тот склевывал песчинки и мелкие камешки, зазевался и едва успел подняться на крыло, спасаясь от борзой.

Сегодня же в зарослях лимонника нашла пустое гнездо крапивника. Птенцы уже вылетели. Сердце сжалось.

И вдруг к вечеру обруч, что сковал сердце, разомкнулся. Я вдохнула влажный воздух оврага – и успокоилась.

И подумала… Даже не подумала, а внезапно узнала. Увидела, как всегда это со мной и бывает. То есть случилось трехминутное умозрение, как сказал бы мой арбатский Профессор. Узнала глазами.

Вот что. Даже если мы окажемся вместе в другой жизни, я и то буду не уверена: а может, это только мне нужно? А тебе нет? Но тут же решила: тогда это, как теперь говорят, будет уже не моя проблема. Какие сомнения! Если мы не расстанемся после этого мира, то это навеки… значит, так и должно быть. А потом я еще подумала: но ведь и сейчас, здесь и теперь, разве не то же? И не пора ли отказаться решать, все время решать, быть или не быть вместе, то есть вообще – быть или не быть, как какую-нибудь задачку по геометрии в классе эдак в шестом? Как есть, так и есть. Как будет, так и будет. До смерти, как после.

И только теперь, вот сейчас я поняла, кажется, подлинный смысл слов нашей главной молитвы: «Да исполнится воля Твоя

яко на небеси и на земли…» Хоть в этом, в этом, только в этом – вдруг да исполнится воля Твоя? Здесь, на земли, хоть ненадолго… Пусть на несколько дней только… А может, всего и осталось на земли, что несколько дней: таких коротких – и таких длинных…

Ну, вот и забрезжило наконец что-то разумное. Нашлась опора в главном.

Теперь о неглавном. Ники в Звенигороде, на биостанции, и, кажется, занят тем, что кружит голову одной девушке – той, что гостила у нас прошлым мартом. У одного жениха, испанца, он ее уже увел, теперь только появился второй, русский, собирается сделать то же. Я его предупредила.

Орлик очень меня любит. И радует. Что ж, у аспирантки Алексея, той, что с прозрачными глазами, той, что держит сейчас в руках его сердце, черная кошечка. А у меня – белая собака. И я вспомнила:

Вот листья, и цветы, и плод на ветке спелый,
И сердце, всем биеньем преданное вам…
Не вздумайте терзать его рукою белой
И окажите честь простым моим дарам.

Это Верлен, и лучше нет ничего. Называется – «Green» [35] . Не так ли, Алиса Фокс? You, beautiful old vixen, wise and bold? [36]

Будь здоров. Ты не терзаешь моего сердца, нет. Это я его терзаю. И твое заодно. Прости.

21 июля 200?

Сегодня мы разбирали сарай. Приехал из Бубенцов Алексей с затуманенным взором, и мне удалось уговорить его сделать это – впервые за двадцать два или двадцать три года. Я и сама не понимаю, зачем просила о такой ерунде – так, по привычке. Это ведь мое последнее лето, я сюда уже не вернусь. Так что мне должно быть все равно. Но двадцать лет уговаривала – и вот. Согласился. От угрызений совести, наверное.

Сарай разбирался целый день, и видно было, что каждый год из двадцати трех оставил свой культурный слой в этом строении. На самом дне, на полу, обнаружились гнезда крыс. Покинутые! И снова сжалось мое сердце. Гнездо крысы, послужившее жизни и опустелое, так же сиротливо, как брошенное птичье…

22 июля 200?

Сумерки. Угасает день, полный бледного, но такого жаркого солнца… Ночь была вся грозовая, и ливни шумели один за другим.

Вчера в сарае нашла серую папку с завязками. Странно, как это она там оказалась. Ведь в ней – моя фотография, сделанная

через год после развода родителей. На обороте рукой отца написано: «Сашенька. Парк ТСХА». И год, а за ним в скобках – вопросительный знак – нет, год неверный. На фото я похожа на юного Орлика. Точь-в-точь. Настолько, насколько девочка может быть похожа на борзого щенка. И выражение то же, только не такое залихватски-радостное. Выражение печальное. У Орлика в детстве тоже такое бывало…

И знаешь, что еще я нашла в этой папке?

Фотографию милой молодой женщины в голубом, с белой кружевной паразолькой, женщины, очень похожей на отца. Судя по дате на обороте, это моя сводная сестра – от его нового брака. Это Марфа, художница.

Она родилась, кажется, именно в тот год, который надписан отцовской рукой на моем фото. И там же – ее буклеты с выставок, с кратким и блистательным жизнеописанием: персональная выставка в Виндзоре; выставка в Манеже; собственная галерея в Турции («Marpha»), и другое – многое.

Ночь я не спала. Ее глаза и улыбка, ее непринужденная поза с этим кружевным зонтиком, сквозь который падает солнечный свет и тоже становится кружевным, а главное – что-то особое, такое, что я забыла, но не вполне, а вот сейчас сразу вспомнила…

Стоило выключить свет – и вот опять ее голубые глаза, и улыбка, и рука с зонтиком, и жест…И так всю ночь.

Утром, с больной головой, встать не смогла и в Москву не поехала. А разъехались все… Алексей читает «Фауста». Потому что его аспирантка пишет стихи. Интересно, какие ему нравятся больше? Нетрудно догадаться. Эта штука посильнее «Фауста» Гёте! Ну вот, это пошлость. Прости.

Листала книгу про эмоции и еще одну – «Популярная психиатрия», – но о несчастной любви, длящейся больше двадцати лет, ничего не нашла. Это я про Алексея. Про свою любовь к нему, в которой я была так уверена. До того ночного разговора с ним. Помнишь, я писала. Если у него все эти годы никакой любви ко мне не было, то, может, и у меня… Обман? Видимость? Внушение? Нет, ни слова не нашла. А как искала: вдруг все пойму…

Но поняла и без книжек.

И теперь я знаю точно: тот итальянский мальчик, который дал мне мое настоящее имя, тот вестник, тот ангел – он обещал мне – тебя. Он и был – ты.

Теперь я спасена. Но не могу забыть слов одной одинокой женщины, японки, которая триста лет назад, однажды вечером, сидя, как и я, у изголовья, записала: «И почему мир так печален?»

Я не смогу больше ничего написать. Буду ждать теперь, когда

ты приедешь, мы встретимся в кафе и я отдам тебе эти свои непосланные письма.

Странно, но рука почему-то пишет «прощай».

Прощай».

Биограф продолжает: мысли после чтения дневника

Я прочитал эти письма, по крайней мере, трижды. Едва задремав, проснулся и перечитал все с начала до конца.

Вот оно как. Значит, у меня теперь ни отца, ни матери. Оба поглощены другими. И собой. Любовью… Боже мой, да что же это за жизнь такая! Предатели. Предатели оба. Обманщики. Мне – ни слова…

И она, главное – она… Кому теперь верить? Как жить?

Все в дымке, и рассвет пахнет гарью.

Что ж, придется начинать новое. Свое. Независимое бытие. Отдельное от всех. От прошлого. Вот и ты, одиночество. Встретились. Пришло наконец. Узнаю его – настоящее – впервые. Такое, что без дураков. Подлинное. Невыносимо. Невыносимо!

Я поднялся с дивана, почему-то погладил ковер, словно бы прощаясь, аккуратно положил записки профессора в ящик его письменного стола и вышел в коридор. Из моей комнаты, где ночевали Ритик с Вэй Юнем, не доносилось ни звука. Серое утро и, верно, раннее.

После душа я подошел к окну с чашкой кофе в руках и стал, как всегда, смотреть на реку. В дымной сизой мгле еле виднелись мосты и река под ними.

Не спрашивай, почему со мной это случилось, – спроси, зачем. Вот как меня учил когда-то профессор. В те невозвратные времена, когда я спрашивал его обо всем, «как любопытный скиф афинского софиста»… Так зачем? Зачем же?

Сейчас мне не ответить. Но скоро я узнаю и это. Чувствую, что скоро.

А сейчас я знаю одно. Любовь обрекла ее смерти. И от смерти спасла любовь. Нет, не другая – все та же. Любовь сгорает и воскресает, как птица Феникс. Вот почему так пахнет гарью. Вот что алеет в недрах земли, пылает в глубинах сердец, души человеческие сжигает в пепел. И воскрешает – сильными и радостными. Я не видел этого. Но я знаю: увижу. Увижу!

Рассказ биографа о том, что было в экспедиции и случилось после

Мы летим уже целый час. Очень высоко, над каракулевыми полями белых облаков, пронзительные лучи. Это солнце. Настоящее. Только в самолете и понятно, что солнце – все-таки звезда.

Ритик впервые в небе и наблюдала взлет очень внимательно. Мы специально посадили ее у самого иллюминатора. Но она держит перед собой выключенный мобильник, выдвинув чуть вперед согнутую в локте руку, и не отрывает фиалковых глаз от экрана. Экран пуст. А глаза ее полны будущим.

Рядом с ней – Лика. Склонив чуть набок маленькую голову, изогнув длинную шею, она читает скандинавские мифы. Лучше бы Терентьева [37] почитала, хоть какая-то польза. Сомнительная, правда. Все равно ничего не запомнит. Различать ящериц, заспиртованных в узких стеклянных цилиндрах-банках, в Зоомузее и на биофаке удавалось ей с трудом. Посмотрим, как будет в поле. Сейчас Лика похожа на средневековую монахиню с молитвенником на коленях.

После трех больших кусков пиццы, наспех проглоченных в Домодедово, меня клонит в сон. Что ж. Впереди Казахстан. И семиреченские лягушкозубы – нежные древние саламандры с таинственными темнокарими глазами… Они скрываются от меня где-то там, под камнями прозрачных ручьев в горах Заилийского Алатау, среди зеленых лугов, влажных от холодных брызг и капель тумана.

И, летя в небе, вознес я молитву Покровителю казахской земли:

О, Золотой Человек в скифской шапке, со шкурой снежного барса на плечах, дай мне удачу! Позволь забрать у тебя несколько детей твоих гор – немногих, и не ради корысти. Ради вечной жизни этих чудесных созданий твоих вод, твоих камней, чтобы не оскудела твоя земля и потомство! Дай мне их, и я прочту письмена их рождений, познаю их Логос – неповторимый бытийственный принцип – и место в ветвях Древа жизни. Дай мне их! Дай найти, заметить, увидеть! Приведи к тому ручейку, подними мою длань над тем камнем, что должен быть сдвинут! Пусть в глаза поглядит мне миллионолетняя тайна! Тайна в нежно-трепещущем тельце! Дай схватить, ощутить, насладиться!

Я очнулся от толчка. Приземлились.

Алма-Аты! Дым японских праворульных машин в чаше гор,

пирамидальные тополя и пыльные карагачи, резкие крики скворцов-майн, красный шар закатного солнца … Еда и ковры в гостеприимном доме – и вот уже рассвет. Пора. Исудзу – изумительный джип. До краев полон – оборудование, припасы во вьючниках, бутылки с водой и свобода.

Стелется дорога, как ковер-самолет, вот и горы.

Счастливый, счастливый сижу я рядом с шофероморнитологом. Здорово он рулит. Пора бы и мне, да все недосуг учиться.

Нет, что за дорога! Что за горы! Что за год! Чего ни пожелаешь – все сбывается. Родители – ничего, сами разберутся. А это – моя жизнь. Вот она. Эта дорога. Эти горы. Эта свобода. Только бы найти! Только бы поймать!

Ну, Золотой Человек, ты, что стоишь на крылатом барсе, ты, беркучи, с орлом на руке, Охотник! Дай мне удачу! Ты, странный Воин, золото твое – наряд погребальный, ты, странный Охотник, птица на руке твоей – душа, что отлетает от тела… Дай мне удачу!

Едем весь день по щебнистой пустыне предгорий. Справа – хребет Сюгете, слева – хребты Багатыи. Больший и Малый, как братья.

Остановились в долине. Пристальный глаз солнца следит и следит неустанно, почти не склоняясь к вершинам.

Орел-курганник неохотно поднялся на крыло с пригорка. Удалось сфотографировать.

Ритик с белым энтомологическим сачком приготовилась исполнять балетные свои номера. Что-то мелькнуло в воздухе, и следом она унеслась. Словно ветром сдуло в пустыню.

Лика с отрешенным взглядом идет вдоль дороги, но смотрит, кажется, под ноги. Вероятно, гранью сознания она все-таки удерживает мысль о том, что ящурки и круглоголовки передвигаются по земле, а не по небу.

А! Вот она замирает. Бежит. Бежит довольно резво. Еще быстрее. Похожа на гепарда. Такая же маленькая круглая голова на длинном стремительном теле. Гибкая, словно пружина, и лопатки ходят под майкой, как у кошки. Бросок – и она поднимается, отряхивая с джинсов песок и мелкие камешки. О! Одну ладонь не разжимает… Да, точно, держит над головой. Поймала! Что-то поймала! Бегу к ней. Пока не уронила… Скорее…

Есть! Совершенно замечательная ящерица-круглоголовка, молоденькая, свеженькая, будто только что с конвейера Господа Бога. Между сжатых пальцев Лики торчит прелестная розовая лапка, видны широкая пасть и один глаз.

Лика разжимает руку, и круглоголовка возлежит на венериных буграх девичьей ладони, словно на подушках дивана. Брюхом вверх. Живая и спокойная.

– Ну, – спрашиваю я свою ученицу, – что за вид?

Кого поймала? Пауза.

– Это, конечно, Phrynocephalus [38] … – наконец слышу я дрожащий голос.

– Да уж, – не могу сдержаться, нет, не могу. – Для такого ответа не обязательно было три года таскаться на биофак МГУ. И у меня курсовую делать. – Вид-то какой?

– Guttatus…

В недоумении смотрю я на Лику. Как могла она так ошибиться! Перепутать это чудное существо с розовыми лапками с созданием не менее прекрасным, однако испещренным фиолетово-малиновыми пятнами…

– Так, – голос мой не скрывает, нет, не скрывает раздражения. Да что там – злости просто. – Что по-латыни значит «guttatus»? Сто раз повторял! Что?

– Ну, пятнистая…

– Пятнистая, правильно. Или крапчатая. А эта? Ты на ней хоть одно пятно видишь? Бестолочь! – Последнее слово мне удалось-таки процедить отвернувшись и сквозь зубы, так что его можно было бы принять за простое шипение.

Ответа не последовало.

– Это же чудесный, изумительный экземпляр прелестной, замечательной такырной круглоголовки! Такырной! Она называется helioscopus, что в старинных книгах на русский переводили поэтическим словом – солнцегляд! Ты подумай только: солнцегляд! Тот, кто смотрит на солнце!!!

Лика все молчит, не поднимая головы.

Тут-то все и случилось. Произошло. Осуществилось.

На беззащитное брюшко солнцегляда капнуло сверху что-то прозрачное. И еще капнуло. Ящерица слабо пошевелила розовыми лапками.

И тут я понял, что за все это время, с тех пор как ящерицу удалось настигнуть и зажать в кулаке, Лика на нее и не взглянула. Потому что смотрела она на меня. Только на меня. Пока не опустила голову и не заплакала.

«Боже мой, – думал я, засовывая солнцегляда в мешочек и завязывая тесемками, – вот оно. Лика смотрит на меня. И смотрела. Всегда. Все время. – И я вспомнил Ритика, неподвижный взгляд ее печальных фиалковых глаз, неотрывно устремленный на пустой голубоватый экран мобильника. – Она меня любит… Лика… И тут вспомнилось мне ее полное имя:

Вергилия. И недаром, недаром. Недаром вспомнилось. Какое имя! Разве хоть что-то может быть случайным? Тем более имя! Мой профессор с его средневековой картиной мира прав. Тысячу раз прав.

Вергилия… Даже мешочки для рептилий не смогла сшить правильно. Ну, кто так пришивает тесемки: прямо у горлышка, не завяжешь как следует… А ведь настрочила целую кучу. Я велел двадцать, а получил сорок… Милая…»

Так я стоял рядом с Вергилией, недвижный, словно соляной столп в серой пустыне.

Она повернулась к машине и, не оборачиваясь, понесла к ней мешочек с солнцеглядом. Под ее легкими шагами тихо шелестел песок и поскрипывал щебень.

И тут какой-то вихрь ударил меня, крутанул и опрокинул, какой-то смерч швырнул оземь.

И я упал, сбитый с ног, ударившись головой о камень, упал так, что всем телом почувствовал ребристые гальки, неровности, острые шипы и колючки Сюгетейской долины.

Это была Ритик. В одном из своих пируэтов или батманов с сачком она налетела на меня, неподвижного, потрясенного и отрешенного, и, даже не заметив этого, понеслась дальше, в погоню за порхающей бабочкой. Шашечница в неровном полете удалялась быстро, но Ритик была стремительнее. Последнее, что я помню, – решающий взмах ее белого сачка, словно отмашка: старт. И финиш. Я потерял сознание.

И когда я открыл глаза, обе они склонились надо мной, бесчувственно распростертым на поверхности древней, как мир, серой пустыни, под малиновым шаром низкого солнца. Настоящего солнца. Первого солнца моей любви.

Золотой Человек! Ты, стоящий на крылатом барсе! Это ты, охотник, сбросил с руки свою ловчую птицу! Это ты направил прихотливый полет шашечницы так, чтобы устремившаяся за капризной бабочкой Ритик в безумстве преследования сбила меня с ног… Это ты приготовил для меня посреди ровной пустыни серый, округлый, единственный камень.

Потом, у арыка, мы поохотились еще на жабят – юных потомков жабы Певцова, а заодно и на чернотелок – противных и зловещих жуков, по народному поверью, предвещающих смерть, но нужных зачем-то Ритику. Точнее, ее коллегам в Москве. Чернотелок было столько, что хватило бы уморить армию Тамерлана, жабят – поменьше, но тоже достаточно.

Боже мой, как я был счастлив! Оказалось, сам того не зная, я носил на своих плечах непомерную тяжесть. Пока не увидел этих прозрачных капель на брюшке ящерки, пока не пошевелила она

своими розовыми лапками. А может, пока не ударился дурной своей головой о серый в тонких белых прожилках камень Сюгетейской долины…

Будто могильная плита соскользнула наконец с моих плеч, и я, впервые в жизни веселый, хохотал и скакал по пустыне, как беспечный необъезженный жеребенок. Веселый впервые в жизни? Детство мое… Как же ты было печально! Юность моя! Моя грусть, одинокая горькая песня…Только сейчас я это понял. Слишком было темно, слишком было печально. Странно.

Может, это тени стариков в моем родном доме, в норе под темной елкой, а может, детские тягучие болезни… «Не очень-то повеселишься, когда болят то почки, то горло… А может, это родители мои тосковали, – подумал я вдруг. И вспомнил последние дни на даче. Все как всегда – так казалось. А обернулось внезапно – горем. И каким горем… Невеселы дети, если родителям тяжко. Проходили годы и годы. Не замечал, не ведал, не гадал. Но тяжесть нес вместе с ними, нес на детских плечах. Потому, верно, и мать мне всегда так помогала. Так берегла. Так учила. Боялась за меня, видно».

Но об этом я думал недолго. Вернее, даже и не думал – так, обрывки мыслей, отдельные картинки прошлого мелькали перед глазами, пока я скакал и носился по щебнистой плоской равнине у отрогов великих гор Центральной Азии. Появлялись воспоминания, исчезали и наконец вовсе пропали. Ушли, скрылись в вечернем фиолетовом тумане.

Дальше джип помчал нас в сумерки, полетел по ровнейшей дороге – взлетной полосе, проложенной в семидесятые годы двадцатого столетия ввиду будущей войны с Китаем. В наступающей тьме завиднелись постройки – это был поселок со странным именем Таскыскин. Там мы с трудом нашли заправку и с удивлением купили хлеба. Ведь было уже поздно.

Я боялся смотреть на Лику. Вдруг исчезнет она, вдруг исчезну я, вдруг пропадет то, чему от роду – часа четыре. Или уже пять?

Даже взглянуть на нее не мог. Как заговорить? Что сказать? Ведь она меня не простит. Сколько за этот год было унижений. Как я ругал ее. Издевался. Да теперь она мне и не поверит просто. Подумает… Подумает, что это новый способ выразить пренебрежение. Нет, это ужасно. И если поверит – все, теперь ей это больше не нужно. Не нужен ей я со своей новорожденной любовью. Слишком все было долго. И грубо. Ждала, ждала – и перестала. Так всегда и бывает, когда чего-то очень хочешь. Вот оно, теперь на ладони, словно распростертый детеныш солнцегляда, – а время ушло, все пропало. Желания не могут

длиться вечно.

И плакала она вовсе не от любви. Как я мог подумать! От досады, обиды, безнадежной тоски – вот отчего упали эти прозрачные капли на светлое брюшко солнцегляда. Просто ей все надоело. И ящерицы, и наука, и больше всего я сам. Недаром она пробовала все бросить и уехать на край Африки, на край света. Только бы подальше. Не поехала почему-то, правда. Почему – не сказала, да я и не спрашивал. Мне это было тогда вовсе не интересно. Грант не получила, верно. Вот и все. Потому и осталась. А в экспедицию со мной двинулась потому, что сменить тему, искать другого руководителя – все это непросто. Вот и решила смириться. Перетерпеть. Очень на нее похоже.

Меня охватило такое отчаяние, какого я и вообразить не мог. Ад. Безнадежность потери. Да, Золотой Человек! Сумел же ты посмеяться над пришельцем. Не посмеяться – расправиться с жестокостью скифа.

Я взглядывал на небо и никак не мог понять, где и как мы сможем заночевать. Все менялось. Тучи образовали беркута с крыльями в полнеба и солнцем на спине, а мы все ехали. Внезапно солнце превратилось в кровавый глаз в узкой ране туч; вдалеке полыхали зарницы.

Когда полог туч сомкнулся, джип съехал с дороги. Пока ставили палатки, молнии стали сверкать ближе, и гром сотрясал громады гор. Вергилия была рядом.

Луна осветила какое-то адское лицо, вдруг возникшее в небе, потом лицо так же быстро скрылось и воцарилась тьма.

– Жаль, что звезд не видно, – сказал я, подняв голову. Мы уже пили чай, сидя на вьючниках под тентом, закрепленном на заднюю дверь джипа. Через мгновение мои слова были услышаны: прямо надо мной ковер туч разодрался, словно разрезанный кинжалом, и в прорыв заглянули несколько глаз Кассиопеи, Сириус и еще целая россыпь мелких далеких светлячков. Все это время луна то пряталась, то появлялась, словно играя узкими полосами, на которые невидимый кинжал все кромсал тучи. Зарницы отдалились, раскаты грома стихли за зубчатыми стенами черных хребтов, и я остался один, распластавшись на спине под навесом и глядя в небо.

Так я лежал до рассвета, не смыкая глаз, в первую ночь моей любви. В первую ночь моей настоящей жизни.

Лучезарным утром горы выглядели знакомыми и совершенно домашними. Это и был наш первый дом. Но Лика об этом еще не знала. Она спала – там, в палатке, с Ритиком и с алма-атинским орнитологом, спала, как всегда, тихо – неподвижное узкое тело, плотно обернутое спальником, словно спеленутая египетская

мумия. Словно богиня Баст. Кошка-львица. Да, вот кто она такая, моя Лика. Есть в ней что-то египетское. И кошачье. Девушка-ложечка для притираний в египетском зале музея на Волхонке. С детства помню: вытянутые вперед тонкие руки, нежный рот, траурные очи в бирюзовых обводах, широкие плечи и узкий торс, изящным изгибом переходящий в пару длинных ног, сжатых так плотно, словно они вот-вот превратятся в русалочий хвост.

Иногда она вздрагивает во сне и даже всхлипывает: боится, что буду ругать. Или борется с печалью обид. Сколько я ее обижал… О, Золотой Человек, ты, Воин, ты, Охотник, Ты, хозяин гор и степей посюсторонних! Ты, владыка потусторонних пустынь и пастбищ! Ты дал мне ее после всего этого. Дал, даровал, чтобы я сам мог искупить причиненное мною горе, эти ее слезы… Что ж! Я добьюсь. Я сделаю это.

Подул свежий полынный ветер, тент захлопал и спугнул молодого коршуна, что кружил над холмиком неподалеку.

В небе паслись белоснежные тонкосеребристые овцы, и солнце пронизывало их драгоценное руно своими золотыми лучами, будто разбирало пальцами. Полог палатки приоткрылся, и Лика вышла, щурясь от света. Так я впервые увидел свою любимую утром.

«Боже мой, – думал я, – ведь этого больше не будет. Никогда не будет такого. Что же это? Как без этого жить? И как мне жить дальше с этим? Да ведь это нельзя, невозможно, не бывает такого счастья. И такого горя. Каждый прожитый миг – утрата. Невозвратимо. Невыносимо».

Глядя на нее, прикрывшую глаза ладонью, смотрящую на молодого коршуна, следящую его круги над нами, я почувствовал, как что-то сжимает сердце, сдавливает горло, и закрыл глаза. Двумя теплыми струйками слезы потекли по вискам. Я перевернулся на живот и полежал так, пока не справился с незнакомым, мучительным, сладким спазмом. Вот оно как, значит. Вот оно – то, чем жила мать. И чем живет. То, что убивает. И воскрешает. Теперь мне не о чем спрашивать моего профессора. «Как неразумный скиф афинского софиста»… А может, я ничего еще и не знаю? Может, тут-то и началось время для настоящих вопросов?

Когда по мосту мы переехали Или, самую большую реку Семиречья, пронеслись по селению, мимо оград из беленых глиняных кирпичей, мимо крупных диковинных цветов, нарисованных на белых глинобитных стенах домиков, мимо кладбища с беседками мавзолеев и иглами обелисков, возносящих к небесам свои полумесяцы, перед нами встали горы.

Дальние горы в фиолетовых складках, будто шкура дракона,

ближние горы в охристых львиных шкурах, тоже свободно-складчатых… Слышно стало журчание воды по камням, вот над нами пролетел орел-змееяд. И джип стал взбираться.

Грунтовка вилась все выше, и на хребтах засверкали снега. Двигатель упорно и мерно шумел, рычал, выжимал метры. Внезапно машина встала.

А просто мы влезли на перевал. Вот и все. И вышли из джипа. Далеко внизу, перед нами, лежит долина реки Барахудзир – и грунтовка так же круто, чуть не отвесно, вьется вниз, к реке.

У нагретых боков скал, вокруг дороги, Маргарита Буш исполняет танец погони за бабочками-сатири-дами – медлительными, застенчиво-бархатными, с карими глазами на шоколадных крыльях. Уши закладывает от высоты, в поднебесье ходит беркут. И Лика стоит рядом. Почему? Обычно она держится ближе к Ритику… 1746 м над морем.

– Салямет цисбе, – мимо верхами проезжают мужчина и мальчик.

И мы садимся в машину, и она, подняв нос к небу, опять ползет к новому перевалу. Вот уже 1915. И беркут вровень с нами. Вершины в облаках.

Перевал 2000. Очень холодно. Внизу видны юрты пастухов, а мимо скот идет тысячными стадами. Лоша-ди, коровы, овцы. Полил холодный дождь. Она одевается, искоса взглядывая на меня: теплый свитер, еще что-то…

Ну вот мы и спустились, спугнув с белой реки Барахудзир семь черных аистов. Какая узкая река! Какая быстрая! И они, таинственные и нежные саламандры, они где-то здесь, совсем рядом, под холодными блестящими от воды камнями… Они! И она! Какая полнота жизни! Какая будет охота!

Река здесь, в верховьях, журчит сетью тонких ручьев, стремительно несущихся обок главного русла. И я не выдержал – выскочил из джипа, выскочил чуть не на ходу, и побежал. И погрузил руки в ледяную воду, и перевернул красные камни, и увидел двух – чудесных, нежно-коричневых, скользких, желанных… И тут же упустил. Им удалось ускользнуть, обоим, ускользнуть от меня в зеленые тенета водяных трав, под белые кости лошадей и овец, очищенные орлами и брошенные в ручьи… Ускользнуть под красные камни…

– Золотой Человек, – молил я, так и стоя у ручья на коленях, мокрых от влажной травы, и пытаясь согреть заледеневшие руки, – дай мне их! Ты услышал меня и показал их, так дай же! Дай! Ты дал мне Ее – а ведь я и сам не знал, о чем просил! Но ты, хозяин и защитник этой земли, дал мне любовь. Ты камень положил в пустыне там, где я грянулся оземь. Теперь твоя земля –

земля моей любви. Ты щедр сверх меры, сверх разума моего, сверх чувства. Дай же теперь мне их, только их, больше мне не о чем просить, больше я и не попрошу никогда ни о чем, но – в руки, вот в эти пальцы, ледяные от холода твоих ручьев!

И я встал с колен, измученный и истомленный, но, пока я взывал, оказался готов обед, а за ним и чай. Надвинулась туча с градом, ветер снес полог, но накрывшее нас облако тут же сползло. И я уснул прямо в машине, сидя. И Лика была рядом. Когда я открыл глаза, она быстро отвернула лицо, так, чтобы я не успел заметить, что она смотрела на меня, спящего. Но я успел. Все-таки успел.

И мы выпили еще чаю, а потом поехали искать новые ручьи. Орнитолог рулил, я уверенно показывал дорогу, которую откуда-то точно знал, и вот мы поднялись в следующую долину, а там…

Там, наверху, на перевале 2003, стоило нам выйти из машины, как беркут уронил перо прямо мне в руки. Но я дал ему упасть на землю, чтобы Лика смогла подобрать его первой.

Там на нас обрушился град, просвеченный солнцем, и каждая градинка сияла, словно алмаз.

Там встала над хребтами радуга, а ниже кружили над нашими головами два степных орла, подорлик, черный гриф и белоголовый гималайский сип-кумай – пять гигантских птиц, и казалось, крылья их закрывают полнеба.

И там я спокойно подошел к ручью, перевернул камень и не торопясь взял в руки того, за кем и приехал. Первого, потом второго… А еще через полчаса можно было бы и ехать назад, в Москву. Цель экспедиции была достигнута. Если, конечно, иметь в виду саламандр…

Но мы устали. Вернулись к месту первой стоянки, туда, где, выбеленный водой и ветрами, белел у тонкой нити ручья лошадиный череп, а за спиной поднималась стена горы Кенды-Тау. Там мы ели и отдыхали. Смеялись, потом спали. Небо было так близко, что во сне чувствовалось, как оно ложится толстым одеялом поверх палатки.

Вечером переправились через сеть ручейков реки Барахудзир, туда, где у подножья снежноспинного хребта Джунгар-Алатау, против перевала Казбек, стояла белая юрта.

Снова отправлялся я в гости с арбузом… Бубенцы, любовь моя к Хай Чжэну – все это было так далеко… За горами, за долами… Хребты великих гор встали на пути реки времени. Но воспоминания не утратили горечи. Не нужен мне был Хай Чжэн. Уже тогда был не нужен. Все перегорело. Сгорело. Любовь кончается смертью… Лике я, верно, теперь точно так же не нужен, как мне Хай Чжэн. А давно ли он был для меня средоточием

жизни?

Но с арбузом, купленным еще в окрестностях Алма-Аты, орнитолог, Маргарита Буш и я с Вергилией направились через реку Барахудзир, к чабану Ханату с семьей. Арбуз радостно приняли, и, к нашему удивлению, он был сейчас же убран. Спрятан с глаз и исчез – то ли под высокими стопками одеял, то ли за расписными тканными дверками шкафчиков у войлочных стен юрты…

Пили чай, смеялись и смеялись… Темноглазая дочка пастуха старалась смотреть на Лику не прямо, а украдкой, как полагается воспитанной и скромной девочке, почти девушке, но глаз отвести не могла. Так и забывалась, вся – взгляд.

А я, гордый и спокойный, вел разговор с хозяином. Он сказал, что ущелье, где Золотой Человек дал мне то, что я просил и не просил, называется Акбайтал – Белая Кобыла. И что прошлой ночью на перевале Казбек погранцы поймали китайцев. Они спускались в долину со стороны своей, китайской, Джунгарии.

Провожал нас Ханат на низкой тонконогой лошадке, приторочив несколько одеял для нас – ночь обещала быть очень холодной. Она обещала… Обещала быть…

– Лика, – сказал я в темноте, прячась от ледяных брызг дождя под навесом палатки. Ритик и орнитолог были уже внутри и укладывались. – Лика…

– Я понимаю, Николай Алексеич, – услышал я в ответ тихую скороговорку, почти шепот. – Я обещаю вам… Я клянусь… Я прочитаю Терентьева. Я выучу наизусть Терентьева этого всего. Я вполне понимаю, как вы мной недовольны. У вас есть все основания сомневаться…

– Лика!!!

– У вас есть все основания сомневаться, что я справлюсь с курсовой. Конечно, полевой сезон начался неудачно. Я знаю, что сама виновата. Но я научусь! Только не отказывайтесь от научного руководства! Я все сделаю. Завтра, вот уже завтра вы сами увидите. Я постараюсь все делать так же, как вы, и тоже наловлю углозубов. Нет, вы увидите.

Я молчал. Все было ясно. Она боялась меня. И еще хуже – она боялась, что я передам ее другому руководителю, изменится тема, ей придется осваивать новое, собирать новый материал… Вот что ее пугало. Я был нужен ей для научного руководства. Курсовая. Диплом. О, если бы полгода назад, если бы даже, может быть, месяц! Все могло быть совсем по-другому… Нет, видно, перегорело и это. Моя разбитая о камень голова неожиданно заболела. Ссадина уже затянулась, а вот головная боль иногда возвращалась. Разбитая голова, разбитое сердце…

Я остался снаружи, под дождем, и когда заполз в палатку, Лика уже лежала неподвижно и прямо, как плотно спеленутая мумия, и не издавала ни звука. Даже дыхания не было слышно. Орнитолог храпел, Ритик посапывала и мурлыкала. Все спали.

Утром, когда мы завтракали у машины, Ханат вернулся на другой лошади, такой же маленькой, но не гнедой, а соловой. Приехал за одеялами. Пил с нами чай и рассказывал, как завыли ночью волки на нашей стороне Барахудзира, как на рассвете звери спустились в долину, перешли реку и унесли у него прямо от юрты двух собак.

Собирая палатки и вещи, мы наткнулись в низкой траве у ручьев на концентрические круги, выложенные низкими, вросшими в землю серыми камнями. Круги были заключены в квадраты из таких же камней, желто-голубых и пепельных от кружевных лишайников.

– Это древние могилы, – сказал Ханат. – Не знаю, чьи. Давно, давно здесь. Всегда. Никто не трогал, нет. Никогда.

Когда джип двинулся в обратный путь, на место покинутой нами стоянки слетел молодой степной орел и, как я видел, доел копченую колбасу. Коршун, светлоголовый, с хвостом ласточкой, появился слишком поздно – покружил, но ему уже ничего не досталось. Суслики высовывались из нор, облака плыли над горами неторопливо, а под ними переползали с места на место плоские бесформенные тени.

Мы снова встали в надежде найти еще лягушкозубов. Вергилия, полная жизни и усердия, скачет вдоль ручья вверх и вниз по горе, как юный козерог.

О Золотой Человек! Не ты ли создал специально для нее сад камней на склоне? Эти гигантские темно-серые граниты, украшенные лишайниками голубыми, рыжими, светло-лазурными, желтыми, что вырастают из низкой темно-зеленой травы в таком изысканном беспорядке, эти можжевельники, что посажены так изумительно небрежно… Как все величественно, как ярко! Вот кричит клушица – блестяще-черная, с алым изогнутым клювом, и голос ее разносится далеко по ущелью.

Высота 2194, и Вергилия сейчас представляется мне отрицанием моего бытия, а вовсе не его подтверждением. Если реальна она и весь этот горний мир, то, значит, я нереален. Или наоборот. Нет, я запутался, запутался вконец. Разбитая голова, разбитое сердце… Я огляделся вокруг. Все переменилось.

О Золотой Человек! Ты дал мне новые глаза, и я стал различать лица твоих гор. Они открываются мне одно за другим, каждое со своим выражением и каждое – со своей речью. Я чувствую на себе силу их взгляда, и чтото говорит мне, что и мой

взгляд, моя речь для них небезразличны. Это значит, что даже я – не песчинка и не миг в этой бесконечной и вечной вселенной. Как странно!

Мы вышли из джипа во впадине между холмами, будто покрытыми рыжей львиной шкурой. В центре я различил мутную лужу.

– А сейчас мы соберем здесь кладофор [39] , друзья! – крикнул я и ринулся вперед. Но все почему-то стали ловить жаб. Особенно старалась она, моя любимая. Вергилия совала мне их прямо в руки – взрослых особей и маленьких жабят. По-моему, она все же не понимает, что она делает. Зачем все это? Я и так буду руководить ее курсовой и дипломом. Зачем же столько жаб? Ну, нет любви, так и жабы сгодятся – вот что она хотела выразить этим.

Солнце медленно бледнело, и рыжие скалы становились лиловыми, а золотые горы – твои горы, о Золотой Человек! – меркли, и лица их темнели.

Появилась плоская прозрачная луна, бледная и совершенно круглая, как лицо красавицы казашки. Луна оглядела развернутые веера гор и порозовела от волнения.

Так розовеет Вергилия, когда я ее ругаю. Но увидеть это трудно, потому что голову она всегда опускает.

Со стороны, что обидно, мы с Вергилией представляем идеальную пару из фильма годов этак пятидесятых: маститый ученый (это я) и его верная помощница в широкополой шляпе – ученица, аспирантка, будущая жена. Даже ее голос, ровно-тихий, то ласковый, то даже чуть кокетливый, но всегда серьезный, – голос научного ангела женского пола, осеняющего крылами заботы и добра боготворимого сподвижника, нарочито свысока и слегка игриво, но на самом деле покорно и кротко-радостно. О, черт! Все, все притворство. О женщины! Вам имя – вероломство!

– Let it be, let it be-e… – пою я, глядя в окно на неподвижные горы и летящий край дороги. И потом: – Mother Mary comes to me, speaking words of wizdom: letit be-e… [40]

И что это – «it»? И что же, «это» обязательно должно быть? Пусть будет так? А как? Почему??? Отказаться от действия? Пребывать в бездействии? И пусть будет как будет? Бездействовать, то есть просто быть, но быть действенно? Ах, профессор, профессор! Вот бы кто сейчас, как и всегда, с удовольствием поговорил об этом. Поспорил… Как она там, на полюсе? Каково ей там в обществе обрусевшего варяга без принципов? Посреди Ледовитого океана?

Я смотрю на горы. Они говорят: успокойся. Живи и не отказывайся от жизни. Верь себе. Люби ее. Люби других. Живи

так, будто ты любишь и любим. И это сбудется.

На следующее утро мы уже в пустыне Кум-Текей, и жара палит чуть не с самого рассвета. Это предгорья Тянь-Шаня, и Китай от нас всего в сотне километров. После недолгой остановки, так и не поймав некой таинственной ящерицы, о которой даже говорить нужно шепотом, а называть ее здесь невозможно, мы снова снимаемся с места. Но все же через несколько километров я останавливаю шофера. Слишком уж важна добыча, чтобы вот так взять и проехать мимо такого типичного местообитания этой тайны.

О Золотой Человек! Что же ты делаешь со мной! Для чего привел меня сюда, на склоны высохшего ручья, поросшие жесткой колючкой! Зачем ты даешь мне все! В кровь изодраны руки и колени моей любимой – и вот – восемь взрослых и три детеныша таинственной ящерицы в наших плохо сшитых мешочках!

Но я слышу, ты говоришь: «Бери. Все даю тебе, кроме одного. Нужно тебе утешение – вот оно, я не скуп. Я люблю тебя, молодой охотник, люблю за то, что ты полюбил мою землю. А больше всего – за то, что ты на моей земле полюбил. Любовь – это слезы. Любовь – это горе. Любовь – это солнце. И смерть. Бери!»

Да, я слышу твою речь. Понимаю слова твоих гор. Ну что ж! Let it be.

Когда мы оказались в Алма-Ате, билетов на Москву не было: август. Скоро конец отпусков и каникул. А вот денег оставалось еще много. Достаточно, чтобы мотануть пока в Киргизию, половить там ящурок и набрать побольше материала для курсовой и диплома моей любимой. И времени хватало. Билеты мы все-таки купили, но до Москвы я мог еще быть рядом с Вергилией несколько дней неотлучно. Несколько дней на горных дорогах, у светлой воды озера Иссык-Куль, в пустынных предгорьях Тянь-Шаня, в самолете… Рядом. Близко. И я решил: что мне уготовано – возьму. Не отступлюсь. И не уступлю.

В маршрутке на заднем сиденье. Все глаза, конечно, на нее – и сколько же этих черных глаз с синими белками! А она, египетская богиня Баст, склонив набок головку, окутанную зеленым мусульманским шарфиком, купленном в алма-атинском музее, потупилась над серой обложкой учебника Терентьева «Герпетология». Прижимает к себе книгу, как девушка на одной советской картине – только сбросила чадру, и что ждет впереди? Смерть или победа? Косится на меня. Думает, верно, что это я забью ее камнями на площади, если обнаружу, что она не может отличить Eremias velox – ящурку быструю – от Eremias arguta – ящурки глазчатой, или разноцветной…

Разбитое сердце… Да, когда-то я разбил ее сердце. Как она

плакала на темной лестнице биофака, забившись в узкую щель между стеной и лифтом! И как холодно отчитывал я ее! Как ранил – походя, жестоко, равнодушно! Все, все сгорело. И высушило те слезы – слезы любви. Остался печальный изгиб губ. Соленый вкус горя. Остался страх, неуверенность, униженное чувство бессилия и непригодности к делу. Только это. И я – как олицетворение всего. Постоянный мучитель днем и кошмар ночью. Вот откуда прозрачные капли на белом чешуйчатом брюшке детеныша солнцегляда. И вот почему он шевельнул розовыми лапками. А я-то вообразил!

А может, она и не плакала вовсе? Померещилось? И не было никаких капель, а маленький солнцегляд шевельнулся оттого, что вверх брюшком ему неудобно было глядеть на солнце?

О Золотой Человек! Дорогую же цену взял ты с меня за добычу! Разбитая голова. Разбитое сердце… Горит, горит лоб, ноет в груди, и дышать нечем…

Четыре часа в маршрутке до Бишкека: пока мы внизу, в долине – пекло.

– В горы поедем, в горах лучше будет. Холодно будет, – сказал отставной майор, казах из города Ош.

– У нас в Оше всегда жарко, – завел разговор русский парень. – Восстания. Беспорядки. Есть нечего, вот и волнуются все. Революции хотят. А вы из Москвы? – спросил он, стараясь заглянуть под зеленый шарфик.

– Из Москвы, – ответил я и улыбнулся. Я уже знал, что сейчас услышу. И точно.

– Из самой Москвы? Правда из самой Москвы?

– Да, из самой Москвы.

– А где там живете?

– А где Белый дом. Рядом с ним. У реки.

– А сюда что – отдыхать? На Иссык-Куль? – И снова взгляд под зеленый шарфик.

– Работать.

– Работать? Какая тут работа? Тут работы никакой нету.

– Я в Читу езжу. Там работаю, а сейчас вот домой, своих проведать, – сказал паренек-киргиз, которого я принял было за уйгура.

– Для нас тут как раз работа есть. Мы ящериц ловим.

– Ученые, что ли? Молодые вроде ребята. У вас практика или как?

– Ящериц!!! Вы приезжайте ко мне. В мою часть отведу, послужите немножко, – не выдержал наконец отставной майор. – Картошку там почистить, то-се… Вот где ящериц этих самых… Как грязи.

Дальше разговор потек по известному руслу: кто, как и когда развалил Союз. Странно, уж сколько лет прошло… Наверное, эта тема станет вечной. Некой этикетной формулой. И поколения через два-три все так же будет звучать в дороге, как сегодня. Как у англичан – разговор о погоде.

Маршрутка визгнула на очередном вираже. Начался серпантин. Горы, еще недавно поднимавшиеся вдали непрерывным гребнем, прорезанным фиолетовыми и синими тенями, горы Тянь-Шаня, отделенные от нас белой выжженной степью, вдруг оказались рядом. Точнее, мы оказались среди них. По одну сторону узкой дороги – пропасть с белопенным потоком глубоко внизу, по другую – складчатая стена, и, как ни взглядывай вверх, в окошко «газели», неба все равно не видно.

На передних местах и впрямь ехали англичане – «дикие» туристы из Бата, и мы тоже включили их в разговор. Так что мне приходилось делать именно то, что я так люблю в таких вот путешествиях – болтать обо всем и со всеми то по-турецки, то по-китайски, то по-русски, то по-английски. Только чтобы главного не говорить. Не спрашивать ни о чем. Забыть. Вергилия все сжимала учебник Терентьева, крест-накрест обхватив тонкими загорелыми руками старый коленкоровый переплет.

В Бишкеке ели: лагман, ганфан, блинчики какие-то… Вергилия, как всегда, ничего. Странно, как ей это удается. Я вообще никогда не видел, чтобы она ела. Жевала, проглатывала… А вот у Ритика, несомненно, глисты. Она голодна постоянно. А может, это любовь? Если девушка ест слишком много… Если девушка не ест ничего… Вдруг это означает одно и то же? Может ли быть? До сих пор? Нет, зря я себя обманываю. У Лики это, конечно, просто привычка. Семейная традиция, воспитание, стеснительность, наконец… Да нет, какая там стеснительность… Просто рядом со мной ей и кусок в горло не лезет. И вовсе не от любви, о нет. Дурак.

Приехали в Балыкчи – бывший поселок Рыбачий. Говорят, есть тут на берегу охраняемый кемпинг, а ящерицы в нем просто кишат. И гюрзы.

Уже в темноте мы с прибившимися к нам англичанами разбили палатки на асфальтовой площадке, среди кустов лоха, и совсем рядом, из серо-фиолетового тумана, слышен был ночной шорох набегающих на песок мелких волн Иссык-Куля. А может, это змеиные чешуи задевали о лезвия жесткой травы?

И опять она – узким телом, змейкой Клеопатры – скользнула под полог палатки и замерла там, неподвижная, словно бы спящая. И опять я не успел ничего спросить. Плакала ли ты, о Вергилия? Отчего? Я столько раз про себя повторял в темноте эти

слова, что нечаянно прошептал их вслух. В ответ раздался какой-то звук.

Но я ничего не смог разобрать – то ли стон, то ли всхлип, то ли шелест спального мешка… Между нами сопела Ритик. Беспокойно двигалась и металась во сне. Постепенно все стихло.

Когда я проснулся, в палатке уже никого не было. Снаружи доносилась английская речь: туристы из Бата прощались с моими девушками. Я вышел.

Над нами развернулось рассветное небо Иссык-Куля: жемчужное, перламутровое, алое, оранжевое, розовое. Вокруг снежной каймой высились горы ТяньШаня.

И вот я сижу на обочине дороги у подножья этих гор. Ближние – лиловые, над ними снежники. Которая из вершин – Хан-Тенгри? Вон та, с седловиной? Или та – гигантский конус?

Рядом со мной Лика и Ритик разбирают наловленных за день ящериц и ящурок. Да, начали с раннего утра, а присели только сейчас. Над Иссык-Кулем вертикально стоит радуга: одной ногой в синем озере, другой – где-то в блеклом вечереющем небе.

Были жара и холод, тишь и ветер, грозы то надвигались, то уходили куда-то за горы. Все было, кроме одного.

Утро началось бурно. Сразу после выезда из Рыбачьего в переднее стекло попутных «Жигулей» я увидел: вот оно – идеальное место обитания ящурок. Песок и мелкие камни, редкие шары колючек, эфедра, невысокие голубоватые куртины злаков. Оборачиваюсь. Вергилия на заднем сиденье недвижима, и взгляд ее устремлен в пространство.

– Лика!!! – рявкнул я по привычке. – Куда ты смотришь? Вот же, вот оно, то место, которое тебе нужно. Тут их до черта. – И осекся.

Так безнадежно, так тоскливо, так жалобно взглянула она, и так быстро глаза ее заволокла пелена слез. Я готов был умереть, провалиться сквозь землю, я готов был отдать все на свете, только бы вернуться на сто метров назад по шоссе, на одну минуту раньше, пока начальственный рык еще не вырвался из моего горла.

– Остановите машину, – сказала она киргизу-водителю ровным, бесцветным голосом. – Я тут выйду.

Никакие уговоры не помогали. Она просто не слушала меня. Глотая слезы и пряча глаза под широкими шоколадными полями шляпы, она пошла вперед, в пустыню, бросив не оборачиваясь:

– Я отсюда не уйду, пока не поймаю, по крайней мере, десять велоксов. Как наловлю, выйду к дороге. Не ходите за мной. Я одна справлюсь. Пожалуйста, я хочу остаться одна.

Я беспомощно сидел на переднем сиденье, спустив ноги в

открытую дверь машины. Ясно: я ей противен настолько, что она готова подвергнуться любой опасности, скрытой в этой безлюдной местности у подножья свирепых гор – быть укушенной ядовитой змеей, заблудиться, стать жертвой бандитов, умереть от жары, голода и жажды – все было для нее лучше, чем остаться рядом со мной.

Узкая фигурка моей любимой исчезла за ближайшим барханом. Бежать следом? Глупо. Но как тревожно! Как горько! Да что там – как больно! Но я смирился, и «жигуль», как и жизнь, полетел дальше по гладкому асфальту. Похожее место, в котором могли водиться нужные нам ящурки – велоксы, нашлось только километрах в десяти, и мы высадились. Мелькнула бабочка, и Ритик, будто похваченная жарким ветром, унеслась в пустыню. Здесь, у самого подножья великих гор, песок лежал ровно, и порхающую фигурку с белым флагом сачка даже издалека было хорошо видно.

Я сделал несколько шагов от дороги, глядя под ноги. Движение мелькнувшей ящурки, столь стремительное, что глаз еле уловил его, заставило меня, забыв обо всем, броситься на песок, вытянув вперед руку со шляпой. Мимо. Недаром ее назвали велокс – быстрая. Она была и хитрой к тому же: скрылась в круглом густом кустике, куда я и руку не мог просунуть из-за колючек – мелких, крупных, жестких, острейших. Я потрогал куст ногой. Это вызвало немедленное бегство велокса в соседний колючий куст-шар. Все было ясно: в одиночку этих ящурок ловить было бесполезно. Становилось по-настоящему жарко.

Я поднялся с песка и огляделся. Над снежниками слева заходила гроза. Прорычал в горах гром, словно лев, выходящий на охоту. «Боже, – подумал я. – Как же Лика? Если она сказала, что, пока не наловит десяток велоксов, к дороге не выйдет, значит, я ее вообще никогда не увижу. Такой характер». Пора было возвращаться и искать – уже не ящериц, а Вергилию. И немедленно.

– Ритик! – заорал я. – Ритик! – и еще раз огляделся. Ритика не было.

Вещи наши, покинув «жигуль», мы спрятали в кустах у дороги, там, где под пирамидальными тополями журчал арык. Маргариту Буш я решил искать по следам, и, набредя на отпечатки маленьких рваных кед, двинулся, петляя и кружась, распутывая прихотливые узоры ее танцев.

Все было напрасно. Рык небесного льва грохотал все громче. Небо темнело. Дальше от шоссе земля, по виду ровная, оказалась изрезанной оврагами, и Ритик вполне могла скрываться сейчас в одном из них. Мало ли куда залетела очередная голубянка или

шашечница!

Бегом я понесся к шоссе, туда, где лежали вещи. Дорога была совершенно пустынна. Туча нависла прямо над барханами, там, где в отчаянье бродила сейчас Лика. Наконец послышался отдаленный треск двигателя.

Всего минут через десять я сидел уже рядом с водителем, в синем маленьком тракторе. Разделявшие нас с Ликой километры транспортное средство преодолело за четверть часа. Соскочив с ржавой подножки, я кинулся к ближайшему песчаному холму. Он оказался и самым высоким. И вот я стою на вершине, оглядывая местность и крича во все горло ее имя. Ее великолепное имя…

Вот она! Крохотное темное пятнышко, неподвижная скорчившаяся фигурка на дне оврага, среди жесткой голубой травы. Туча наползает на овраг, но я бегу быстрее.

Лицо в слезах. Руки все исцарапаны и в крови от колючек. Она отворачивается. И, не глядя на меня, протягивает три мешочка.

– Пока только три, – шепчет она так слабо, как шелестит трава. – Больше я не смогла. Простите. Простите.

– Лика! – Я беру у нее мешочки с ящурками и поднимаю ее с песка. – Лика!

Она по-прежнему отворачивается, вытирая слезы грязными окровавленными руками.

– Я знаю, что вы меня не простите, – продолжает она лепетать. – Из-за меня вы разбили голову. Я не различала ящериц. Я не узнала сегодня местообитания велоксов. Я не смогла поймать больше трех. Только не говорите мне ничего. Умоляю вас, не говорите! Я все понимаю. Я наловлю, сколько нужно… Я все сделаю…

– Здравствуйте, Николай Алексеич, – раздается неожиданно очень знакомый суховатый голос. Голос, который я так привык слышать в коридорах нашей кафедры.

Я поднимаю голову. И Лика смотрит – во все глаза. Мимо нас по пустыне шествует странная фигура – высокая, прямая, она переставляет длинные конечно сти, словно ножки циркуля, слегка замедляет ход, поравнявшись с нами, и выкидывает в мою сторону сухопарую длань. Происходит рукопожатие.

– Здравствуйте, Гордий Рюрикович, – отвечаю я вежливо, и Лика вторит. – Какими судьбами? Как вы здесь?

Но профессор кафедры зоологии позвоночных МГУ отцепляет свои вялые породистые пальцы от моих и, не говоря ни слова, продолжает шествие по пустыне, глядя прямо перед собой и медленно скрываясь из виду. Такое впечатление, что мы столкнулись в коридоре биофака и, разминувшись, идем каждый

в свою сторону. Да, странные мы люди, зоологи. А уж профессора…

Профессора… Как там, в Ледовитом океане, мой профессор? Что-то ни одного электронного письма. А ведь оттуда можно было бы, по спутниковой связи. Ну, вернемся в Алма-Ату, проверю. Наверняка есть что-нибудь.

Гордий Рюрикович… Занесла же его нелегкая именно в это время в это именно место. В этот хронотоп, как сказала бы мать. Объяснение с Вергилией не состоялось. Зато встреча была так неожиданно смешна, что мы оба прыснули, а когда фигура скрылась за барханом, то и расхохотались. И гроза уползла куда-то за перевал.

– Вот что, Лика, – сказал я наконец. – Этих велоксов в одиночку ловить глупо. Найдем сейчас Ритика и устроим облавные охоты. Вот и наберем сколько надо.

И мы двинулись к шоссе. Попуток не было, но навстречу что-то ехало. Я узнал дребезжащий стук двигателя. В кабине синего трактора рядом с водителем с высоты жесткого сиденья нам улыбалась Ритик. Ее охота, очевидно, была удачной.

И снова мы ждали попутку, и снова высадились в пустыне, под жгучие лучи дневного светила.

Велоксы с быстротой молний забегали в колючие шары, но мы окружали их с трех сторон. Тут и начиналась игра: мы подкрадывались, и Лика или Ритик медленно, с осторожностью змеи, запускали под основание куста исколотую тонкую руку. Иногда велокса удавалось взять на месте, прямо в сплетении узловатых корней. Один заскочил мне в штанину и был пойман там. Иногда юркая ящурка отбрасывала хвост, но тогда мы подбирали и его и клали в тот же мешочек. Для ДНК-анализа все пригодится. Но чаще всего спугнутая рептилия пыталась перебежать в ближайшую колючку. Вот тогда на нее бросались все скопом, словно регбисты на мяч. Азарт достигал такого накала, что даже палящее солнце пустыни не могло с ним сравниться. Никто и не заметил, что оно стало клониться к вершинам.

Проехал мимо охотник на тонконогом коне, с легкой, как солнечный луч, борзой собакой. Такой, как моя. Они искали залегших зайцев и быстро скрылись из виду.

Наконец мы как-то разом устали. Бродя по песку, собирали в одну кучку разбросанные в пылу охоты вещи: шляпы, бинокли, сумки, платки…

С визгом на шоссе затормозил красный японский джип. Дал задний ход и оказался как раз напротив наших спрятанных у арыка вещей, под тополями. Загремел русский рок – в республиках Центральной Азии он звучит в тех же

обстоятельствах, что англо-американский – в России. Мы переглянулись, подошли поближе друг к другу и так остановились.

Из красного джипа с гортанными криками вывалилась целая толпа коренастых молодых киргизов. Черноволосые крепкие ребята орали песни. Один держал в руках огромный полосатый арбуз. Немного времени понадобилось им, чтобы, оглядевшись, заметить наши неподвижные фигуры. Про себя я беспомощно и грубо ругался – надо было быть последним идиотом, чтобы дать девушкам застыть вот так, на виду, вместо того чтобы спрятаться в овраге и переждать. Но было уже поздно. Хохоча, веселые юноши двинулись прямо к нам.

– Чуть что, бегите к шоссе, а потом, если удастся, по шоссе, да не вместе, – сказал я. – А я уж попробую продержаться подольше.

– Эй, вы, вы откуда? – по-русски закричал киргиз с арбузом.

– Из Москвы, – сказал я, и мы пошли к ним навстречу. И вроде как мимо.

– Из самой Москвы? – Они зашагали с нами рядом.

– Ну да, из самой Москвы.

– А вы зачем приехали? Девушки красивые у тебя!

– А мы ящериц ловить.

– Ящериц? – Они приостановились. Встали и мы. – Это маленькие такие? Не кусаются?

– Не кусаются.

– Ну да, это у которых много ног.

– Д-да, – ответил я. – Ноги есть. Много… То есть… как это?

– Ну, что как? Весь живот в ногах.

– Четыре ноги у них на животе, – не смог удержаться я.

– А-а-а… Ну да. А вы из Москвы откуда?

– Из университета. МГУ, слыхали? – от сердца у меня отлегло. Разговор слишком затянулся, чтобы нам что-то серьезно угрожало. Так я оценил перспективы. И расслабился. Девушки, вот умницы, сохраняли серьезность. Ни одна, к счастью, не улыбнулась.

– А, из университета? Там, говорят, в главном здании три дня можно прожить, не выходя никуда.

– Точно, – подтвердил я. – некоторые всю жизнь живут. Так и живут, не выходя. Ни на шаг. Никуда. Ни разу в жизни. Глядь – она и прошла.

Это вызвало бурный взрыв веселья. Маргарите Буш отдали ее пробковый шлем, который она обронила где-то на шоссе часа четыре назад, трясясь на синем тракторе, и даже не заметила пропажи. Арбуз раскололи и красную, сочащуюся соком половину

подарили нам. Вместе мы вернулись к красному джипу, и вся компания укатила куда-то. Рок гремел и наконец затих далеко в горных отрогах.

На ночь решили остановиться на старом месте, в диком кемпинге на берегу Иссык-Куля. Легко добрались до Рыбачьего, и водитель очередной попутки высадил нас на той самой площадке, среди травы и колючек, где была разбита палатка прошлой ночью. Мы и поставили ее, как прежде, – спиной к зарослям серебристого лоха, лицом к озеру. Но этот вечер пятницы был – да простит мне мой профессор – стрёмным. Несмотря на поздний час и тьму, берега оглашались музыкой – все тот же излюбленный русский рок, – нестройным пением и криками. Неподалеку, кажется, дрались. Канун выходных. Понятно.

Но мы так измучились за день, что волноваться сил не было. Да и куда податься? В какую-нибудь сомнительную гостиницу? Нет, в маленькой палатке, спрятанной в кустах и незаметной даже вблизи, пожалуй, безопасней. Так, не сказав Вергилии ни слова наедине, пришлось мне уснуть и на этот раз. Да в общем-то, о чем и говорить, собственно? Разве и без того не все ясно? И я уснул. Казалось, прошел только миг.

Визгливый хохот и мат. Вот отчего мы открыли глаза – кажется, все трое одновременно. Солнце уже пекло.

Говорили по-русски, прямо у нас за спиной, в кустах. Ясно было, что это сидят вокруг бутылки молодые, полные сил парни, или, как здесь говорят, «пацаны». Разговор не предвещал нам ничего хорошего.

– Ну, – прошептал я, – приплыли. На этот раз, кажется, точно. Вам обеим тихо и быстро одеться, взять все вещи, надеть рюкзаки и по моей команде – вон из палатки и бегом к берегу, через лужок, на дорогу, где люди, где юрты стоят. А я постараюсь сложить палатку.

Лика и Ритик сделали все мигом. Внезапно расстегнув молнию полога, они галопом рванули к озеру. Мгновение – и было ясно, что всякое преследование бесполезно. Следом несся свист и крики: «Вон бабы пошли!!! Малина…»

Я вышел не торопясь и, медленно собирая колышки и свертывая тент, думал, как, в сущности, стыдно быть русским, если мои собратья так себя ведут. «Гиены какие-то, – горько признавался я себе, – и визжат, и хохочут, как гиены!»

– Гиена какая-то – раздалось вдруг из кустов. – Баб своих отправил, а сам копается.

– Гиена и есть, – отозвались остальные собутыльники.

Не оборачиваясь, двинулся я по следам своих «баб». «Ну и ладно, – думал я. Тогда уж лучше быть русским. Если такое дело.

Если такая степень взаимопонимания. Кем же еще? Некем!» Мрачно шагая, догнал я студенток довольно быстро.

На обратной дороге по серпантину я глядел в лицо горам. Не то чтобы только смотрел – слушал, слушал… Что-то они мне говорили, каждая свое. Давали мне ответ. Я узнал его, ясный и благородный. Не столько жесткую истину, сколько теплую и живую правду. Узнал, потому что заслужил – болью в глазах от напряженного всматривания в лица гор. И в глаза маленьких пойманных мною созданий – порождений предгорной пустыни.

Что ж. Теперь, когда смотрю из окна машины на горной дороге, то руки мои уже знают, как колются купины вон тех голубоватых растений, и саднят от застрявших в коже колючек, а нос мой помнит пряный запах их листьев, почти незаметных, накаленных солнцем, и запах тонкой глинистой пыли, и ноги мои вновь чувствуют, как скользит под ними песок, как перекатываются камешки, как пружинит низкая щетинистая поросль…

Что ж. Ответ я знаю…

Прямо из Домодедова мы решили заехать на факультет. Разгрузить некоторых наловленных животных, оставить биофаковское оборудование, а на самом деле – просто посидеть за чаем в родной лаборатории, посмотреть, кто на месте, узнать, кто где.

Вот уже раскрываются тяжелые темные двери между лапами серого сфинкса, вот мы проходим через прохладный мраморный холл и втискиваемся с рюкзаками в старинный лифт, пахнущий красным деревом и трубочным табаком – откуда бы, казалось, этот запах? От профессоров минувших поколений?

И вот уже кафедра. Из лифта направо – и…

Я останавливаюсь. Во мраке коридора, среди дубовых потемневших от времени панелей, единственный источник света – одна только настежь открытая дверь.

Это дверь нашей лаборатории.

Мы медленно подходим. Так медленно, как только можно, чтобы подольше не узнать. Подальше оттянуть то, что сейчас обрушится.

Так и есть. Дверь распахнута, а комната пуста. Просто пуста. В ней ничего нет. Только голые стены. И окно с серым каменным подоконником.

Бросив вещи, подходим к окну. Из него открывается странное – впрочем, уже вовсе не странное – зрелище. В Ботаническом саду МГУ никакого сада уже нет. Там стройплощадка. Даже не стройплощадка, а вытянувшаяся, будто вылезшая из земли, башня. Половина будущей башни. А может, всего только треть.

Я оборачиваюсь к двери, в проеме которой мелькает какая-то тень. Останавливается, запнувшись о лямку наспех сброшенного Ритиком рюкзака. Чертыхается. Заглядывает внутрь.

– Здрасьте, – говорит замдекана. – Что здесь происходит?

– Это вы мне скажите, что здесь происходит. – Я сам не узнаю своего голоса.

– Что? А вы разве не в курсе? Ректор новый, МГУ включен в систему Минобразования. Набор платных студентов большой, аудиторий не хватает. Лаборатория расформирована.

– То есть?

– Оборудование переместили в институт. Теперь будет так. В академическом институте – наука, в МГУ – ученье. Вот и все. Все ваши вещи, личные то есть, сложены в подсобке. Можете забирать.

– А это что такое? – показываю я в окно.

– А это гостиница строится. Гостиница. Для туристов, ну и вообще… Гостиница, понимаете? – И тень замдекана, буркнув что-то прощальное, исчезает.

Я сел на серый каменный подоконник. Закрыл лицо руками – и заплакал.

Горькими становятся слезы с возрастом. Чем старше, наверное, тем горше.

– Николай Алексеич, – услышал я, когда слух мой разомкнулся, – Николай Алексеич, не надо. Мы придумаем что-нибудь. – Лика своими исцарапанными пальцами старалась отвести мои руки от лица. – Только пожалуйста, пожалуйста, не надо. Мы все придумаем. Все устроим снова.

Я взглянул на нее. В пустой комнате мы были одни. И она – она улыбалась.

– Лика! – сказал я. – У меня разбитая голова. Я ничего не понимаю.

– Это из-за меня, – сказала она. – Я знаю, как виновата. Я была равнодушна к круглоголовкам. Но теперь уже нет. Я их полюбила. – И улыбка появилась снова. – Можете считать, что я разбила вам голову. А вы… Вы разбили мне сердце.

– Разве? – спросил я. – Ты улыбаешься, глядя на ме ня. И эта улыбка значит, что я разбил тебе сердце? И тут она сказала такое, что я никогда не забуду.

– Когда сердце разбито, – сказала Вергилия, – улыбка только и может увидеть свет. И светить.

Среди наших так называемых «личных» вещей в темноте подсобки глаза мои, еще больные от слез, различили некий чудовищный предмет, нечто сверхъестественно страшное.

Черный труп в перьях, со свернутой набок головой, – это

было обтрепанное чучело самой гротескной на свете птицы – австралийского пальмового какаду. Стеклянные белые глаза яростно смотрели мне в лицо, а между нарумяненными, как у Пиковой Дамы, алыми щеками громоздился раскрытый в негодовании клюв – им какаду при жизни перекусывал кокосовые орехи. Чучело выкинули с кафедры дарвинизма: гордый антрацитовый хохол облез, перья поела моль. Но я узнал его.

Да, я узнал его. Это был тот самый какаду, которого в зоомагазине на Арбате все собирался купить мой дед. Это было лет через пятнадцать после войны. Мать, пока родители ее не развелись, часто ходила с ним смотреть на птицу: нахохлившись, как снулая ворона, какаду сидел высоко под потолком, и его почти не было видно. Наверное, поэтому деду так легко было мечтать о нем. Но мечта не успела воплотиться в жизнь: гордую птицу настигла смерть. Продавец, чтобы успокоить деда, сказал, что тело какаду отнесут в Зоомузей МГУ на улицу Герцена и сделают чучело. Тогда это был единственный экземпляр в Союзе. Так вот она, дедова мечта, у меня в руках. Моя навсегда.

Домой мы вернулись вместе: Вергилия, я и чучело. Пока Лика кипятила на кухне чай, я сел за комп проверить почту. От профессора по-прежнему ничего не было. И это меня взволновало. Появилось несколько новых писем со всех концов света. Одно из них было от крупнейшего в мире знатока тритонов, заведующего крупнейшей в мире лабораторией по моей проблематике в крупнейшем университете мира:

…

> *«Dear Nick, I'm glad to inform you that my plans of further-developement of our lab and newt DNA studies are being successfully realized. We are looking forward to you rcoming here and joining our team in Berkley. What are you doing there in Moscow, lad? Don't loose time, Nicky, come and join us. The sooner – the better.*
>
> *Yours – John Wain [41] .*

Со стариканом Уэйном, бодрым и умным, я познакомился весной на герпетологическом конгрессе в Португалии, когда мне пришлось делать не только два собственных доклада, но и еще три на самые разные темы – за московских коллег, которые по

тем или иным причинам прибыть не смогли, в основном – из-за нехватки денег. Ездили мы тогда вместе в какие-то знаменитые пещеры в Лузитании, ползали там в сырой темноте, ловили лузитанскую золотисто-полосатую саламандру. Уэйн понравился мне. Саламандр мы ловили дружно и весело. И я знал, что он ко мне проникся. Но не понял, насколько это серьезно. Что ж, теперь у меня есть Вергилия. И деньги есть. Те самые, баночные. На переезд и на первое время хватит. А вот лаборатории у меня больше нет. Здесь, на родине, нет.

Документ Word (без номера)

Я не боюсь замкнутого пространства. Но и не люблю его. Даже если оно перемещается – по земле, по воздуху, по воде. Я люблю идти по дороге. Ехать верхом или на велосипеде. Куда сама захочу. Чтобы по своей воле остановиться. Свобода – вот как это называется. Мне нужна свобода. И любовь. Такая, когда помыслы свободны, когда можно по своей воле остановиться… повернуть назад… уйти… И – прийти, увидеть, обнять, тоже по своей воле, как сама захочу. Как сердце скажет. Вот чего я хочу. Я, Алиса Фокс, Лисица Венера. «В быту – профессор красноречия»… Не кошка, нет. Кошки только делают вид, что им никто не нужен, а сами не стесняются получать. Только этого и хотят – получать. Свысока, как бы нехотя, требовательно и капризно. А не получат – найдут другого.

Лисы иные. Сильные. Свободные. Верные. Щедрые. Дикие. Хитры, но любимого не обманут. Знают, что другого не найдут. Вот и не ищут.

Кошки часто бывают довольны. Это правило. Лисы же редко бывают счастливы. Мне вот не повезло. И не повезет. Ни-ко-гда. Пора бы понять. Нет, все никак.

А ведь судьба говорит яснее ясного. Заперли на корабле. Запечатали, как в бочке, бросили в море. И не по своей воле, и не по воле волн, ветров и стихий, а по заранее известному пути, кем-то рассчитанному, размеченному и начертанному во времени и в пространстве: вперед – неделя, назад – неделя. Посередине – точка. Центр земли. Полюс. Абсолют. Нет, я знаю – это чистилище. Ни тьма, ни свет.

Чего я жду здесь? Что ждет меня? Случайным все это быть не может. Не зря приносил северный ветер полярную сову в снежном облаке на московский балкон. Не зря она глянула мне в глаза и унеслась назад с аквилоном.

Когда-то у меня была любовь. Как бы любовь. Была, да вся вышла. Как началась предательством, так и кончилась. Белокурый ангел с прозрачными глазами ведь не первый. Предательству четверть века. И длилось, повторяясь. И повторялось, длясь. Пока не очнулась я от этой любви, словно от обморока. Морока. Мрака.

Когда жизнь вдруг брызнула мне в лицо живой любовью. Мучительной. Прекрасной. Страшной. Но настоящей. Открылись мои глаза – и вот я здесь. Как! Опять взаперти! В одиночестве! И живая любовь это велела? А просто не хватило у нее сил, вот и заперла. Замкнула – не освободила. И снова запахло предательством.

И я, покорная, согласилась. Тот же корабль, тот же путь – вот и согласилась. Увижу то, что мой любимый только что видел. Но, конечно, уже без него. Одна, как всегда, одна. Я – и Северный полюс. Смешно! Страшно.

Зачем ты со мной так, жизнь? Зачем теперь, так поздно, эта беспощадная белая ясность? Искупить туман пролетевших лет? Такой ты требуешь жертвы? Такой расплаты? Что ж, бери.

Туман и легкая качка. Корабль прошел к утру четыреста миль. Стаи птиц, похожих на чаек, кружат рядом. Варяг говорит, что это моевки, а ледокол они принимают за кита, вот и летят следом. А может, кита принимают за корабль, когда сопровождают кита? Знаток Арктики все мне объясняет. Как хорошо, что он здесь. Рыжий, хитрый…

Он сказал еще одну странную вещь. Очень важную, по-моему. Оказывается, стоит только потерять счет времени – и в полярный день невозможно определить свое место в пространстве. Как просто сбиться с пути.

Вот и я – как могла я вчера так думать о своей любви? Единственной: первой и последней. Настоящей. Никуда она меня не запирала – я сама спряталась, скрылась в тесном своем малодушном неверии. Скрылась от света. От свободы. Не выдержала разлуки, отдалась привычной тоске. Нет, Алиса Фокс. Настоящие лисицы так не поступают. Они смелые. И если верят – так верят. До конца. Это не кошки какие-нибудь.

Появилось много толстоклювых птиц. Это кайры. Значит, – говорит варяг, – скоро острова. В 14.30 в густом тумане подошли к мысу Флора на острове Нортбрук. Архипелаг Земля Франца Иосифа. На мысе Флора, говорят, бывают странные встречи. «Вы, вероятно, Нансен?» «А вы, вероятно, Джексон?» – случайно после зимовки на мысе Норвегия повстречались норвежцы и англичане. Экспедиция лейтенанта Седова набрела здесь на двоих из экспедиции Брусилова… Тоже случайно. Может, и мне выйти здесь? Пойти наугад – вдруг встречу свою судьбу? Не могу не встретить…

Очень прозрачная вода. Очень. Гладкая, как зеркало. Это какой-то пролив. Или нет, канал. Да, называется Британский. По нему мы идем на север. Где-то здесь в тумане скрыты скалы Рубини. Кто решил дать это имя знаменитого оперного певца девятнадцатого столетия именно скалам? И именно этим? От них ледокол почему-то повернул назад, на юг. Викинг сказал, что так мы обогнем Землю Георга. В 4 утра мы были у Земли Александры. Она названа в честь Александры – королевы Англии, но все равно я чувствую в этом месте что-то родное. Или особенно чужое? Как естественно, как легко все в этом странном мире переходит в

свою противоположность… Поразительно! И какая геометрия: черные трещины на белом льду… Мозаика Снежной Королевы. Откуда мог знать об этом Андерсен? Ясновидец…

Новое утро. Туман. Корабль постепенно приближается к кромке льдов. Иногда среди волн появляются черные капли тюленьих тел – и, мелькнув, исчезают. Рыжий знаток полярных медведей не успокоился, пока не вытащил меня из каюты посмотреть на крупную белую самку с двумя детьми. Ну и что? Просто большой зоопарк.

В начале первого ночи сверкает солнце и серебрится снег. В девять утра снова солнце, ледяные поля, разводья. Потом снова туман, снова ледяные поля со снежницами – так называются лужи на поверхности льда. Боже мой, как он, мой любимый, это вытерпел? Зачем вообще сюда ездят? Здесь все – нечеловеческое. Говорят, Арктика притягивает. И можно даже заболеть Севером – не успокоишься, пока не вернешься. Бедный Кай! Впрочем, его я никогда не жалела. А ведь в глазу у него был осколок зеркала тролля… Но его-то всегда любили. Любила даже Снежная Королева. Бедная маленькая Герда. Нет, счастливая гордая Герда… А вы, сказочник Андерсен, как могли вы быть таким мудрым? Или таким искусным обманщиком? Откуда вы знали, что она победит? Или все было иначе?

И новое утро. И опять вечер. Получила электронку от Ники, он в Алма-Ате после прекрасной поездки в горы. Джунгария, река Или и Заилийский Ала-Тау – жаркое солнце, холодные ручьи. Снега – только в поднебесье, и можно смотреть на них снизу. А можно и не смотреть. Лучше бы он взял меня в экспедицию. Все ему удается, этому Ники. Как-то я видела, как он ловит тритонов. Ловит – это неподходящее слово. Даже не ищет. Просто идет, протягивает руку – в воду или под камень – и берет. Я счастлива, что он горячий человек. И верный. По-настоящему верный, не от слабости и не от трусости. Верный – значит смелый. И свободный. Теперь переедет с девицами на Иссык-Куль. Интересно, откуда у него такие деньги? Заплатил за мой тур – дорого. Повез студенток в экспедицию… Неужели теперь такие гранты? Наверное, ведь не украл же он эти доллары!

Небо почти расчистилось, свет падал откуда-то сбоку, и варяг снова выволок меня на палубу. Ничего особенного не происходило – просто корабль почему-то встал, и медведица с годовалым медвежонком подошли к нам вплотную, а потом стали обходить ледокол по дуге с подветренной стороны. Фотографы так суетились и бегали по правому борту, что было ясно: ничего интереснее, чем медведи, в поездке уже не будет.

Одна из туристок, кажется, дочь какого-то магната, подзывает

подростка сына: «Денис! Подойди! Где твой дневник? Запиши: «Без Бога нет жизни!»

Вдруг по радио объявили, что предстоит катание на вертолетах. Возбужденные туристы собирались группами, толпились у бара: «Мы не маленькие дети! Что случилось? Пусть хоть кто-нибудь скажет правду!»

Наконец всех пригласили в конференц-зал на «информационный брифинг». «Ну, плохо дело», – сказал викинг. И взял меня за руку. Мне кажется, он обрадовался, что для этого появилось вполне веское оправдание. Руку уже не отпускает. Нежные поцелуи в щечку и – легкие – в губы при расставании на ночь, у двери каюты, – я прерываю, отворачиваясь и отвечая дружеским тоном, так же легко: «Спокойной ночи, до завтра, до завтра». Такой же ритуал поцелуев-приветствий рыжий варяг ввел и по утрам. Что ж, я уже привыкла.

На брифинге объяснили, что ледокол остановлен, так как возникли проблемы и нужен ремонт. «Какие проблемы?» – настаивали туристы. «С механикой, часа на четыре. Только с механикой. Да, это всего лишь механика». Все чуть успокоились.

И, совершенно как дети, пошли кататься на вертолетах. Развлечение состояло в том, чтобы несколько минут покружиться над ледоколом, сесть на снег и вернуться на борт. Нет, это все-таки тюрьма. А люди – существа странные. Их особенность состоит в том, что в них нет ничего человеческого. Может быть, поэтому они платят тридцать тысяч долларов за двухнедельный срок в тюрьме, плывущей по Ледовитому океану?

Часов через пять потребовался новый брифинг. И опять викинг держал мою руку, а потом обнял за плечи – чтобы я не волновалась, конечно. Только для этого. Только механика.

Что-то случилось с подшипником, он грелся. Починить пока не удавалось

Мы вышли на палубу. Вокруг сверкающая равнина, а солнце такое, каким бывало когда-то в Подмосковье. В марте. К вечеру, когда на белый снег вдруг ложатся длинные синие тени, и угасающий день смотрит искоса.

К ночи «механика» наладилась. Я имею в виду только ледокол, конечно. Ничего более. Механические действия двух людей разного пола никогда меня не привлекали.

И я закрыла за собой дверь каюты. Огляделась. Села на кровать, то есть койку.

Так что же случилось с тобой, Алиса Фокс, профессор риторики, ученица арбатского мудреца и носительница Логоса?

Почему ты здесь, в этой тюрьме? Отвечай.

Потому что всегда любила одного человека – любила

страстно, – но в ослеплении думала, что люблю другого. Потому что, подозревая, что попала в ловушку, на каждом шагу томясь и тоскуя, не верила себе. Потому что всегда любила. Потому что никогда не верила.

Да, и поделом тебе. В любви грех маловерия – грех смертный. Любовь, вера, надежда – неразделимы. А ты любила, не веря и не надеясь. Как ты могла? Как выдержала эти годы?

И что теперь?

А теперь успокойся и выспись. Вспомни: это ненадолго. Вернешься, увидишь своего любимого – и будешь жить. Научишься верить. Доверять и надеяться. Просто.

Я шла по коридорам корабля. Навстречу улыбающимся людям. Но двигалась только я, а они как-то странно застыли. Как в музее восковых фигур, – подумала я и не стала им улыбаться. Конференц-зал был полон. Англичане, японцы, немцы, русские сидели в полной тишине, неподвижно. Никто не обернулся. «Да они все мертвы!» поняла я и проснулась.

А наутро Северный полюс оказался лужей. Я так и не поняла, где он, хотя на ледоколе долго возились, чтобы антенна совпала с какой-то блуждающей по поверхности корабля точкой. Потом стали искать подходящую для высадки льдину. Лед выглядит ненадежным, всюду трещины. Кажется, ступишь – и по колено в снеговой каше. Это обман. Под ногами не мокрый снег, а слежавшийся очень прочный фирн. И он отлично держит. Темные линзы луж притягивают солнечные лучи. И притянули заодно белого медведя. Крупный зверь оказался точно в той луже, где был полюс.

К счастью, начался обратный путь. Сверкает ночное солнце. Скалы Рубини обрываются глубоко в море, и ледокол подходит к ним вплотную. В скале веером развернуты базальтовые столбики. Варяг показывает мне северных птиц: вон сидят рядами на полках сотни толстоклювых кайр и моевок, а на зеленой шапке у основания скалы – гнезда бургомистров. Над скалой кружат крошечные копии кайр – птички размером со скворца, огромными стаями. Все очень живо и очень мертво. Нужно посмотреть электронную почту.

Вот оно. Вот зачем, оказывается, я приплыла из Москвы. Это оказалось на острове. Называется он поафрикански хищно: Чампа. Похоже на кличку льва.

На плоской поверхности острова Чампа лежат циклопического размера идеально круглые камни – шары из песчаника. Никто не знает, ни как они сюда попали, ни вообще что это такое.

Но я знаю. Они лежат тут специально для меня. Это именно

то, что я искала всю жизнь, – «бестрепетное сердце совершеннокруглой истины». Грек Паменид. Это его идея… И вот я нашла ее морфу – ипостась, воплощение. Теперь и мое сердце станет – нет, уже стало – бестрепетным. «Бестрепетное сердце совершеннокруглой истины». И я это видела!!!

От идеальных шаров падает тень.

Надо посмотреть почту.

Пока мы все еще идем сквозь бесконечные ледяные поля со снежницами. Лужи эти уже подернуты тонким свежим ледком – зеленоватые, голубые, свинцовые. Солнце скупое – висит прямо над горизонтом. Скоро наступит избавление. Мы встретимся в Москве, еще жаркой, еще любимой. Осталось меньше недели. Всего пять дней. Увижу его – и исчезнут наваждения белокурых ангелов, тоска разрушенного дома, горечь обиды, боль одиночества.

Днем за кормой в морозном воздухе повисла ледяная радуга.

После полудня открытой воды и льда стало поровну. И я видела кита! Свинцовая вода, льдины, белые, как известь, и между ними лоснящаяся угольная спина гигантского зверя – кажется, она перетекает, как огромная капля. Вода, стылая и неподвижная, вокруг этой черной капли вскипает и пенится.

Стылая и неподвижная. Надо посмотреть почту.

«Любимая!

Случилось то, чего я боялся. Боялся как страшного сна, как исполнения проклятия, как невероятного и непоправимого несчастья. Ты поняла уже, о чем я.

Труднее всего для меня сейчас то, что приходится об этом вот так писать, что тебя нет рядом, что я не в силах тебя успокоить и утешить. Что нужно писать, когда ты так далеко. Будто я, как трус и предатель, нарочно ждал, что ты уедешь, потому что это так трудно сказать в глаза. Поверь мне, писать еще тяжелее. Тоска, жуткая тоска. Без тебя.

У меня нет выхода. Семья уезжает. Я не могу их бросить. Как я надеялся, что этого не произойдет. Верил, что мы будем рядом. Нет, не судьба. Моему сыну предложили такую работу в Штатах, от какой не отказываются. Он и не отказался. Жена без него жить не может. И без меня тоже. Так уж получилось. А я… Ну что ж, я ведь писатель и работать смогу и там.

Что ж, жизнь как сложилась, так и сложилась. Мы договорились об этом с самого начала. С нашей второй первой встречи, после семнадцати лет разлуки. Ты помнишь? Поздно. Слишком поздно. Бессмысленно пытаться прожить непрожитую жизнь. А порвать то, что складывалось между мной и женой два десятка лет, невозможно.

А то, что связывает нас, никогда не порвется, правда? Я ведь всегда буду рядом. Всегда с тобой. Я думаю о тебе каждую минуту, моя единственная. Верь мне. Верь в нашу любовь. Ей нет места на земле. Она на небесах.

Я не прощаюсь с тобой. Просто целую».

Я вышла на палубу. Все сверкало. Это сияла тьма. Ночное солнце Севера освещало истину о любви, о времени. О смерти. Наконец-то. Я подошла к поручням и посмотрела вниз. Стылая и неподвижная… Сердце не выдержит дольше мгновения. Безопасно. Я ничего не почувствую. А даже и если… по сравнению с тем, что сейчас… С тем, что еще будет…

Часть 7 Свидетельство (Testimonium)

Свидетельство варяга

Я не спускал с нее глаз. Весь рейс, вообще с той минуты, когда в спальном вагоне поезда «Москва– Мурманск» этот ее сынок – патлатый и своенравный, нравный, как говорит Витька-цыган о конях, – но какой сгусток энергии, какой талантливый, свободный, сильный – мне бы такого сына, да Бог не дал, – так вот, я не спускал с нее глаз с того момента, когда ее сынок расцеловал ее, обнял, чуть подтолкнул ко мне: вот, теперь эта драгоценность на вашем попечении, уж будьте добры, оправдайте – и со своим китайчонком покинул купе. «Ваш китайчонок Ли вам подавал манто», или что-то в этом роде, не помню. И мы с ней остались вдвоем.

Нет, так сказать нельзя. Это я остался с ней вдвоем, а не она со мной. Она осталась одна. Да, она отвечала на вопросы, сама что-то спрашивала, даже, кажется, смотрела на меня. Конечно, смотрела. У нее такая манера – когда она говорит, глаз не отводит. А глаза у нее цвета северного моря и так же изменчивы. Мне кажется, так должны разговаривать с подданными сказочные королевы. Повелительница. Но при том – прострация полная. Вежливое внимание воспитанной, утонченной, отрешенной женщины. Никаких шансов – стена, прозрачная стена. И я не спускал с нее глаз. Просто не мог. Колдунья какая-то. А еще профессор.

Самое нелепое во всем этом то, что я ее с первого курса знаю – на биофаке мы попали в одну группу, потому что у нас был хороший английский. Тогда она выглядела довольно неказисто – длинные руки и ноги, длинный нос, длинные глаза и очень длинные тяжелые прямые волосы, не такие рыжие, как у меня, конечно, но и не русые. Но вместе все это как-то не складывалось. Вокруг веселились совсем другие девушки, просто красивые, красивые, очень красивые, симпатичные, обаятельные и еще тысяча видов этих привлекательных созданий. Ни к одному ее отнести было нельзя. Потом нас распределили по кафедрам, потом она вышла замуж и как-то скрылась с глаз – чем она занималась, неясно. Позже, когда я стал работать с Алексеем, оказалось, что она получила еще одно образование и занимается филологией. Лингвистикой.

Мы виделись очень редко. Странности начались, когда нам стало сильно за тридцать, а потом стрелка перевалила за сорок и поползла дальше. Дело не в том, что она давно обогнала всех нас в степенях и званиях – в незапамятные времена защитила кандидатскую, вскоре докторскую, стала профессором… С начало

это меня задевало. Потом удивляло. А позже я понял, что отношусь к ней не просто с уважением – с почтением. Алексей всегда был ей не пара, это точно. Может быть, разве что в ранней молодости.

Так вот, дело было не в научной карьере или там достижениях – называйте, как хотите, в меру своей испорченности.

Странность состояла в том, что она не старела. Менялась, словно саламандра, да простит мне это сравнение ее сыночек-саламандровед и тритонолюб, но – не старела. Да, она становилась старше. Но при этом – все красивей. Все изящней. Казалось, в ней была какая-то внутренняя идея, которая искала свое выражение и медленно, постепенно, с трудом пробивалась к свету. В последний раз, когда мы виделись перед этой поездкой, ей, как и всем нам, стукнул полтинник. Но она была великолепна. Идея нашла себя и выразилась внешне. Все стати этой женщины, странно, необычно измененные возрастом – измененные, а не испорченные, – наконец сложились в единый гармоничный образ.

Когда я увидел ее на перроне, я понял, что и в прошлый раз все изменения не были окончательными. Может, этому и вообще конца не должно быть? Теперь она двигалась легче и завершенней, чем молодые девки на вокзале. В движениях ее широких плеч, расправленных, словно крылья, высокой шеи, тонких рук и длинных, абсолютно прекрасных ног, появилось что-то неуловимое – именно то, чем мы, натуралисты, восхищаемся, когда смотрим на диких зверей. Собственно, ради этого наслаждения мы на них и смотрим… Не знаю, как по-русски. Англоязычные люди называют это «light touch», иногда «soft touch», но первое – вернее. А, вот как надо перевести: «легкое касание», «мягкое касание». Да, легкое касание. Людей, предметов, даже самого воздуха ее тело касалось легко. Ее руки двигались без напряжения, пальцы нежно и точно открывали замок сумки, ноги ступали по мягкому от жары асфальту перрона, словно по лебяжьей перине… Вот она повернула голову, вот чуть наклонила шею, глядя на билет и паспорт… Вот она смотрит на меня, здоровается – и я ее целую, так, как у меня в обычае. «Помни, – говорю я себе, – light touch, иначе спугнешь». Тогда у меня были еще некоторые иллюзии. Глупые надежды на приятный fortnight [42] с брошенной женой во время круиза. О том, как идут дела у Алексея с аспиранткой и как с их помощью движется вперед наука на Волчьей ферме, к тому времени не знал только ленивый. Ну да, я циник, чего не скрываю, и все это, мне кажется, знают. Каждый имеет право на свою позицию.

Но с ней я ошибся. И теперь безумно рад этому. То есть…

Ну, вернусь к событию. Хотя и то, что я только что рассказал, мне представляется очень важным. Это объясняет, почему я буквально не спускал с нее глаз всю поездку и в ту ночь тоже. Я понял, конечно, для чего она поднялась в интернет-зал. Меня удивило вовсе не это, а то, что она сделала это впервые за достаточно долгий срок путешествия – ведь мы уже повернули назад после полюса и успели немного пройти к югу. И я заметил, как она несколько раз за последние дни начинала волноваться: я ей показываю то птичек, то медведей, а она смотрит вниз, на воду. Или на лед. Это уж как придется. Но через минуту все проходило.

Она открыла почту, что-то прочла, тут же, не глядя на клавиатуру, выключила компьютер – не вышла из программы, а просто выключила, как-то механически, и сидела неподвижно. Я не стал подходить к ней – она вовсе не располагала к панибратству и не подпускала меня близко ни в каком смысле. Но я смотрел на нее. Мне показалось странным, что она этого не замечает. Я понял, что она вообще ничего не только не замечает, а даже не видит. Тут-то я и насторожился. Понимаете, я ведь поведенец. То есть занимаюсь поведением животных. И глаз у меня наметанный.

И когда она встала и вышла на палубу, забыв на кресле свою куртку, я пошел за ней. Она меня по-прежнему не видела. Она так странно приближалась к поручням, будто не хотела подойти к ним, будто боялась. Тут я ускорил шаг и сократил расстояние. От ее light touch и следа не осталось. Она передвигала ноги, как заводная кукла, и вцепилась в перила. И смотрела вниз, как-то слишком наклонясь, будто примериваясь.

Мы вошли в туман, и я встал прямо за ее спиной, чуть сбоку. Вы понимаете, почему. И вот тут я, как охотники говорят, подшумел. Зацепился за что-то башмаком, эта дрянь звякнула и загромыхала по палубе.

Вот тут и случилось то, что случилось. Остальное вы знаете.

Комментарий и рассуждение биографа

В чудесном здании классической античной хрии – доказательного рассуждения на заданную тему – предпоследняя, седьмая, часть называется «Свидетельство», по-латыни – «Testimonium». Тут ритор может прибегнуть к мудрости предков, учителей и пророков. Пусть они получат здесь слово, пусть, ожив, сами свидетельствуют правоту говорящего.

Но передо мной задача особенно трудная. Ведь кто только не высказался о любви и времени! Что ж, цитировать Песнь Песней будет банально… Красивый текст, что и говорить, и есть в нем то, чего так не хватает большинству прочих. Знаете, как бывает: помнишь, что был влюблен, события помнишь, отдельные сцены – а вот чувство ушло бесследно, и его-то припомнить, его оживить невозможно. Но в Песни Песней это есть – живой трепет живого юного существа. Это она, любовь, она сама, без ошибки.

Почему-то из священных текстов вспоминаю я сейчас четвертый псалом Давида. Вот это: «Бог, знающий правоту мою, в тесноте скорби дал мне простор…»

Думаю, мать всегда чувствовала это в своей необычной, диковинной жизни. Кроме последнего ее срока – заключения на корабле. Заключения, которому сам я, своими руками, подверг ее и которого она не вынесла, ибо простора в душе своей на этот раз найти не смогла.

Время, проведенное человечеством в любви, в речах любовных и в речах о любви, необъятно. Слов сказано много. Но ведь главный-то вопрос всего один.

Откуда в руках мудрейшего и любящего беспредельно – откуда в них эта чаша? Что, как не любовь, пьет он, добровольно и гордо? Любовь к бессмертной истине и любовь к бессмертной красоте юности… И холодеют руки, и смерть останавливает нежное и яростное сердце. Это Сократ.

«Ошеломленная, все на одном сосредоточенная душа…» – это Бунин. «Грамматика любви». Не о моем ли профессоре? Да. О нем. О ней. Исступление, болезненное исступление – вот что такое любовь. Настигнет, поразит и погубит.

Многие верили, что любовь кончается всегда. И всегда кончается смертью.

«Чем кончается Евгений Онегин? Тем, что Пушкин женился», – сказала вторая жрица Диотима, на двадцать пять веков младшая своей предшественницы, той, что и Сократа

наставляла в любви, может, и не только речами, – знали обе пророчицы, о чем говорили. Думали, что знают, и знают доподлинно. Ленский не успел жениться. Пушкин успел. Любовь кончается смертью.

«Иногда правильным ответом является отчаянье» – возьмем эту мысль неизвестного мне автора для оправдания профессора. Вы скажете: нет для такого поступка никакого оправдания. И не может быть. Соглашусь. Но если отчаянье так сильно, что вытесняет из души все, как кукушонок из гнезда? Если любовь всегда кончается смертью?

И все же… Не соглашусь. Не могу согласиться. Я люблю, и против восстает и тело, и душа, и разум. «Кто любит, тот не должен быть убит». Не должен. Таково мое мнение, и его я готов доказать и доказывать: сейчас – словами, жизнью – впредь.

Где же искать мне поддержки? А у того самого автора, чья жизнь и душа, противоречивые и загадочные, чей разум и ум, непостижимые для обычного человека, завораживали и направляли мою мать с тех пор, как, поднявшись по истертым каменным ступеням в темноте черного хода арбатского подъезда под возмущенными взглядами нескольких кошек, робко замерев перед тяжелой темной дверью, она дождалась: дверь открылась, и свет был явлен – там, за круглым столом, в желтом круге теплого сияния лампы. И синие сумерки в высоких окнах тоже были свет, а не тьма.

Свет мысли, свет любви, свет счастья. Он так же проникал внутрь всего ее существа, так же согревал и наполнял неизъяснимым покоем и ликованием, как огнь Святого Причастия, когда она, на пороге отчаянья, приобщилась к Таинствам и вкусила Святых Даров. Но первым был для нее свет знания.

В этом, как мне теперь кажется, и вся моя мать, вся душа ее: Богом и Учителем даны ей слово и мысль, великий, чистый и светлый Логос – но ведь она страждет, бьется одна, как птица, вот и жалостный, нежный, горячий призыв: душа родная, приди, отзовись, не оставь. Не погуби!

Да, она умела любить и жила вне непосредственной жизни, становясь выше жизни, ибо Профессор научил ее, что «если не становиться выше жизни, то жизнь есть судьба, самая буквальная и настоящая, самая мрачная, бессмысленная, безжалостная, всесокрушающая и неотвратимая судьба».

И все же только на миг, на один миг, поймав, словно птицу в воздухе, схватила ее судьба и опустила – не на землю даже… Глубже, ниже… Вот это месть так месть, и судьба дожидалась недаром.

Но я верю: он, арбатский мудрец, научил ее не только тому, что «непосредственная жизнь не есть наша последняя действительность». Я верю, она знала, как сделать так, чтобы даже в этот последний миг «сквозь неясные, мутные и противоречивые завесы жизни проступили строгие и вечные, но свои и родные лики родного и всеобщего». Да, я верю.

Сложно все это, – скажете вы. Сложно? Что, разве проще бывает?

Часть 8 Заключение (Conclusio)

Я поднималась вверх по ступеням. Из темноты перехода, из узкой норы, прорытой под Садовым кольцом и ведущей на поверхность земли. С каждой ступенькой становилось светлее. Я смотрела, как странно ставлю носки сапог – немного внутрь. Но строчка следов почему-то получалась ровной, как лисий нарыск. Отпечатки чернели на тающем снегу. Снова наступил жестокий месяц ноябрь, и в полутьме московских сумерек внезапная метель неслась и заметала белым даже верхние ступени тоннеля.

И вот последняя ступенька. Я остановилась у выхода, там, где пели троллейбусы – «Б» и «10», подъезжая и снова отчаливая. Гудели машины в пробке.

Я посмотрела в небо. Там, над утесами высотки МИДа, высоко-высоко в мутной мгле, играли с метелью два ворона. Они то садились на самый край каменных зубцов, то давали ветру сдуть себя в пустоту, в облака летящего снега, позволяли вихрю сразу же подхватить себя, поднять и снова бросить вниз, словно с воздушной горки. И снова взмывали на край крыши – отдохнуть и столкнуть с крыши друга. Или подругу?

Я прошла несколько шагов прямо, к бывшему – si devant – Смоленскому гастроному. В нем, как я однажды подсчитала и записала где-то в дневнике, я провела в очередях в общей сложности два с половиной года чистого времени. В «Седьмом континенте» – ни минуты: этот магазин был не по профессорскому карману. Из его дверей женщины в норковых шубах и высокие мужчины в кашемировых пальто везли к своим блестящим экипажам тележки, груженые снедью. Витрины сияли. Небо темнело густой театральной синевой.

Я повернула направо и, пробираясь среди автомобилей, вышла на тротуар. Я оглянулась: позади на свежем снегу цепочка следов оставалась все такой же ровной.

Передо мной был Арбат. Метель холодными пальцами касалась лба и щек. Сквозь снег лился молочный свет фонарей.

Что ж, этого у меня не отнять. Это мое и будет со мной, кого бы я ни любила, кто бы меня ни предал. И я никогда не останусь одна. Ведь все во мне. Любовь. Радость. Свет. Со мной ничего нельзя сделать. Теперь я неуязвима.

И, легко ставя ноги с носка на каблук, по неровной брусчатке мостовой я пошла по своей улице – улице Святого Николая. Навстречу ветру и снегу, глядя прямо перед собой, вспоминая. Я знала, куда я иду, не знала только, зачем.

Так, верно, плывет над землей душа – бессмертная,

бесплотная, светлая. Плывет, печально и нежно припоминая места, где радовалась, узнавала, страдала. Где любила…

Странно, что я осталась жива. Странно, что опять ноябрь, вечер и я иду вперед по Арбату так, будто меня кто-то ждет, будто мне судьбою назначено свидание, как тогда, ровно год назад. Кто бы мог знать… Как бы знать… Пошла бы я тогда, если бы все наперед знала?

Если бы знала, что в конце увижу под собой стылую неподвижную воду и даже она, эта страшная вода, покажется теплом и благом в сравнении с той мукой, что оледенит мое сердце?

Странно, как случайности складываются, подобно цветным стеклышкам в детском калейдоскопе, и вот я жива.

Случайно Ники полюбил китайца Хай Чжэна.

Случайно Волоков не смог отвезти его с арбузом в Фуфлово, а вместо этого на Волчьей ферме хитрый и циничный рыжий викинг обманом заставил собирать поленницу, а пока Ники носил и прилаживал друг к другу дровешки, вдруг полюбил моего сына. Ну, не полюбил, он на это не способен. Но оценил. Проникся. И позвонил ему, именно ему, когда пропадала путевка на полюс. Совершенно нелепо, кажется: ну зачем сообщать о туре, который адресату явно не по деньгам? И вообще ни к чему…

Случайно у Ники оказались деньги…

И, конечно, совершенно случайно рыжий циник оказался в ту ночь на палубе, да так близко, что сумел вовремя схватить меня, удержать почти уже на лету, в полете – вниз, в смерть. Тренированный человек, конечно: и мышцы, и реакции. Все-таки изучает поведение крупных хищников. А они очень быстрые, эти звери…

И вот не душа моя тихо плывет над заснеженной арбатской мостовой, а я, я сама оставляю ровную цепочку черных следов на белом ноябрьском снегу. И думаю. И вспоминаю.

Направо Плотников переулок. Раньше тут останавливался синий троллейбус. Цвели тополя над магазином «Диета». Здесь, после того как родители развелись, однажды я видела своего отца – он стоял внутри, в магазине, и почему-то смотрел сквозь стекло на улицу. Смотрел, не видя, и меня не заметил. Тоска, безысходная тоска была в этом взгляде. И я быстро пошла в переулок, свернула в другой и потом долго сидела на лавочке в каком-то дворе. Почему? Не знаю. Я тогда долго плакала, там, на лавочке.

Налево букинистический. Сейчас он называется «Антиквариат», и книг там почти не осталось. А сколько было куплено! Последний раз – полный «Брем» для Ники, 1913 года

издания – почти даром. На Арбате букинистических было несколько, на моей памяти три. Один вот этот, в начале, два других – в дальнем конце, ближе к «Праге». Ни одного настоящего не осталось. Впрочем, книг теперь я и не покупаю. Но захожу сюда иногда – посмотреть на расписной фарфор тончайших чашек, погреться в свете теплых лучей старинных настольных ламп. Тепло у них какое-то особое. И свет очень мягкий, человеческий. Добрый.

Дальше, тоже налево, витрина Зоомагазина. Того, где мой отец часами не мог оторвать взгляд от черного страшного силуэта с нелепым – высоким и редким – хохлом над красными щеками и клювом, способным перекусить руку. Какаду, как химера на парижском Нотр-Дам, неподвижно сидел под самым потолком и страдал. Всего раз или два мы слышали его голос: оглушающе резкие хриплые звуки вырвались из разинутых клещей клюва. В тоске он умер. Теперь его чучело висит на белой стене у меня в коридоре, рядом с зеркалом. Так что когда я вижу себя, то обязательно и его. У нас обоих глаза очень светлые.

Здесь, в Зоомагазине (я нарочно пишу это слово с большой буквы, иначе, по-моему, невозможно), я купила для Ники первого тритона. Ребенок хотел крокодила, и очень милые крохотные детеныши нильских аллигаторов продавались в начале «перестройки» и в магазине, и на Птичьем рынке. Всего по сто пятьдесят долларов. Но я наотрез отказалась. В первый раз в жизни, кажется. И, наверное, в последний… Вот однажды, зайдя в магазин, мы увидели в аквариуме совсем маленьких существ, которые пятилетнему Ники показались достаточно похожими на крокодильчиков, чтобы возжелать такого. И он был куплен. Помню, с каким трепетом за жизнь этого создания мы принесли его домой, устроили, накормили… Вот он проглотил первого мотыля… Вот отчего-то неожиданно порозовел. Но не умер. Утром он был все еще жив. Мы и не думали тогда, что испанские тритоны практически бессмертны.

Я вошла внутрь. Все изменилось, и вместо вольер с чижами, коноплянками, снегирями, зеленушками, клеток с белками и бурундуками, аквариумов с черепахами – вообще вместо животных и птиц – продавались в основном вещи. Цветастые вещи и яркие пакеты кормов для домашних животных. И совсем немного самих домашних животных: крохотные щенки карликовых собачек, породистые котята… Все это было нарядно, многоцветно и скучно, как розовый гламур. Скучно до одури.

Выходя, я оглянулась. На стене прямо напротив двери висели коробки с засушенными и расправленными тропическими насекомыми. Гигантский жук-голиаф с кулак величиной.

Коричневый богомол, глянцево-рыжий, как таракан-прусак, ростом больше котенка. И – бабочки. Переливчатый морфо с крыльями шире блюдца – фиолетовый металлик, лазурь, изумруд. Изящнейшие махаоны, абсолютно совершенные Troides…

Но даже эти были не совсем настоящие. Просто живые-мертвые украшения, искусственно выращенные на фермах в Коста-Рике и Панаме, Эквадоре и Венесуэле. Там же, где живые-мертвые розы с запахом марихуаны и героина. С запахом смерти.
Я тихо затворила за собой дверь. Улица была уже сине-черной, и только белый снег трепетал на ветру под фонарями и заставлял душу то взмывать вместе с ним к небу, в ночную тьму, то снова падать вниз, к молочному свету улицы.

Передо мной было узкое устье Кривоарбатского переулка. Справа – стена Цоя. Страстные слова на неровных кирпичах. «Группа крови на рукаве»… Что-то о звезде по имени Солнце. Звезда еще светила, когда он погиб. А теперь в переулке всегда полумрак.

Слева – дом с рыцарями. Я стала замечать их высоко на карнизах – узких, серых, с серыми щитами и мечами – только когда сама достаточно вытянулась вверх. Маленькой я их просто не видела.

Внизу, под каменными рыцарями и грифонами, сквозь псевдоготические чугунные кованые решетки лился желтый свет витрин ювелирного магазина. Он притягивал меня неодолимо. Так в июне желтый абажур в покинутом мной дачном доме сквозь цветущие кусты жасмина и жимолости привлекал пядениц и медведиц, бражников и совок. И, как они, я не стала противиться.

Пристально, сосредоточенно я смотрела на сверкающие ряды украшений. Зачем? Не знаю. Мои глаза искали чего-то. Не глаза – душа.

Я прошла весь длинный магазин из зала в зал. Километры бриллиантов. Версты серебряных ложек. Опалы, изумруды и жемчуг – розовый, черный, голубоватый… Яхонты и сапфиры в сиянии драгоценных цветов и листьев… Я повернула и снова подошла к витрине напротив входа. Оттуда я начала поиски. Но в первый раз по привычке сразу же отошла, ведь там помещалось то, на что я никогда в жизни не смотрела. Да и зачем? Ведь это были обручальные кольца.

А они были не для меня. Не знаю, почему я так решила. Не решила – просто с детства откуда-то знала. Что есть вещи не для меня. Вот и это.

Так и вышло. Алексею в голову не пришло, что нужны какие-то кольца. Вернее, пришло ему в голову другое – что нет, вовсе не нужны. Не могла же я просить? Нет, не могла. Если просишь, все

теряет смысл. Навсегда.

Верно, до сих пор, вот до этой минуты у меня все же была надежда. Что кто-то полюбит меня так, что захочет не только на мне жениться – венчаться. Странная надежда в моем возрасте. Странная надежда для профессора. Да еще риторики. Несбыточная мечта. И не сбывшаяся.

И, смотря на ряды золотых колец – совершеннокруглых и бестрепетно истинных, таких, какие я видела на руках продавщиц и уборщиц, секретарш и лаборанток, министров и бизнесменов, – я поняла, что мне нужно.

Я подозвала тонкую женщину в черном, и она рукой судьбы – рукой, на пальце которой золотился простой гладкий обруч, – подала мне мое собственное обручальное кольцо. Самое маленькое, какое было в магазине, на мизинец. Так я решила.

Я вышла из ювелирного и остановилась. Вынула из пакетика кольцо и надела его, нагнув голову, чтобы спрятать лицо от колючего снега. И выпрямилась.

Вот я стояла посреди своей улицы, глядя на нее чуть сверху. За моей спиной в потоках желтого света золотились на покатых бархатных витринах драгоценные символы любви, надежды, счастья. Но тяжелая дверь за мной была уже закрыта.

Я стояла одна, мела ноябрьская метель, и мелкий снег падал мне на руку. И на мизинце блестело кольцо. Блестело даже в темноте. Это и была моя истина о любви. Совершеннокруглая истина. Ее бестрепетное сердце.

Так я обручилась с этой улицей и со всей своей жизнью. С прошлым, настоящим и будущим. С тем, что было моим с рождения, с тем, что сейчас мое и что таким пребудет.

Сверху смотрели на меня из-под тяжелых каменных забрал суровые серые рыцари. У их колен грифоны послушно складывали перепончатые крылья. Напротив театр – вечная обитель принцессы Турандот, налево – Зоомагазин. Все детство.

Я сошла со ступеней и повернула направо. Тучи ли опустились к самым крышам, дома ли вытянулись, но фонари взмыли над улицей и, словно Млечный Путь, лили холодный туманный свет прямо с небес.

Ветер нес снежные облака косо над мостовой, распахивал полы моей шубы, откидывал широкие рукава, но я не надевала перчатку на правую руку и на ходу все смотрела на кольцо. В призрачной мгле вечера оно мерцало как яркая и очень далекая звезда.

Так я шла, вперед и вперед, и мне казалось, что я иду долго. Очень долго. Всю жизнь.

Когда я остановилась около той самой двери, в конце улицы

уже видны были огни площади.

Я открыла дверь и вошла. Отряхнула снег с шубы. Как тогда. И, как тогда, сама сняла ее, повесила на вешалку, поправила волосы. Села в кресло у окна, заказала чай и стала смотреть на улицу. Кресло напротив стояло пустое. Правую руку положила на столик, так, чтобы хорошо видеть кольцо на мизинце.

Чистое золото прошедшей любви. Вот оно, собранное по крупицам дней, минут и мгновений, отлито в обруч – тонкий, маленький, драгоценный. И все мое – навсегда. Вот так я буду теперь жить.

Принесли белый чайничек с зеленым чаем, в котором – как я хорошо это знала! – будут плавать развернувшиеся в кипятке шершавые нежные листья мяты. Поставили рядом белую чашку. На блюдце серебрилась ложечка.

По-прежнему глядя на кольцо, я наполнила белую чашку светло-зеленой горячей жидкостью и подняла с блюдца ложечку – помешать. На ощупь ручка ее показалась странно тонкой. И знакомой.

Я посмотрела. Ничего удивительного. Ведь это была моя ложечка – та самая, из-под лестницы старинного дома в Амстердаме. Та, которую привез для меня Ники. Ложечка ведьмы. С серебристым шариком на конце тонкой блестящей ручки. Та, которую я раньше всегда носила с собой – на счастье. Та, которой я в первый раз размешала зеленый чай с марокканской мятой в этом арбатском кафе. А потом – не помню уж когда – здесь же забыла однажды на блюдце. И лишилась любви. Все оказалось просто.

Теперь я смотрела то на ложечку, то на кольцо. За окном несся снег. Прохожих почти не было видно.

Я порылась в сумке, нашла свой так называемый «коммуникатор» – тоже подарок Ники, мобильник-компьютер, – и положила перед собой. Открыла крышку, выбрала нужный файл и задумалась. Что написать об этом дне? Как играли вороны в мутном снежном небе? Как я купила кольцо, обручилась с судьбой, приняв ее, и нашла ложечку? Я дотронулась до золотого обруча на мизинце, потерла его, покрутила на пальце.

Вдруг на фиолетовом, как вечернее небо, экране коммуникатора что-то дернулось. Внутри еле слышно пискнуло. Электронный звук стих, но в то же мгновение в левом верхнем углу появился маленький конверт, а ниже надпись: «1 message received. Read now?»

Как же я от этого отвыкла!

«Господи, – крикнула я про себя. – Конечно, прочитать! Конечно, немедленно!»

И нажала клавишу.

«Ja v Moskve, – увидела я на экране. – Gde ty? Javernulsia. Sovsem. Lublu».

Я сидела неподвижно, не сводя глаз с экрана. Так сидела когда-то Ритик на террасе «Макдональдса». Широко открыв фиалковые глаза, замершие на ее лице, как замирают на цветах бабочки-голубянки.

Тут квадратик экрана снова передернулся, будто от судороги, в левом верхнем углу, как чертик из табакерки, выскочил новый конвертик, и под ним появилась еще одна надпись: «1 message received. Read now?»

И онемевшими пальцами я покорно нажала клавишу.

«JA TEBIA LUBLU! JA HOCZU DOMOJ!» – На этот раз это был Алексей. Любитель получать драйв от общения с прозрачноглазыми аспирантками. С белокурыми ангелами. И, как-никак, отец Ники.

Не успела я вернуться к первой эсэмэске, как распахнулась дверь, с улицы в кафе ворвался холодный туман, просочился тонкий язык снега, а за ними вошел рыжий викинг. И сел прямо передо мной, в пустое кресло.

«Ну что ж, – подумала я. – Теперь осталось дождаться Ники».

Послесловие биографа

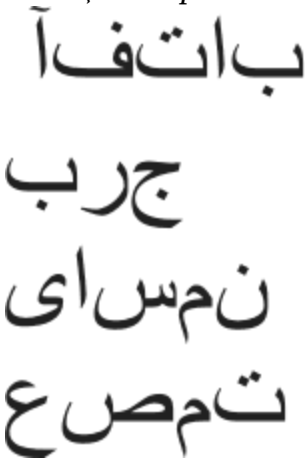
И еще одно осталось сказать. То, что сам думаю. Только это.

Любовь не кончается. Она вечна. Вечна и та любовь, что, посетив нас, отлетела в неведомое, и даже та, что могла бы быть, но так и не осуществилась. Даже она.

Всякая любовь вечна.

А красный сердолик я как-нибудь ей верну. Ей, вечной его хозяйке. Найду способ. И снова поднимет она привычным движением руку к горлу, и кончики пальцев пробегут по бороздкам, высеченным на камне знаков:

сияющая твердыня чистого света



Об авторе

Анна Михальская (1952) родилась и живет в Москве. Потомственный ученый и преподаватель, закончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Зоология», Московский педагогический государственный университет – как филолог-русист. Исследователь поведения животных и человека, автор научных работ, научно-популярных книг и учебников для вуза и школы. С 1995 г. – профессор риторики МПГУ; в 1997–2002 гг. – декан факультета журналистики Международного университета (МУМ); с 2003 г. – профессор Литературногоинститута им. А.М. Горького. Почетный член Британского Кеннел-клуба, профессиональный заводчик восточных борзых.

Литературную деятельность начала в 1972 г. как переводчик современной английской поэзии (Р. Олдингтон, Э. Паунд, Д. Томас). Лауреат Булгаковской премии(1995). Член Союза писателей России. Первый роман – «Порода. The breed» опубликован в 2008 г. Второй роман – «Foxy. Год лисицы» – в 2012 (М., «Флюид).

Примечания

1

Повесть о приключении, роман о любви *(англ.)* .

2

Повесть о приключении, роман о любви *(англ.)* .

3

Реанимобиль – машина «скорой помощи» (ах, и это нужно бы объяснить!) со специальным оборудованием для выведения из состояния клинической смерти. В прежней вселенной (далее для краткости – «прежде») любой, даже неимущий, мог в любое время вызвать такую машину. В Эпоху мутаций, для скорейшего перехода к новой вселенной, эти машины стали запаздывать. И помощь ограничилась пределами городов. А потом… ну, вы знаете.

4

Пробка – образное именование затора, скопления автомашин на улице. В Эпоху перемен машины еще двигались. Это может показаться странным теперь, когда мы выходим из дома, только чтоб в них посидеть, каждый – в своей, и снова уйти обратно, в квартиру.

5

Терминальный больной – выражение из подписанного, а может, еще и не подписанного приказа Минздрава (ссылаясь на

приказ, врачи в этом не единодушны) – приказа, по которому людей в тяжелом состоянии, особенно пожилых, не следует подвергать интенсивной терапии, чтобы не продлевать их страданий и не занимать их телами койки в палатах, откуда все равно их придется транспортировать в морг, а гуманно предоставить им возможность встретить свой смертный час хоть и без помощи, но в больнице – точнее, в больничном коридоре, на узкой, застеленной дырявым серым бельем тележке. Рядом с перевозкой может быть за отдельную мзду поставлен стул, и родственнику не возбраняется сидеть на нем хоть всю ночь в ожидании милосердия смерти.

6

Экзегеза – процесс толкования смысла текста, прежде всего – текста священного.

7

Сад, дом, бездна.

8

Платон. «Федр».

9

Перевод мой – биограф.

10

Все печали излечивает терпение.

11

Этот и последующие документы я также сопровождаю своими рас суждениями

12

Вот в чем вопрос *(англ.)* .

13

Тупик *(англ.)* .

14

Алексей, мой отец, за две недели до этой записи не вошел – упал в дверь квартиры лицом вниз, когда мать ранним утром открыла на звонок. Поверх тела тяжело опустился рюкзак. Профессор с трудом сдвинула рюкзак с неподвижного мужа, перевернула его на спину. Лицо было серо-зеленым и ничего не выражало. Так отец вернулся из экспедиции в Восточный Туркестан, с озера Лоб-нор, где изучал ирбиса (снежного барса, Panthera irbis).

15

Ника, иногда Ники – это я, Николай. Победитель.

16

Возможно, профессор подумывала о том, как оформить свою кооперативную квартиру, в которой все мы боролись за жизнь, чтобы она досталась мне, а не государству, если победителем в

этой борьбе станет смерть.

17

Вита – давняя знакомая матери, тогда жена миллионера (см. далее). В описываемый период купила дачу рядом с нашей, старой, построенной еще до войны и доставшейся отцу от его деда, тоже Николая, профессора биофака МГУ.

18

Этот стол, сработанный из дуба еще в столыпинские времена, когда в Москве строились четырех– и даже шестиэтажные доходные дома, стол, ноги которого толще моих и украшены, в отличие от них, простой и изящной резьбой «массового модерна» – так, несколько перевитых стеблей и удлиненный лист, – этот стол с прочной крестовиной, где, прячась от уроков музыки под скатертью, просидели столько бесконечных и быстротечных часов детства моя бабушка-профессор, а потом ее дочь – мой профессор риторики, и, наконец, я, – да, на этом столе покоились, скрестив на груди только что обмытые руки, написавшие столько книг, и мой прадед, а следом за ним и прабабка. Стол был куплен ими на Арбате, когда, сильные и молодые, они основали семью. Я помню жару, сладкий, страшный запах пионов и этот стол посреди комнаты, а на нем, над ним – желтый лоб под бумажным венцом сославянской вязью. Свой последний приют стол обрел на даче, и теперь наша семья и гости пьют за ним чай под желтым абажуром с бахромой. *(Справка биографа.)*

19

В меру радуйся удаче, в меру в бедствиях горюй, Познавай тот ритм, что в жизни человеческой сокрыт!(*Пер. В. Вересаева*)

20

Пер. В.Вересаева.

21

Соединенное Королевство. Шотландия. «Горец. Ферма благородных оленей», «Олений парк Лохэлш», «Ферма «Чертополох»: благородные олени и косули».

22

Homo sapiens – видовое название человека в линнеевской классификации: человек мыслящий; Homo ludens, человек играющий, – перифраз определения и именования человека у голландского философа Йохана Хейзинги; Homo agonalis – человек борющийся – перифраз, предложенный философом Якобом Буркгардтом, учителем Ф. Ницше; Homo eloquens, человек говорящий, – мой собственный, блин, типа перифраз.

23

«Зеленые рукава» – средневековая английская баллада, теперь популярная народная песня.

24

Маленькое омерзительное существо.

25

Новое сообщение. Прочитать сейчас?

26

Зубы Таис черны, у Лекании же белоснежны. Что это значит, скажу: каждому в мире свое. (Это, конечно, неверный перевод. На самом деле так: у Таис зубы природные, свои, а у Лекании искусственные! – *Прим. биографа.*)

27

Спальный вагон.

28

Имя ненавистно.

29

Дорогой г-н Черкасов, простите, что я пишу вам на плохом русском. Прочитайте, пожалуйста, документ, прикрепленный к этому письму, и, если возможно, позвоните мне на работу. Я немного говорю по-русски и была бы рада побеседовать с Вами о Ваших исследованиях. С благодарностью и наилучшими пожеланиями – Левкой Тьюлип.

30

«Не спрашивай свою страну, что она может сделать для тебя! Спроси себя, что ты можешь сделать для своей страны!»

31

Экзегетика – метод и искусство толкования текстов.

32

Бывшую.

33

О друг, радуйся! *(греч.)*

34

Человек *(др. – греч.)*.

35

«Зеленое».

36

Ты, прекрасная старая лисица, разумная и отважная?

37

Терентьев П.В. – известный русский герпетолог.

38

Круглоголовка.

39

Разновидность водорослей.

40

Строка из песни «Битлзов».

41

Дорогой Ник!

Рад сообщить тебе, что мои планы по расширению нашей лаборатории и исследований ДНК тритонов сейчас успешно выполняются. Мы с нетерпением ждем, когда ты приедешь и присоединишься к нашей команде здесь, в Беркли. Что ты делаешь в Москве, парень?

Не теряй времени, приезжай и работай с нами.

Твой Джон Уэйн.

42

Две недели.